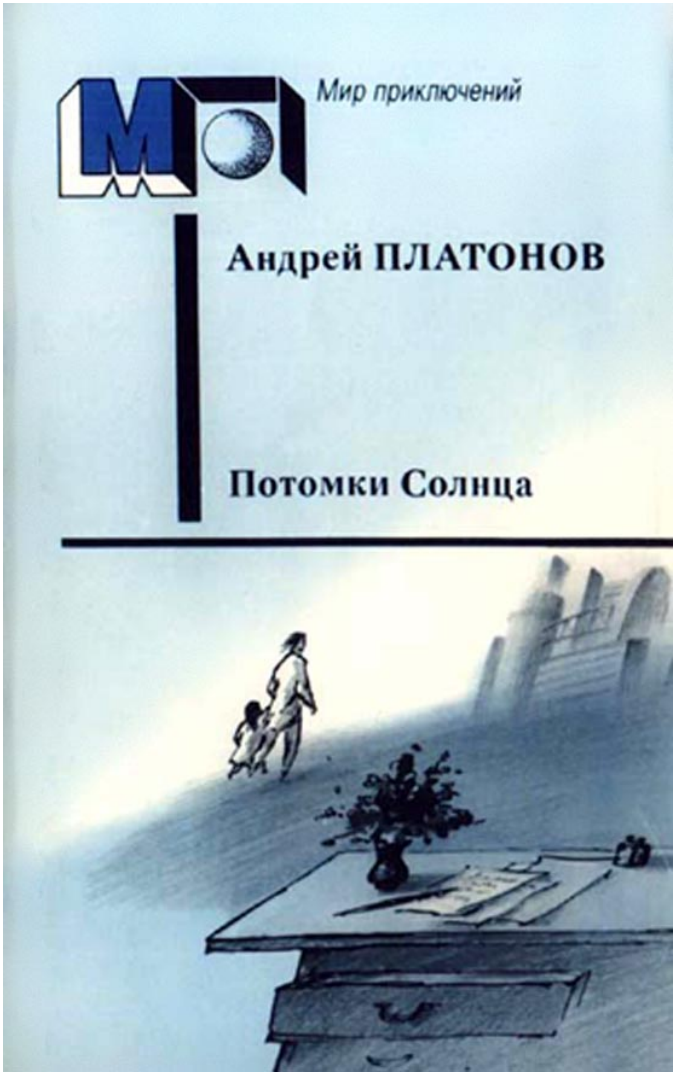

Аннотация

В сборник известного советского писателя А. П. Платонова (1899–1951) включены его фантастические произведения («Лунная бом- ба», «Потомки Солнца», «Эфирный тракт»), а также близкие им по духу повести и рассказы, где необычайность ситуации помогает ярче показать характеры героев, их неустанное стремление к познанию и преображению окружающего мира («Броня», «Джан» и другие).

МАРКУН

Каждый вечер после ужина, когда его маленькие братья ложились спать, он зажигал железную лампу и садился думать.

Ему никто не мешал. По полу бегали тараканы, ребятишки бормотали во сне и плакали. Гуни сползали с них, и пухлые животы дышали туго и тяжко, как у храпевшего отца.

Маркун нашел в книге листик и прочел, что он записал еще давно и забыл: разве ты знаешь в мире что-нибудь лучше, чем знаешь себя. И еще: но ты не только то, что дышит, бьется в этом теле. Ты можешь быть и Федором, и Кондратом, если захочешь, если сумеешь познать их до конца, то есть полюбить. Ведь и любишь-то ты себя потому только, что знаешь себя увереннее всего. Уверься же в других и увидишь многое, увидишь все, ибо мир никогда не вмещался еще в одном человеке.

Пониже на листике было написано: ночь под 3-е февраля. Мне холодно и плохо. А вчера я видел во сне свою невесту. Но ни одной девушки я никогда не знал близко. Кто же та? Может быть, увижу и сегодня. Отчего мне никогда не хочется спать?

Маркун прочел и вспомнил, что больше он ее во сне не видел. От недавней болезни у него дрожали ноги и все тело тряпкой висело на костях. Но голова была ясна и просила работы. В нем всегда горела энергия. Даже когда он корчился в кошмарах, он помнил о своих машинах, об ожидающих чертежах, где им рождались души будущих производителей сил. Его мучило, если он находил ошибку, неточность и не мог сейчас же ее исправить.

Маркун вынул из печурки бумагу с чертежами, снял клопа со щеки мальчика и опять сел.

На дворе в морозе завизжал свисток паровоза. На большом листе были начерчены крутые спирали. Толстая, изогнутая шесть раз труба в своем хребте хранила мощь размаха и вращения. Зубчатые передачи были готовы встретить удары зубцов о зубцы и сдвинуть всякое тяжелое сопротивление.

В углу бумаги Маркун написал: природа – сила, природа – бесконечна, и сила, значит, тоже бесконечна. Тогда пусть будет машина, которая превратит бесконечную силу в бесконечное количество поворотов шкива в единицу времени. Пусть мощь потеряет пределы и человек освободится от борьбы с материей труда.

Чтобы вскинуть землю до любой звезды, человечеству довольно одного моего мотора-станка.

Маркун встал, оперся о печку, и сон тихим ветром налетел на него.

В это время в поле разыгрывалась метель, и паровозы еле пробивали сугробы и рвали тендерными крюками завязавшие в снегу вагоны.

Через дальнее теплое море шел яркий, веселый паровоз с смеющимися красавицами. Кроткими глазами они смотрели в большое ночное небо и ждали утра, когда приедут на берег, в белые города, к родным забытым матерям.

Маркун очнулся.

Архимед, зачем ты позабыл землю, когда искал точку опоры, чтобы под твоей рукой вздрогнула вселенная?

Эта точка была под твоими ногами – это центр земли. Там нет веса, нет тяготения – массы кругом одинаковы, нет

сопротивления. Качни его – и всю вселенную нарушишь, все вылетит из гнезд. Земля ведь связана со всем хорошо. Для этого не нужно быть у земного центра: от него есть ручки рычаги, они выходят по всей поверхности.

Ты не сумел, а я сумею, Архимед, ухватиться за них.

Сильнейшая сила, лучший рычаг, точнейшая точка – во мне, человеке. Если бы ты и повернул землю, Архимед, то сделал бы это не рычаг, а ты.

Я обопрусь собою сам на себя и пересилю, перевешу все, – не одну эту вселенную.

Лампа, я не нахожу света светлее твоего.

Маркун любил чертежи больше книги. В этой сети тонких кривых линий, точных величин, граней и окружностей дрожала оживляющая сила машин.

Он раз написал линиями песню водяного напора. Он вычертил с линейкой и циркулем эту бурю линий и повесил на стену. Когда он спросил у одного друга объяснения чертежа, тот не понял и отвернулся. А у Маркуна от этого чертежа волной поднималась музыка в крови.

Если устроить двигатель, – думал Маркун, – вырабатывающий в секунду определенную величину энергии; если связать с ним непосредственно одним валом другой двигатель, дающий в ту же секунду энергию в два раза большую против первого двигателя, и если давать им неограниченное количество естественных сил (воды, ветра), то тогда общая работа этой пары моторов будет такова: вращение сначала будет соответственно работающей естественной энергии в первом малом моторе, потом увеличится в два раза, так как второй мотор одновременно съедает естественных двигающих сил в два раза больше.

Но первый мотор тогда тоже начнет потреблять силы в два раза больше против первого момента своей работы, иначе говоря, он заработает с мощностью второго мотора. А второй мотор, как в два раза сильнейший, опять будет работать энергичней первого в два раза (значит – в четыре относительно первого момента) и потянет за собою вал на четверное ускорение против скорости в первый пусковой момент. Потом ускорение будет равняться 8, 16, 32... Итак, мощность будет возрастать бесконечно; предел ее – прочность металла, из которого сооружены моторы.

Маркун нагнулся над чертежом. Его турбина имела шесть систем спиралей, последовательно сцепленных и последовательно возрастающих по мощности. Следовательно, ускорение будет шестикратным. Вода же будет так расходоваться, что будто работает одна последняя, шестая спираль; это потому, что другие пять спиралей будут работать одной и той же водой.

Всякая теория – ложь, если ее не оправдает опыт, – подумал Маркун. Мир бесконечен, и энергия его поэтому тоже бесконечна. Моя турбина и оправдала этот закон.

И огнем прошла неожиданная мысль – что если бы найти металл с бесконечной способностью прочного сопротивления, бесконечной крепости. Но такой металл есть: он просто одна из видов мировой энергии, вылитая в форму противодействия. Это вытекает из общего закона бесконечных возможностей сил и их форм. Но тогда моя машина – пасть, в которой может исчезнуть вся вселенная в мгновение, принять в ней новый образ, который еще и еще раз я пропущу через спирали мотора.

Я построю турбину с квадратным, кубическим возрас-

танием мощности, я спущу в жерло моей машины южный теплый океан и перекачаю его на полюсы. Пусть все цветет, во всем дрожит радость бесконечности, упоение своим всемогуществом.

Били часы. Маркун не считал их.

На подстилке затрясся его маленький брат в пугающем сне. Маркун нагнулся над ним...

Он опять сидел у лампы и слушал вьюгу за ставнями.

Отчего мы любим и жалеем далеких, умерших, спящих. Отчего живой и близкий нам – чужой. Все неизвестное и невозвратное – для нас любовь и жалость.

Совесть сжала его сердце, и страдание изуродовало лицо. Маркун увидел свою жизнь, бессильную и ничтожную, запутанную в мелочи, ошибки и незаметные преступления.

Он вспомнил, как этого маленького брата, который теперь бьется от страха во сне, он недавно столкнул со стола, и с той поры тот молчал, сторонился и закрывался от нечаянного быстрого взмаха его руки, думал, что будет опять бить.

Лампа гасла. Метель пошла на сутки.

Маркун вышел во двор. Ветер гудел в туче снега, а иногда вверху метель прорывалась и видны были одна–две испуганные звезды на сером, будто близком небе.

Маркун крикнул. Холодный ком ударил его по лицу и потек за рубашку. На миг вдруг все стихло, и звезда совсем близко улыбнулась ему.

«Сколько мы видим и сколько не видим звезд, – подумал Маркун. – Они светятся отраженным светом чужих солнц. А если на других звездах живут сильные разумные

существа: они ведь превращают этот свет в работу, поглощают его своими машинами, и их миры нам не видны, они темны, и, может, есть рядом с землею, ближе луны, большая темная планета, а мы ничего про нее не знаем. Она вбирает в себя всю энергию света и тепла, не дает никаких отражений, невидима и мертва для нас.»

Маркун вернулся домой. Лампа потухла, и фитилек горел далекой красной искоркой. Он лег на пол и замер до утра.

Прошли месяцы. Маркун раскопал где-то две газовых трубы нужных размеров, согнул их спиралями и сделал приблизительную модель своей турбины. Но не стал ее сразу пробовать, а спрятал в сарай и забыл про нее. Теперь для него потянулись дни томительного счастья ожидания.

Маркун верил в себя. Знал, что нет, не может быть ошибки в спрятанной машине. Она пойдет. Ее мощь безгранична. Он, Маркун, победил многие силы. Никто еще ничего не знает. Не знает, что это он дал человеку в его немощные руки новый молот безумной мощи.

Была весна. Маркун ходил по вечерам в поле и глядел, как горел закат на небе и в болотах и в лужах. Везде была вода, вода и тишина. И прошлый год, и вот теперь он весной кого-то любил. Он был незаметен и жил одиноко.

Но в детстве, когда он потерял веру в бога, он стал молиться и служить каждому человеку, себя поставил в рабы всем и вспомнил теперь, как тогда было ему хорошо. Сердце горело любовью, он худел и гас от восторга быть ниже и хуже каждого человека. Он боялся тогда человека, как тайны, как бога и наполнил свою жизнь стыдливою жертвой и трудом для него.

Раз он полдня сгружал на станции дрова из вагона, а на заработанные деньги купил красную погремушку ребенку-слепцу, который жил у соседей в сарае, куда запирала его мать, чтобы он не убежал и не убился, когда она уходила на работу. Он так привык к сараю, что не плакал там и не умел играть и смеяться.

Весеннее прохладное небо темнело, будто уходило выше. И на краю поля поднимался туман.

Маркун стоял под лозиной в тишине и влажной мути, ползущей по полям. И не мог понять своей скрытой любви ко всему.

Чуть была видна избушка лесного сторожа. К ней подходила девушка и маячила в синем сумраке красноватой юбкой. Она махала рукой. Должно быть, кликала кого из лесу, кричала мягкою грудью, ласково и протяжно, и улыбалась.

Маркун ничего не слыхал и прилег от неожиданной муки и боли на землю.

Неслышно прошел мимо странник и сразу пропал на дороге.

Эту ночь Маркун не спал. Он лежал у окна и смотрел в небо, на улыбающиеся звезды, на затаившуюся ждущую ночь.

Завтра он пустит машину. Все в нем сразу стихло, сжалось, и он забылся, будто упал в колодезь без дна.

Еще горела последняя утренняя звезда и от близкого солнца накалялся восток, когда Маркун проснулся и сразу вскочил. Он что-то вспомнил, какой-то огонь, жаркий и мгновенный, прошел через него и потух. А Маркун все забыл. Он стоял, двигал скулами, прилипался и тянулся

мыслью за убегающими тараканами и не мог ничего вспомнить. Большое и неизвестное ударило его во сне. Он стоял и ловил, что ушло и не вернется. Но след, прямой и острый, остался в душе и изменил ее.

Человеку отдано все, а он взял только немного, – вспомнил Маркун свою старую мысль. И не стал жалеть, что великий восторг оборвался в нем и он не узнал его.

Маркун вышел на двор. Было тихо, морозно и светло. Если глянуть сейчас в просторное поле вверх по дороге, то увидишь далеко, и кто-то идет к тебе тихо и прямо, издалека.

Маркун пристроил в сарае к углу турбину, привинтил чашку, в которую упиралась пята машины, и воронку и принес от крана с улицы пять ведер воды. Воду он вылил в бочонок, потом смазал машину, повернул ее оборота два рукой и засмеялся своей одинокой радости.

Позвать бы, сказать кому? Нет, тогда, после. Его и так считают дураком, не тем дураком, какого любят и жалеют, а тем, которого ненавидят.

И он вспомнил девушку, что махала у леса рукой и звала. Если бы она пришла сейчас в сарай. Рассказал бы ей все, она поняла бы его, и он взял бы ее за ту же руку. И Маркун улыбнулся от счастья и тоски.

Загудел гудок. Маркун вспомнил о труде, о работе до крови, о борьбе и неутомимости, о гордой человеческой жизни, которой полна ликующая земля, о громе машин и потоках электричества.

Он зачерпнул ведро воды и вылил его в воронку над турбиной. Он был спокоен и уверен. Отпустил кран – и машина рванулась и загремела. Вокруг ее повисло неподвижное кольцо отработанной выбрасываемой воды.

Маркун все подливал воды. Турбина ревела и, казалось, стояла неподвижно от быстрого вращения. В воронке вода крутилась вихрем от всасывания машиной. И слышно, как выла и стонала вода по спиралям. Машина наращивала силу. Машина расходилась и свистела от хода и резала водяным вихрем воздух.

Маркун стоял. В нем была тревога и ожидание. Все замерло в нем, будто он только родился и ничего не понимал. Он в первый раз не думал, никакая мысль не вела его.

От ударов машины в стену трясся и подпрыгивал весь сарай. Внизу задымился подшипник, через секунду из него дрожью било пламя.

Машина увеличивала ход. Мощь ее росла и, не находя сопротивления, уходила в скорость.

Лопнула нижняя спираль, с визгом оторвался кусок трубы и, вращаясь, ударил в деревянную стенку сарая, пробил ее и вылетел на двор.

Турбина выскочила из подшипника и зарылась в землю.

Маркун вышел за дверь и остановился. Лозина низко опустила голые хворостины и шевелила ими по ветру.

Загудел третий гудок. Второго Маркун не слыхал.

«Я оттого не сделал ничего раньше, – подумал Маркун, – что загораживал собою мир, любил себя. Теперь я узнал, что я – ничто, и весь свет открылся мне, я увидел весь мир, никто не загораживает мне его, потому что я уничтожил, растворил себя в нем и тем победил. Только сейчас я начал жить. Только теперь я стал миром.

Я первый, кто осмелился».

Маркун взглянул на бледное, просыпающееся небо.

Мне оттого так нехорошо, что я много понимаю.

ПОТОМКИ СОЛНЦА

(Фантазия)

Он был когда-то нежным, печальным ребенком, любящим мать, и родные плетни, и поле, и небо над всеми ими. По вечерам в слободе звонили колокола родными жалостными голосами, и ревел гудок, и приходил отец с работы, брал его на руки и целовал в большие синие глаза.

И вечер, кроткий и ласковый, близко приникал к домам, и уморенные за день люди ласкались в эти короткие часы, оставшиеся до сна, любили своих жен и детей и надеялись на счастье, которое придет завтра. Завтра гудел гудок, и опять плакали церковные колокола, и мальчику казалось, что и гудок и колокола поют о далеких и умерших, о том, что невозможно и чего не может быть на земле, но чего хочется. Ночь была песнею звезд, и жаль было спать, и весь мир, будто странник, шел по небесным, по звездным дорогам в тихие полуночные часы.

Ночью душа вырастала в мальчике, и томились в нем глубокие сонные силы, которые когда-нибудь взорвутся и вновь сотворят мир. В нем цвела душа, как во всяком ребенке, в него входили темные, неудержимые, страстные силы мира и превращались в человека. Это чудо, на которое любуется каждая мать каждый день в своем ребенке. Мать спасает мир, потому что делает его человеком.

Никто не мог видеть, кем будет этот мальчик. И он – рос, и все неудержимее, страшнее клокотали в нем спертые, сжатые, сгорбленные силы. Чистые, голубые, радостные сны видел он, и ни одного не мог вспомнить утром, – ранний спокойный свет солнца встречал его, и все

внутри затихало, забывалось и падало. Но он рос во сне; днем было только солнечное пламя, ветер и тоскливая пыль на дороге.

* * *

Он вырос в великую эпоху электричества и перестройки земного шара. Гром труда сотрясал землю, и давно никто не смотрел на небо – все взгляды опустились в землю, все руки были заняты.

Электромагнитные волны радио шептали в атмосфере и межзвездном эфире грозные слова работающего человека. Упорнее и нестерпимее вонзались мысль и машины в неведомую, непокоренную, бунтующую материю и лепили из нее раба человеку.

Главным руководителем работ по перестройке земного шара был инженер Вогулов, седой согнутый человек с блестящими ненавидящими глазами, – тот самый нежный мальчик. Он руководил миллионными армиями рабочих, которые вгрызались машинами в землю и меняли ее образ, делали из нее дом человечеству.

Вогулов работал бессменно, бессонно, с горящей в сердце ненавистью, с бешенством, с безумием и беспокойной неистощимой гениальностью. Мировым совещанием рабочих масс ему была поручена эта работа. И Вогулов десять раз объехал земной шар, организуя работы, проповедовал идею переделки земного шара и зажигал человеческие черные массы восторгом работы. Сотни экспедиций он снарядил в горы всего земного шара и в океаны и моря для исследования теплых течений. Тысячи метеорологических обсерваторий были сооружены, и вся

атмосфера пережевывалась тысячами мозгов лучших ученых.

План Вогулова был очень прост.

Земля периодически подвергается засухам или, наоборот, слишком большой влажности. Человечество от этой свистопляски сил истребляется миллионными кусками. Потом смена времен года, эти – зима, лето и т. д. замедляют темп работы человечества, берут много у него сил на приспособление к ним, обрекают огромные пространства земли на бесплодие, стужу и тьму. А другую часть земли – на свирепый ветер, песок и бешенство огня.

Земля, с развитием человечества, становилась все более неудобна и безумна. Землю надо переделать руками человека, как нужно человеку. Это стало необходимостью, это стало вопросом дальнейшего роста человечества.

И Вогулов, инженер-пиротехник, разработал этот проект. Сущность проекта состояла в искусственном регулировании силы и направления ветров через изменение рельефа земной поверхности: через прорытие в горах каналов для циркуляции воздуха, для прохода ветров, через впуск теплых или холодных течений внутрь материков через каналы. Вот и все. Ибо всякое атмосферное состояние (влажность, сухость) зависят от ветров.

Для этих работ надо было прежде всего изобрести взрывчатый состав неимоверной чудесной мощи, чтобы армия рабочих в двадцать – тридцать тысяч человек могла бы пустить в атмосферу Гималаи. И Вогулов раскалил свой мозг, окружил себя тысячами инженеров, заставил весь мир думать о взрывчатом веществе и помогать себе – и вещество было найдено. Это было не вещество, а энергия –

перенапряженный свет. Свет есть электромагнитные волны, и скорость света есть предельная скорость во вселенной. И сам свет есть предельное и критическое состояние материи.

За светом уже начинается другая вселенная, материя уничтожается. Могущественнее, напряженнее света нет в мире энергии. Свет есть кризис вселенной. И Вогулов нашел способ перенапряжения, скучения световых электромагнитных волн. Тогда у него получился ультрасвет, энергия, рвущаяся обратно в мир к «нормальному» состоянию со странной истребительной, неимоверной, не выразимой числами силой. На ультрасвете Вогулов и остановился. Этой энергии было достаточно для постройки из земли дома человечеству.

Ультрасвет попробовали на Карпатах.

В маленький тоннель вкатили вагончик с зарядом концентрированного ультрасвета и отпустили электрический тормоз, удерживающий ультрасвет в его ненормальном состоянии, – и пламя завыло над Европой, ураган сметал страны, молнии засвирепели в атмосфере, и до дна стал вздыхать Атлантический океан, нахлобучивая миллиарды тонн воды на острова. Пучины гранита, завывая, унеслись на облака, раскалились там до неисчислимой температуры и превратились в легчайшие газы, а газы унеслись в самые высокие слои атмосферы, там как-то вступили в соединение с эфиром и навсегда оторвались от земли. От Карпат не осталось и песчинки на память. Карпаты переселились ближе к звездам. Материя мыслью Вогулова превращалась почти в ничто.

Через месяц то же самое сделали в Азии с некоторыми

участками Хингана и Саян. А еще через месяц в тундрах Сибири уже зацветали робкие цветы и лились теплые ласковые дожди, а вслед за теплом гнались люди, летели аэропланы, двигались тяжелые поезда и глубоко в землю вонзались фундаментами тяжкие корпуса заводов.

Вогулов командовал миллионами машин и сотнями тысяч техников. В бешенстве и неистовстве человечество билось с природой. Зубы сознания и железа вгрызались в материю и пережевывали ее. Безумие работы охватило человечество. Температура труда была доведена до предела – дальше уже шло разрушение тела, разрыв мускулов и сумасшествие. Газеты вели пропаганду работ, как религиозную проповедь. Композиторы со своими оркестрами играли в клубах горных и канальных работ симфонии воли и стихийного сознания, человек восставал на вселенную, вооруженный не мечтою, а сознанием и машинами.

Вогулов гнулся над чертежами и цифрами, окруженными аппаратами радиосвязи, уже четвертый год. И все беспредельней и бездонней перед ним открывался океан труда, и он без сна и почти без сознания, покоряясь ритмическим взрывам мысли, погибал в этом океане работы и не видел спасения и не хотел его. Далекие, великие горизонты открывались перед ним, и у него были тысячи проблем, но не было времени для их разрешения. Иногда Вогулов поднимался и ходил по своему кабинету, по буграм толстой бумаги и кальки, и пел, чтобы опомниться, рабочие песни – других он не знал. Пел он и курил махорку, привыкнув к ней с детства. Но работающая полным ходом машина требовала к своим регуляторам машиниста. Море работы выходило из берегов и грозило катастрофой, если

перестать его опустошать мозгом и машинами хоть на секунду, – и Вогулов садился опять к столу и аппаратам, связывающим его со всем миром, и рассчитывал, писал, отдавался скачке мысли и кричал в аппараты инженерам на Гималаи, на Хинган, на Саяны, на Анды, на искусственные каналы в Ледовитом океане, отводящие теплые течения внутрь Сибири, на гидрофикационные водоподъемные сооружения Сахары, говорил с метеорологической экспедицией в Индийском океане, – и мысль Вогулова четко стучала, освещала и регулировала великую героическую работу – битву далеких миллионов людей.

Вогулов давно понял, что мощь человеческого сознания есть способность ясного, полного и одновременного представления о многих совершенно разнородных вещах. И он достиг этого.

Еще год – и шар земной будет переделан. Не будет ни зимы, ни лета, ни зноя, ни потопов. Вся земля будет разбита на климатические участки. В каждом участке поддерживается ровно и всегда температура, нужная для произрастания того растения, какое наиболее соответствует почве этой страны. Человечество будет переселено в Антарктику – остальная площадь земли будет отведена под хлеб и под опыты и пробы человеческой мысли, она будет мастерской, обителью машин и пашней.

И в редкие моменты забвения или экстаза в разбухшей голове Вогулова сверкало что-то иное, мысль не этого дня.

Одна голова и пламенное сознание, которое от времени и работы становилось все могущественнее, остались в Вогулове. До сих пор люди были мечтателями, слабогрудыми поэтами, подобиями женщин и рыдающих детей.

Они не могли и были недостойны познать мир. Ужасающие сопротивления материи, вся чудовищная, сама себя жрущая вселенная были им незнакомы. Тут нужна свирепая, скрипящая, прокаленная мысль, тверже и материальнее материи, чтобы постигнуть мир, спуститься в самые бездны его, не испугаться ничего, пройти весь ад знания и работы до конца и пересоздать вселенную. Для этого надо иметь руки беспощаднее и тверже кулаков того дикого творца, который когда-то, играя, сделал звезды и пространства. И Вогулов, не сознавая, родясь таким, развив себя неимоверной титанической работой, был воплощением того сознания – тверже и упорнее материи, – которое одно способно взорвать вселенную в хаос и из хаоса сотворить иную вселенную без звезд и солнц, – одно ликующее, ослепительное всемогущее сознание, освобождающее все формы и строящее лучшие земли, если хочет того, если радостно ему это творчество. Но можно не творить, не разрушать, а быть в ином состоянии. Можно не радоваться и не страдать и не быть спокойным, это полет, это горный воздух, спокойный, чистый и тревожный.

Чтобы земное человечество в силах было восстать на мир и на миры и победить их – ему нужно родить для себя сатану сознания, дьявола мысли и убить в себе плавающее теплокровное божественное сердце.

* * *

И Вогулов начал действовать, медленно и начиная с малого – с перестройки земного шара. Но этого было мало: мысль свирепела и крепчала в работе и требовала работы, взмаха и гигантских, непреодолимых сопротивлений.

Вогулов засел за вселенную: эта тайна должна быть наконец разрешена и разрешена полностью. А познание есть три четверти победы. Он подошел ко вселенной не как поэт и философ, а как рабочий.

Через год опытов и размышлений он эту универсальную и последнюю задачу человечества решил, при помощи, конечно, всего человечества. Он нашел тот эллипсис, ту строгую форму, в которой заключена наша вселенная. Он всегда думал, что вселенная строго ограничена, имеет пределы и концы, точную форму – и только потому имеет сопротивление, то есть реально существует.

Сопротивление есть первый и важнейший признак реальности вещи.

А сопротивляется только то, что имеет форму. Рассуждения о бесконечности есть именно рассуждение, а не факт.

Вогулов нашел очертание, пределы вселенной и по этим известным крайним величинам нашел все средние неизвестные. Есть две крайние критические точки вселенной: свет как высшее напряжение вселенной, дальше света уже идет уничтожение вселенной, и черту света нельзя перейти, так как тут сопротивление вселенной безгранично – и вторая критическая точка инфраэлектромагнитное поле, то есть подобие обыкновенного электромагнитного поля, но почти нулевого напряжения, с волною длиной в бесконечность и частотой периодов один в вечность.

Между этими пределами заключены все остальные переходные формы: теплота, стремление материи к химическому равновесию структур, радиоактивность и др. И эти

колебания от света к инфраэлектромагнитному полю очень, по сути, незначительны. Например, скорость эманации радия близка к скорости света, электрический ток тоже почти имеет ту же скорость. И природа, сокровенность света, инфраполя и всех переходных форм – одна и та же.

Вогулов увидел на опыте, как мечется по этому замкнутому кругу то, что называется вселенной. Инфраполе необходимо возрастает до состояния света, а свет, стукнувшись о самого себя, снижается опять до своего полярного полюса – инфраполя. Так, по кольцу, вверх по правой половине, вниз – по левой, колеблется и стучится вселенная в каземате, который есть она же сама.

Инфраполе через миг (неопределимый, неуловимый) уже превращается в свет, а свет в тот же миг дает в ответ инфраполе. Получается даже не изменение, а мертвое состояние.

Инфраполе, распространяясь в бесконечность, имеет неодинаковое внутреннее сопротивление в себе, – у начальных точек больше, у конечных меньше, от этого получаются различные скорости, – то есть содрогания волны; интенсивность поля достигает максимума, то есть света, и потом падает опять с содроганий пятидесяти в двадцатой степени в секунду до одной в вечность, то есть до полного отсутствия содроганий.

И когда Вогулов построил копию вселенной в своей лаборатории, со всеми ее функциями, и опыт оправдал все расчеты. Вогулов даже не обрадовался, а только замер у своего механизма – вселенной, и мысль у него застыла на миг.

Тот же круговой поток, от инфраполя к свету – и обратно, получался и у него на лабораторном столике, как и безмерных пространствах мира. Вселенная была познана до дня и воспроизведена человеком.

Тогда Вогулов вспомнил про ультрасвет, свою взрывчатую энергию, и улыбнулся в первый раз издавна: вселенная превзойдена человеком, ибо ультрасвет уже не есть элемент нашей вселенной. Вогулов взял карандаш и рассчитал, что достаточно тысячи кубических километров сконцентрированного ультрасвета, чтобы вселенная перестала существовать.

Двух взрывов, по пятьсот кубических километров каждый, будет довольно: первый доведет до состояния света все существующее, а второй превратит свет в ультрасвет, а по инерции перенапряжется и сам ультрасвет и создаст какое-то новое сверхэнергетическое образование, иную вселенную.

И Вогулову стало скучно хорошо, стена дала трещину и стала видна дорога.

Через год Вогулов решил пересотворить вселенную ультрасветом. И опять загремела в нем мысль и бесконечной лентой пошли чертежи мастерских, лабораторий и финансовые сметы. Но тут он натолкнулся на непреодолимое сопротивление: всей энергии земного шара не хватало для производства тысячи кубических километров ультрасвета. Тогда Вогулов запряг в станки бесконечность, само пространство, самую универсальную энергию – свет. Для этого он изобрел фотоэлектромагнитный резонатор-трансформатор: прибор, превращающий световые электромагнитные волны в обыкновенный рабочий ток,

годный для электромоторов. Вогулов просто получаемые из пространства световые лучи «охлаждал», тормозил инфраполем и получал волны нужной длины и частоты перемен. Незаметно и неожиданно для себя он решил величайший за всю историю энергетический вопрос человечества, как с наименьшей затратой живой силы получить наибольшее количество годной в работу энергии. Затрата живой силы тут ничтожна – фабрикация резонаторов-трансформаторов света в ток, а энергии получалось, точно выражаясь, бесконечное количество, ибо вся вселенная впрягалась в станки человека, если далекие пределы вселенной условно назвать бесконечностью, ведь вселенная – физический свет. Энергетика и, значит, экономика мира были опрокинуты: для человечества наступил действительно золотой век – вселенная работала на человека, питала и радовала его.

Вогулов заставил работать вселенную в своих мастерских для фабрикации ультрасвета, чтобы уничтожить такую вселенную. Но этого было мало: человек работал слишком медленно и лениво, чтобы изготовить в короткое время нужное количество резонаторов – миллионы штук. Темп работы должен быть повышен до крайности, и Вогулов привил рабочим массам микробов энергии: он взял для этой цели элемент инфраполя с его ужасающим стремлением к максимальному состоянию – свету, развел культуры, колонии, триллионы этих элементов и рассеял их в атмосфере. И человек умирал на работе, писал книги чистого мужества, любил, как Данте, и жил не года, а дни, но не жалел об этом.

Первый год уже дал сто кубических километров уль-

трасвета. Вогулов думал удваивать производство в каждый следующий год, так что через три с немногим года тысяча кубических километров ультрасвета будут готовы.

Человечество жило как в урагане. День шел за тысячелетие по производству ценностей. Быстрая вихревая смена поколений выработала новый совершенный тип человека – свирепой энергии и озаренной гениальности.

Микроб энергии делал ненужной вечность – довольно короткого мига, чтобы напиться жизнью досыта и почувствовать смерть, как исполнение радостного инстинкта.

* * *

И никто не знал, что было сердце и страдание у инженера Вогулова. Такое сердце и такая душа, каких не должно быть у человека. Он двадцати двух лет полюбил девушку, которая умерла через неделю после их знакомства.

Три года Вогулов прометался по земле в безумии и тоске; он рыдал на пустынных дорогах, благословлял, проклинал и выл. Он был так страшен, что суд постановил его уничтожить. Он так страдал и горел, что не мог уже умереть. Его тело стало раной и начало гнить. Душа в нем истребила сама себя.

И потом в нем случилась органическая катастрофа: сила любви, энергия сердца хлынула в мозг, расперла череп и образовала мозг невиданной, невозможной, неимоверной мощи.

Но ничего не изменилось – только любовь стала мыслью, и мысль в ненависти и отчаянии истребляла тот мир, где невозможно то, что единственно нужно человеку, – душа другого человека...

Вогулов размечет вселенную без страха и без жалости, а с болью о невозвратимом и утраченном, чем дышит человек и что нужно ему не через несметные времена, а сейчас. И Вогулов руками хотел сделать это невозможное сейчас.

Только любящий знает о невозможном, и только он смертельно хочет этого невозможного и сделает его возможным, какие бы пути ни вели к нему.

ЛУННАЯ БОМБА

1. ПРОЕКТ КРЕЙЦКОПФА

Сын шахтера, инженер Петер Крейцкопф, в столице своей страны был в первый раз. Вихрь автомобилей и грохот надземных железных дорог приводил его в восторг. Город, должно быть, населен почти одними механиками! Но заводов не было видно, – Крейцкопф сидел на лавочке центрального парка, а заводы стояли на болотах окраин, на полях сброса канализационных вод, за аэродромами мировых воздушных путей.

Крейцкопф был молод и совсем не имел денег; он поссорился с администрацией копей, желавшей добывать деньги из одного сжатого воздуха, посвоевольничал в своей копи, был отдан под суд, уволен и приехал в столицу.

Поезд пришел рано, но этот странный город был уже бодр: он никогда не просыпался, потому что и не ложился спать. Его жизнью было равномерно-ускоренное движение. Город не имел никакой связи с природой: это был бе-

тонно-металлический оазис, замкнутый в себе, совершенно изолированный и одинокий в пучине мира.

Роскошный театр из смуглого матового камня привлек взор Крейцкопфа. Театр был так велик, что мог бы быть стоянкой воздушных кораблей.

Горе раскололо сердце Петеру Крейцкопфу: его молодая, когда-то влюбленная в него жена Эрна осталась в Карбоморте, угольном городе, откуда Петер приехал. Петер предостерегал ее: «Не стоит расходиться, Эрна. Мы жили с тобой семь лет. Дальше будет легче. Я поеду в центр и приступлю к постройке «лунной бомбы», – мне дадут денег, наверное, дадут».

Но Эрне надоели обещания, надоел угольный туман копей, узкая жизнь Карбоморта и одинаковые рожи бессменного технического персонала, особенно две личности друзей Петера – узких специалистов, сознательно считавших себя атомами человеческого знания. Самый частый разговор, слышанный Эрной, это слова сослуживца Мерца: «Мы живем для того, чтобы знать».

– А того и не знаете, – ответила тогда Эрна, – что люди живут не для того, чтобы знать...

Петер понимал и Эрну, и своих друзей, а его-то они не особенно понимали. Аристократка, дочь крупного углепромышленника, получившая образование в Сорбонне, Эрна ненавидела друзей Петера – мастеров, электромонтеров и изобретателей, просиживавших в ее гостиной с Петером в ненужных спорах до полуночи.

Крейцкопф знал, что у него мало общего с Эрной: он, полусамоучка, инженер по призванию, – и она, овладевшая последними «цветами культуры», ему недоступными.

И Эрна ушла от него в свой круг людей.

Крейцкопф тосковал, он не знал, что ему делать одному среди множества людей.

* * *

От всеобщей занятости, электрических реклам, запаха отработанных газов и рева бушевавших машин тоска Крейцкопфа удесятерилась. Он вспомнил прошедшие годы своей жизни, полные труда, доверия к людям, технического творчества и преданности любимой жене. И вот все истреблено неясными стихиями: люди обманули и предали, его труд был не нужен для них, жена полюбила другого и возненавидела его, творчество привело его к одиночеству и нищете.

– Неужели нет спасения? Смерть? Нет, пусть меня раздавит неодолимое, – или я одолею все видимое и невидимое!

Крейцкопф встал, утерся грязным платком и пошел в Научно-технический Комитет Республики. Он не верил в пользу зеленых письменных столов, знал иронию, спрятанную в ящиках канцелярий, и глухое невежество профессоров. Но податься было некуда.

Его принял председатель Комитета, инженер-путеец. Крейцкопф изложил свое предложение, иллюстрируя его графическими материалами.

Предложение касалось «лунной бомбы» – некоего транспортного орудия, способного перемещаться во всякой газовой среде, в атмосфере и вне атмосферы. Металлический шар, начиненный полезным грузом, укреплялся на

диске, стационарно установленном на земле. Шар укреплялся на периферии диска; сам диск имел либо горизонтальное земной поверхности положение, либо наклонное, либо вертикальное, – в зависимости от того, куда посылался снаряд: на земную станцию или на другую планету.

Диску давалось достаточное для достижения снарядом со станции назначения вращение; по достижении диском необходимого числа оборотов, в нужном положении диска, соответствовавшем направлению линии полета, шар автоматом отцеплялся от диска и улетал по касательной к диску. Все совершалось по формуле центробежной силы, включив в нее коэффициент сопротивления среды.

Безопасный спуск снаряда на землю (или на другую планету) обеспечивался автоматами на самом снаряде: при приближении к твердой поверхности замыкался в автомате ток и сжигалось некоторое количество взрывчатого вещества в том же направлении, что и полет, – отдачей достигалось торможение полета, и падение превращалось в плавный безопасный спуск. Взлет снаряда также был безопасен и плавен, так как скорость кидающего диска начиналась с нуля.

Крейцкопф предложил пустить первый снаряд по такому пути, чтобы он описал кривую вокруг Луны, близ ее поверхности, и снова вернулся на Землю. В «лунной бомбе» будут установлены все необходимые аппараты, автоматически запечатлевающие в межпланетном пространстве, близ Луны, температуру, силу тяготения, общее состояние среды, строение электромагнитной сферы; наконец, киноаппараты воспримут через особые микроскопы все, что несется мимо снаряда. Конечно, в конструкции

всех этих аппаратов должно быть принято во внимание мчащееся состояние «лунной бомбы».

Крейцкопф руководился тайной мыслью: народонаселения на земле много, – в давке, в тесноте, у иссыхающих питательных жил земли проходят дни неповторимой жизни. Крейцкопф надеялся открыть на соседних планетах новые девственные источники питания для земной жизни, провести от этих источников рукава на земной шар и ими рассосать зло, тягость и тесноту человеческой жизни. И, когда откроются безмерные недра чужого звездного дара, человек будет больше нуждаться в человеке...

– Урожай у нас ожидается хороший, – выслушав его, в раздумье сказал председатель Комитета, – промышленность налажена, идет новое строительство... Да, пожалуй, денег просить можно. Сколько у вас требуется по смете? Шестьсот тысяч? Хорошо. Только необходимо весь вопрос поставить перед Пленумом Комитета, добиться положительного заключения Пленума и тогда уже войти с представлением в правительство... Пленум Комитета у нас соберется... сегодня вторник... в пятницу. Я лично сторонник вашего предложения. В расчетах, насколько я уловил, нет ошибки. Так вы в пятницу свободны?

– Я в вашем распоряжении, – ответил Крейцкопф.

– Хорошо. Значит, до пятницы. Будьте здоровы.

– До свиданья.

Крейцкопф ушел. Он не ожидал такого внимательного отношения. Да, но что делать до пятницы, три дня, и где взять еды?

Город неизменно бунтовал жизнью и делом. Был полдень и знойное лето. Крейцкопф купил дешевую газету.

Начал с объявлений. «...Требуется инженер... в отъезд... в отъезд...» Нет ничего нужного. Вот: «Требуется конструктор... генераторов...» Не знает детально Крейцкопф этой отрасли. Еще: «Нужен временно шофер для испытания автомобильных моторов новых конструкций на динамику...»

Это идет: Крейцкопф имел два автомобиля (подарки жены в первый год их жизни), ездить умел отлично и любил это занятие.

Крейцкопфа приняли и дали жалованье, к его удивлению, большее, чем он получал в копях. Предложили прийти в среду с утра на работу в гараж.

Вечер и ночь Крейцкопф просидел в парке на одном месте. Думы о прошлом терзали его.

2. ТРАГЕДИЯ НА ШОССЕ

Утром Крейцкопф пошел на окраину города, в гараж, на место новой службы. Гараж был открыт, но не было заведующего. Разгоралось утро. Крейцкопф курил и боролся со сном.

Наконец пришел заведующий, и Крейцкопфу дали машину: с виду похожа на тип девяностосильных «испаносуиза», но было в ней что-то иное: диаметр колес увеличен и радиатор – полукруглый. Мотор был запломбирован. В отдельном ящике, тоже на пломбе, стояли все нужные саморегистрирующие приборы.

Крейцкопф выехал. Машина шла мягко и тянула бешено, несмотря на неразогретый мотор. Вместо пассажиров был положен мертвый груз.

Крейцкопфу дали задание сделать сегодня до обеда триста километров по счетчику и возвратиться после этой дистанции.

Шоссе лежало пустым. Крейцкопф воткнул четвертую скорость, дал газ до отказа и полетел кирпичом. Таксометр показывал сто четыре километра. Но мотор разогревался и усиливал тягу. Сто восемнадцать километров... Мимо несся ветер в это тихое утро. Кругом распласталась природа. Вдалеке дымились трубы крематория.

Успокоенный, забывший горе своего сердца, Крейцкопф набирал скорость. Сто сорок три километра... Дорога безлюдна, мертво наше прошлое, а навстречу – ветер, путь и восходящая стрелка измерителя скорости.

Вдруг показалась корова. Крейцкопф срулил мимо без тормоза. Дальше шел небольшой поворот, машину немного занесло от скорости. Крейцкопф выключил конус и в метре от машины заметил курчавую головку ребенка...

Крейцкопф рванул налево руль и повел ручным тормозом до отказа. Машина затряслась, запылила вывернутая мостовая, но ребенка ударило правым фонарем, и голова его рассеклась по черепным швам. Густая кровь залила его рубашечку, неповрежденные глаза полуприкрылись длинными ресницами, и пухлые алые губы сложились бантиком, который теперь никогда не развяжется.

Крейцкопф оледенел от рвущего тело страдания, он крикнул, выпрыгнул из автомобиля и припал к трупу ребенка, терзаясь и борясь с обступившей его темнотой отчаяния. Кругом было молчаливо, мотор потух, и город вдали ровно шумел.

Крейцкопф встал, поднял на руки ребенка и положил

его в автомобиль. Это был мальчик, на фуражке его было написано «Океан». Кровь запеклась и остановилась. Мальчику было лет пять.

Крейцкопф тронул машину и тихо поехал, ища глазами мать, обходя выбоинки, чтобы не трясти трупик. Но не было никого. И Крейцкопф погнал, сбросив фуражку, резко подкидывая стрелку таксометра, – и слезы текли по его лицу, смешанные с пылью, грязными струями. Он рыдал, налегая грудью на руль. Трупик ребенка свалился с сиденья на пол и там шевелился от тряски, словно в конвульсиях.

Крейцкопф свернул на проселок и скоро остановил машину. У межевого столба была яма. Он слез с трупиком и положил его в готовую могилу. Личико ребенка уже сморщилось, не совсем прикрытые глаза побелели и закатились. Крейцкопф набрал воды из радиатора и обмыл его начисто, потом тихо поцеловал в чистые губы, и горячие слезы снова омыли его лицо.

– Я тебя не забуду никогда, милый, теплый ты мой... – шептал Крейцкопф, и горе горело в нем жгучим костром. Он отрезал пучок светлых волос и взял их себе вместе с шапочкой «Океан», потом засыпал могилу при помощи автомобильного инструмента. Засыпав яму, он затосковал по мальчику так, что захотел его откопать.

– Я искуплю тебя, милый, – прошептал он и пошел к машине. – Что Эрна! Тут будет теперь моя вечная нежность!

Крейцкопф заметил местность могилы и поехал. Он ехал медленно, прижимая рукой к рулю круглую шапочку «Океан» с прядью тонких русых волос.

Вернувшись в гараж. Крейцкопф взял аванс под жало-

ванье и ушел в город. Он купил вечернюю газету, желая найти имя мальчика, и нашел его: «Родители умоляют... ушел из дому в шесть часов утра... звать Гога... четыре с половиной года, русый, очень ласковый, фуражечка с надписью «Океан»... свекловичное хозяйство Ромпа... директору Фемм...»

– Гога Фемм, – шептал Крейцкопф. – Но что же мне делать, ведь мать его умрет, если я сообщу, что он раздавлен!..

* * *

Пришла пятница. Крейцкопф защищал в Центральном Научно-Техническом Комитете свой проект и защитил его. Он спорил и бился отчаянно, и мертвый мальчик стоял в его памяти.

Проект получил визу Комитета и пошел в правительство. Не раньше чем через месяц станет известным результат.

Крейцкопф по-прежнему обкатывал машины, убивая вечера в кино и в бесцельных шатаниях по кипящим улицам.

Раз он получил письмо от Эрны, каким-то путем узнавшей его адрес: «Петер, я вышла замуж за инженера Нимта. Мы с мужем уезжаем до Нового года в Брюссель. Хотела бы иногда тебя видеть, как друга. Прошлого не изгладишь сразу. Мы будем в столице с 20-го по 25 августа. Жить будем в «Майоне». Я слышала, ты не очень счастлив, служишь шофером. С твоего разрешения, я могу попросить мужа устранить препятствия, мешающие твоей карьере. Ведь ты чрезвычайно одаренный человек, я это знаю. Отвечай мне в Карбоморт. Эрна».

Крейцкопф ничего, конечно, ей не ответил.

Шли недели. Крейцкопфа ценили на новой службе, и раз он участвовал на официальных гонках, где выиграл второй приз.

Наконец его вызвал Комитет. От правительства пришел ответ: деньги по смете будут отпущены в два года равными долями, к работам можно приступать, все результаты исследования межпланетного пути и Луны поступают в собственность правительства.

3. КАТАСТРОФА ПРИ ПОСТРОЙКЕ

Крейцкопф ликовал. Он съездил на могилу мальчика, где увидел, что холм порос лебедой, что поле глухо... что сердце его обрастает салом забвения. Дорогой он плакал и рвал сухие колосья. Однако, не имея никого из близких, не зная друга, он дал телеграмму в Брюссель: «Эрна, бомба будет брошена через два года, строю».

Эрна ответила: «Радуюсь, жму крепко руку».

Всю жизнь не видел Крейцкопф такой удачи. И не мог сдержать себя: он пел в своей комнате странным голосом путаные песни и ходил в пивную с шоферами.

Началась постройка. На плацдарме, открытом всему небу, бутили фундамент под электромотор в сто двадцать тысяч лошадиных сил, под трансмиссионное устройство и под опорный подшипник – подпятник кидающего диска. Одновременно велось ответвление от ближайшей магистрали высокого напряжения для питания электродвигателя и ставился трансформатор.

Крейцкопф был вне себя от энергии, кипевшей в нем,

как в паровозе. Он бы построил всю систему сооружений для развития в «лунной бомбе» летной живой силы в полгода, но план финансирования был растянут на два года.

Самый снаряд строился Машиностроительным Трестом Монте-Монд, и его должны были закончить через пять месяцев.

Но черный случай шел вслед Крейцкопфу: при взрывных работах в котловане опорного подшипника сорок рабочих, из них пять лучших в стране специалистов, были убиты электрическим током, как констатировала особо назначенная комиссия. Но тока жизнеопасного напряжения на месте работ не было. Это точно установила техническая экспертиза. Однако сорок трупов были обернуты в грубый холст и отвезены к семьям на пяти грузовиках.

Работа остановилась. Крейцкопф молчал и не предпринимал никаких шагов снова наладить постройку. В нем физически явственно разрушалось сердце. Он нечаянно умертвил рабочих. Крейцкопф раньше пробовал свой метод в копях, правда, в отсутствие людей, – и горные породы превращались в тонкий прах.

Метод состоял в том, что в материю, подлежавшую превращению из минералов в пыль, направлялись электромагнитные волны таких периодов и такой длины, что они совпадали с естественным колебанием электронов атомов материи. Эти искусственные волны раскачивали, усиливали электронный пульс атомов, и атом разрывался, частью превращаясь в неизвестный, неощутимый газ, частью в легкую пудру.

Зная (теоретически точно) безвредность электромаг-

нитных волн такой структуры для человека, Крейцкопф, ничего не говоря, пустил в действие свой аппарат в направлении котлована. И он посеял смерть среди людей.

Странно, что следователь не обнаружил в Крейцкопфе преступника: его томящееся сердце было видно на его лице и в его глазах.

Работы возобновились, но шли тихо, и Крейцкопф не торопил производителей работ. Но скоро снова вышла заминка, где Крейцкопф был ни при чем: в финансовой части работ обнаружились крупные хищения, кассир и начальник части скрылись. Крейцкопфа обвинили в административной халатности и даже, по какому-то грязному доносу, в соучастии.

Крейцкопф не защищался. Работы приостановили. Правительство назначило Особую техническую комиссию для пересмотра всего проекта, а Крейцкопф был судим и приговорен к одиночному заключению на год.

4. ИЗОБРЕТАТЕЛЬ В ТЮРЬМЕ

Очутившись в камере, Крейцкопф опомнился. Долгие недели он лежал на койке и думал. Лето догорало, падал лист, Эрна была в Брюсселе, Гога Фемм в могиле, те сорок тоже – прах. Впереди одна мертвая мечта – лунный полет.

Крейцкопф заболел какой-то кишечной болезнью. Его перевели в тюремную больницу. Неслышно, в туфлях, по опавшим листьям, ступала осень в природе.

Выздоравливая, Крейцкопф гулял по коридору на третьем этаже больницы. Коридор кончался открытым окном в тихий парк; там пели поздние птицы.

Крейцкопф подошел к раскрытому окну и долго рассматривал тающий сумеречный воздух и агонию растительного мира, потом сразу, без разбега, кинулся в окно. Его арестантская фуражка слетела с головы, а халат накрыл и его и часового, на которого упал Крейцкопф. Вонзившись в неожиданное мягкое тело, Крейцкопф захлебнулся своей кровью, хлынувшей из треснувших легких, но понял, что остался жив. Часовой лежал под ним мертвый, с ногами, упертыми в собственную голову, сломанный пополам в седалище.

Крейцкопфа осудили вновь за побег, за убийство часового и приговорили к восьми годам, по совокупности с прежним преступлением. Крейцкопф не мог доказать, что он искал не вольной жизни, а тесной могилы.

Время стало мутным и неистощимым: шли дни, как годы, шли недели, медленно, как поколения. Крейцкопф был обречен. Он выработал искусство не думать, не чувствовать, не считать времени, не надеяться, почти не жить: стало легче на одну нитку.

Ассоциация инженеров его страны запросила правительство о возможности досрочного освобождения Крейцкопфа для продолжения постройки «лунной бомбы». Правительство предложило подождать заключения Особой технической комиссии по пересмотру проекта в целом.

Лег снег. Крейцкопф разлагал в себе мозг, мертвел и дичал. Особая комиссия закончила свои работы: проект верен, и если бомба не встретит на пути к Луне блуждающих метеоритов, снаряд способен достичь лунной периферии и возвратиться; предвидеть же все случайности межпланетного пути абсолютно невозможно. Особая ко-

миссия позволила себе вынести мнение о Крейцкопфе как о человеке исключительного технического творческого дара и огромных познаний.

Правительство согласилось освободить Крейцкопфа под поручительство Ассоциации инженеров. Страна удовлетворилась решением правительства. Все считали, что в Крейцкопфе редкий гений соединен со страшным антисоциальным существом, убийцей и темным бродягой, но что все же дать ему кончить «лунную бомбу» следует. Общественным мнением руководило не сострадание, а любопытство.

Крейцкопфа выпустили. Он долго приспособлялся и трудно вспоминал когда-то привычное.

Работы возобновились. Крейцкопф вел теперь узкотехническую, конструкторскую работу. Главным инженером было другое лицо инженер-электрик Нимт, второй муж Эрны. Нимт вошел в доверие правительства и Ассоциации инженеров и теперь делал карьеру на модном деле Крейцкопфа.

Крейцкопф не имел способности правильно и с тактом относиться к окружающим вещам. Он отнесся ко всем переменам равнодушно: его интересовало только дело лунных изысканий, и он вел свою работу ровно, усердно и автоматически. В нем развилась сонливость, и он все неслужебные часы спал дома один. Одиночество после тюрьмы стало его страстью, и он тяготился людьми на службе и не бывал в городе. Нимт вел себя с ним корректно, но оставался чужим и неясным.

Эрны на постройке не было ни разу: Нимт и она жили в городе.

5. В СТОЛИЦЕ МЕТАЛЛУРГИИ

Снаряд был наконец готов. Долго не удавалась совершенно точная установка метательного диска: диск должны были установить под некоторым углом к геометрической поверхности земного шара, и этот угол нужно было соблюсти с предельной тщательностью: угол наклона диска определял путь полета «лунной бомбы».

Весной работы были приостановлены на пять месяцев: надо было дожидаться нового бюджетного года и второй половины кредитов, ибо средства этого года были исчерпаны.

Нимт уехал с Эрной за границу, в Киссинген. Крейцкопф получил отпуск на все время до возобновления работ с сохранением содержания.

Он поехал на знаменитые электрометаллургические заводы в Стуасепте. Его интересовали опыты этих заводов по извлечению глубоких железных руд в предгорьях Алдагана.

Правление заводов дало Крейцкопфу рекомендательное письмо к главному инженеру на Алдаган, и он отправился. Ехать нужно было четыре тысячи километров. Крейцкопф поехал по железной дороге. Поезд вел не паровоз, а газовоз, сменивший собой недолго поживший тепловоз.

Газовоз представлял собою газовый двигатель на колесах. Все нижнее ходовое устройство было как у паровоза, но в цилиндрах работал не пар, а сжатый воздух: передача энергии газогенераторного двигателя к ведущим колесам была пневматическая. Газовоз был самый дешевый транспортный двигатель; он работал на газе каменного

угля, дров, торфа, соломы, сланца, бурых и малогорючих углей и на всех тлеющих отбросах, из которых только можно выгнать силовой газ.

Газовоз возил с собою на прицепке два вагона-аккумулятора, где в сильно сжатом состоянии помещался газ, которым питался двигатель газовоза. Через каждые триста – четыреста километров стояли маленькие газовые заводы, которые производили газ из местного подножного дешевого топлива. С этих заводов забирали газ газовозы, как раньше паровозы забирали воду из водонапорных баков водокачек.

Против паровоза газовоз вез дешевле в четыре раза.

Крейцкопфа заинтересовали эти быстро вошедшие в транспорт машины, и он с радостью наблюдал из окна, как бодро и мощно берут газовозы крутые подъемы без всякой потери скорости.

Уже год минул с тех пор, как Крейцкопф приехал в первый раз в столицу. Стояло новое лето. Зной гудел в полевых пространствах, – тяжелый труд сельского хозяина упорно боролся с ним за влажность трав, за сытость больших городов, а также за лунный полет.

Крейцкопф заметно поседел, состарился и потерял детский интерес к ненужным вещам. Он чувствовал, что идет на убыль, – еще осталось немного лет, и скроется от него жизнь как редчайшее событие.

Крейцкопф хотел бы друга, задушевного негромкого разговора и простой теплоты, невнятно говорящей о родственности и сочувствии людей друг к другу. Но он жил в сумрачном сне, его уважали и его чуждались. Его считали необыкновенным – и в гениальности и в преступлении, а

Крейцкопф был обычным и простым человеком. Ему были чужды и ненавистны отвлеченности и холодные вершины. Он любил горячее действие, а не вышнее созерцание.

На вторые сутки поезд вошел в страну страшных подъемов и уклонов: это были предгорья великой Алданской системы, поднявшейся из глубины тропического моря и исчезавшей в ледяных пучинах Арктического океана.

Станция Стуасепт – и в километре от нее столица металлургии: директория железорудной промышленности, горная академия, правление электрометаллургических заводов и гидроэлектрическая силовая установка в миллион киловатт.

Крейцкопф сразу поехал на место работ по извлечению глубоких руд. Администрация работ встретила его просто и задушевно: горные инженеры имели перед собой первоклассного техника другой области практики, и только.

Известно, что добывание железной руды с трехсотметровой глубины не может экономически оправдываться, здесь же опытным путем хотели доказать иное. Электромагниты, питаемые током в сотни тысяч лошадиных сил от гидравлической установки, были направлены полюсами в подземные районы залегания железных руд.

Гигантские массивы руды с завыванием и грохотом, похожим на громы землетрясения, прорывали оболочку земли и вылетали на дневную поверхность, стремясь к полюсу электромагнита. В момент разрыва рудой последнего почвенного покрова особым автоматом в электромагните прерывался ток и сам электромагнит отводился в сторону. И глыбы руды вырывались из недр с горячим

ветром, накаленные трением о встречные породы, и, взлетев на сотню метров, падали на материнскую землю, слегка зарываясь.

Лебедка-самоход поднимала куски руды щипцовым ковшом, окунала в пруд для охлаждения и подвозила к конвейеру. Конвейер подавал руду к домнам.

Несмотря на огромную силу, нужную, чтобы вырвать руду из недр электромагнитом, сила эта тратилась лишь несколько мгновений, и потом электромагниты питались током, добытым из энергии падающей подпертой воды. Поэтому глубокая руда обходилась не дороже мелко залегающей руды, добываемой обычным способом. И было что-то чудовищное и неестественное в том, что из–под земли вылетал металл, скрежеща и тоскуя на пути.

Вечером Крейцкопф обедал у производителя работ по магнитной добыче руды, инженера Скорба. Пожилой спокойный человек, один из конструкторов мощных добывающих электромагнитов, Скорб имел тихий нрав и лютую работоспособность. Скорб был одинокий: его семья – жена и две дочери утонули в весеннем паводке горной реки двадцать лет назад. Скорб потом отомстил этой реке: он построил на ней регуляционные сооружения, сделавшие невозможными никакие паводки. И с тех пор Скорб живет один, если не считать тысячу электриков, слесарей, монтеров и горнорабочих, сплошных друзей Скорба.

Переночевав у Скорба, Крейцкопф уехал в столицу.

Снова зачихал газовоз и забормотали колеса. Пышное лето плыло в вечном сиянии солнца.

6. ПОЛЕТ «ЛУННОЙ БОМБЫ»

Приехав домой, на мертвую постройку, Крейцкопф не знал, чем ему заняться: до начала работ оставалось не менее четырех месяцев. И он нечаянно занялся чтением: купил раз книжку в палатке у древней стены, пришел домой, зажег свет, открыл книгу, а там значилось:

Я – родня траве, и зверю,
И сгорающей звезде;
Твоему дыханью верю
И вечерней высоте...

Дальше шли скучные слова, а потом опять:

Я не мудрый, а влюбленный,
Не надеюсь, а – молю.
Я теперь за все прощенный,
Я не знаю, а люблю.

Очарование смутной мысли, мысли, смешанной с горячим и скорбным чувством, охватило всего Крейцкопфа. И он читал и читал, пока комната стала желтой от зари и электричества. Он подкупил днем еще десятка полтора книг, заинтересовываясь лишь их названиями; это были: «Путешествие в смрадном газе» Бурбара, «Голубые дороги» Вогулова, «Зенитное время» Шотта, «Антропоморфная революция» Зага-Заггера, «Лунный огонь» Феррента, «Антисексус» Беркмана, «Всегда ли была и будет история и что она такое наконец в самом деле?» – философия Горгонда, – и несколько других.

Крейцкопфа поразил книжный мир. Он никогда не имел времени для чтения. И он мыл и промывал свой мозг, затесненный страданием, однообразным трудом и глухою тоскою. Он увидел совсем новых людей мрачных, горячих, подвижных, ревущих страстью и восторгом, гибнущих в просторе мысли, торжествующих на квадратном метре в каменной нише в стене, ищущих праведную землю и находящих пустыню, бредущих по песку и набредающих на воду, уходящих в страны изуверов, меняющих тепло дома на ветер ночного пути...

Люди шли перед Крейцкопфом не как масса, а как странники, нищие, как бродяги, бредущие с завязанными глазами. Крейцкопф неожиданно отметил: литература не знает счастья, а самое счастье, где оно есть, лишь предсказывает близкую беду и землетрясение души.

В стране Крейцкопфа уже собирали урожай. Горела солома в топках локомобилей в полях и молотила хлеб. Падал лист с деревьев, и его жевали козы. Глотали ягоды змеи, и на деревьях от них трепетали птицы. Множество детей народилось от урожая, и появились хорошие писатели. Строились фабрики тонких сукон, и заготовлялись на зиму впрок фрукты и овощи.

Настал новый бюджетный год. Управлению Строительства Лунного Полета отпустили вторую половину сметной стоимости работ.

Крейцкопф, Нимт и пятьсот строителей занялись делом.

Недели за неделями шли в истощающем труде, – труде, где требовалась необычайная точность и где от каждой нитки гаечной резьбы зависело завоевание Луны.

Кидающий диск был закончен. «Лунная бомба» давно готова. Электродвигатель, передачу и все измерители и автоматы установили. Осталось оборудовать самый снаряд всеми приборами наблюдения и фиксации.

Это пошло быстро. Строительное Управление было ликвидировано и заменено Научным Бюро Лунных Изысканий. Во главе его стал известный астрофизик, академик Лесюрен, а Нимт остался его заместителем по технической части. Крейцкопф значился по-прежнему конструктором.

Временем отлета Бюро установило 19 - 20 марта, точная астрономическая полночь. В это время Луна находилась в наивыгоднейшем для прицела положении. В полночь на 20 марта автомат отцепит снаряд от вращающегося диска, и «лунная бомба» улетит по направлению к нашему спутнику, а через восемьдесят один час возвратится вновь на Землю и сядет близ города Коро-Коротанга.

Газеты в погоне за сенсацией писали о полете такие подробности, что и Лесюрен и Нимт сначала усердно помещали поправки информационных сообщений печати, а потом бросили: газеты-де вовсе не созданы для новостей и точной информации, они – привычка людей, некое курево утомленного мозга.

* * *

На место отправления «лунной бомбы» съезжался «весь свет». Правительство не хотело лишних затрат и ограничилось постройкой огромного цирка вокруг сооружения.

Крейцкопф задумался. Истекало 10 марта: день полета близок. Если прибавить в «бомбу» аппараты для произ-

водства кислорода и поглощения углекислоты, то можно лететь и человеку; ведь и полет будет длиться всего восемьдесят один час.

Крейцкопф написал заявление в Научное Бюро Лунных Изысканий о своем желании лететь к Луне в «бомбе» и подробно изложил пользу от такого дополнения «бомбы» живым человеком.

Бюро переслало заявление Крейцкопфа правительству; то отказало. Крейцкопф написал второе заявление: «Правительством не был куплен у меня патент на изобретение «лунной бомбы», детали конструкции до сих пор известны только мне, Крейцкопфу, я не даю согласия на пуск моего изобретения в действие, да без меня практически его и не сумеют как следует пустить в ход: я, Крейцкопф, отказываюсь также от всякого денежного вознаграждения, я заменяю свое вознаграждение возможностью лететь в «бомбе».

По существовавшим патентным законам этой страны Крейцкопф был совершенно прав. Он создал безвыходное положение для правительства, и оно разрешило ему сесть в «лунную бомбу».

Известие о полете Крейцкопфа в «лунной бомбе» поразило общество. Но потом решили: эффектный жест самоубийцы. 19 марта в восемь часов вечера Крейцкопф сел в «бомбу». Посадка его и укупорка всего снаряда были исполнены в мастерских, после чего снаряд сразу был подан на диск. Этим действием Крейцкопф отвел от себя внимание публики. В десять часов весь цирк, вплоть до последних амфитеатров, был полон.

Было пышное освещение, музыка, продавали воды, квас

и мороженое, дежурили таксомоторы, – обычное окружение редкого события.

За три минуты до точной полуночи диску дали обороты. Электродвигатель ревел, пять гигантских вентиляторов прогоняли сквозь гудящий, греющийся мотор целые облака холодного воздуха, – и воздух вылетал оттуда сухим, жестким и раскаленным, как смерч пустыни. Масло в аппаратах охлаждалось ледяными струями из центробежных насосов, и все же едкий дым стоял вокруг диска и всего сооружения: подшипники грелись сверх меры, масло горело во льду.

Диск, несмотря на точную установку и совершенный монтаж, грохотал, как канонада и извержение вулкана: так велико было число его оборотов. Периферия диска дымилась – она горела от трения о воздух.

Нимт холодел от ужаса: малейший отказ ничтожного автомата в этот миг повлечет неслыханную катастрофу: диск работает в окружении сотен тысяч живых зрителей...

Измеритель показывал уже нужное для полета число оборотов: 946 000 в минуту. До отрыва снаряда от диска оставалось полсекунды. Астрономические часы автоматически на двадцати четырех часах замкнут ток, управляющий автоматом на диске. Этот автомат освободит от диска «бомбу», и она полетит за счет живой силы, накопленной ею в бытность на диске.

Нимт закрепил регулятор числа оборотов: необходимая вычисленная скорость дана.

Сразу засияли на плацдарме солнечные прожекторы: сигнал, что «бомба» улетела. Момента отлета никто не заметил. Начальная скорость полета снаряда была непо-

стижимо велика, и этот разлом природы техническим гением человека не поддается чувству.

Диск продолжал вращаться по инерции, уже разомкнутый Нимтом от ведущей муфты. Только через четыре часа удалось его остановить, применив всю силу мертвой хватки магнитных тормозов.

Из зрителей оглохло около пятнадцати тысяч человек, еще у десяти тысяч произошли какие-то нервные контузии: никто не ожидал увидеть в форме технического сооружения дикую страстную стихию, ревущую, как светопреставление.

7. ВЕСТИ ИЗ МЕЖПЛАНЕТНОГО ПРОСТРАНСТВА

На «лунной бомбе» было установлено радио особой конструкции. По этому радио должны были получаться от Крейцкопфа ежечасные, примерно (Крейцкопф не мог иметь часов), сообщения, и по волне же этого радиоаппарата можно с Земли определять межпланетное положение «бомбы».

Всю информацию от Крейцкопфа получало Бюро Лунных Изысканий в лице Лесюрена, и им же лично производились все расчеты по положению «бомбы» и осуществлялась вся слежка за ней.

Журналисты зарабатывали на экстренных выпусках и превращали деньги в пиво. Однако в первый же день после отлета одна газета дала статью о Крейцкопфе – «В поисках могилы», где обрекались на гибель и «лунная бомба» и Крейцкопф.

Вот сообщения Крейцкопфа из межпланетного пространства по порядку:

«1. Нечего сообщить. Приборы показывают угольно-черное небо. Звезды неимоверной силы света. Было слабое трение снаряда обо что-то: приборы не обнаружили причину. Чувствую свободу. Читаю случайно взятую книгу «Барский двор» Андрея Новикова, интересное сочинение».

«2. Мимо «лунной бомбы» прошло много синего пламени. Причин не имею. Температура не повысилась».

«3. Полет продолжается. Никакого движения, конечно, не чувствую. Приборы, аппараты, автоматы исправны. Передайте привет Скорбу на Алдаган».

«4. На мою «бомбу» падает Луна. Мелкий болид пронесся параллельно снаряду в одном направлении. «Лунная бомба» его обогнала».

«5. «Бомба» идет резкими толчками. Странные силы скручивают ее путь, бросают по ухабам и заставляют сильно нагреваться, хотя кругом должен быть эфир».

«6. Толчки усиливаются. Я чувствую движение. Приборы звенят от тряски. Ландшафт вселенной похож на картины давно умершего художника Чюрлёниса, – в космическом океане кричат звезды».

«7. Качка продолжается. Звезды физически гремят, несясь по своим путям. Конечно, их движение вызывает раздражение электромагнитной среды, а мой универсальный радиоприемник превращает волны в песни. Передайте, что я у источников земной поэзии: кое-кто догадывался на Земле о звездных симфониях, и, волнуясь, писал стихи. Скажите, что звездная песня существует физически. Еще передайте: здесь симфония, а не какофония. Поднимите возможно больше людей на межпланетных бомбах на небо, – здесь страшно, тревожно и все понятно. Изобретите приемники для этого звездного звона».

«8. Полет спокоен, тряски нет. Половина пространства занята фиолетовыми лучами, льющимися, как влага. Что это, не знаю».

«9. Я обнаружил кругом электромагнитный океан».

«10. Нет никакой надежды на возвращение на Землю, лечу в синей заре. Приборы фиксируют напряжение среды в восемьсот тысяч вольт».

«11. Луна надвигается. Напряжение два миллиона вольт. Мрак».

«12. Пучина электричества. Приборы расстроились. Фантастические события. Солнце ревет, и малые кометы на бегу визжат: вы ничего не видите и не слышите через слюду атмосферы».

«13. Тучи метеоров. По блеску – это металл, по электромагнитным влияниям – тоже. На больших метеорах горят свечи или фонари, горят мерцающим светом. Здесь я ничего не видел дрожащего».

«14. Среда электромагнитных волн, где я нахожусь, имеет свойство возбуждать во мне мощные, неудержимые бесконтрольные мысли. Я не могу справиться с этим нашептыванием. Я не владею больше своими мозгами, хотя сопротивляюсь до густого пота. Но не могу думать, что хочу и о чем хочу, я думаю постоянно о незнакомом мне, я вспоминаю события, разрывы туч, лопающееся солнце, – все я вспоминаю, как бывшее и верное, но ничего этого не было со мной. Я думаю о двух явственных субъектах, ожидающих меня на суровом бугре, где два гнилых столба, а на них замерзшее молоко. И мне постоянно хочется пить и экономить свои консервы. Я ем по рыбке, а съесть хочу акулу. Постараюсь победить эти мысли, рождающиеся из

электричества и вонзающиеся в мой мозг, как вши в спящее тело».

«15. Только что вернулся с отвесных гор, где видел мир мумий, лежащий в небрежной траве... (Сигналы не поняты. – *Примечание академика Лесюрена*.) Все ясно: Луна в ста километрах. Влияние ее на мозг ужасающее, – я думаю не сам, а индуктируемый Луной. Предыдущего не считайте здравым. Я лежу бледным телом: Луна непрерывно питает меня накаленным добела интеллектом. Мне кажется, мыслит и снаряд, и радио бормочет внятно само собой».

«16. Луна проходит мимо в сорока километрах: пустыня, мертвый минерал и платиновый сумрак. Движусь мимо медленно, не более пятидесяти километров в час по глазомеру».

«17. Луна имеет сотни скважин. Из скважин выходит редкий зеленый или голубой газ... Я уже овладел собой и привык».

«18. Из некоторых лунных скважин газ выходит вихрем: стихия это или разум живого существа?.. Разум, наверное; Луна – сплошной и чудовищный мозг».

«19. Не могу добиться причин газовых извержений: я, кажется, открою люк своей бомбы и выпрыгну, мне будет легче. Я слепну во тьме снаряда, мне надоело видеть разверстую вселенную только в глазки приборов».

«20. Иду в газовых тучах лунных извержений. Тысячелетия прошли с момента моего отрыва от земного шара. Живы ли те, кому я сигнализирую эти слова, слышите ли вы меня?.. (С момента отлета Крейцкопфа прошло девятнадцать часов. – *Примечание акад. Лесюрена*.)»

«21. Луна подо мной. Моя «бомба» снижается. Сква-

жины Луны излучают газ. Я не слышу больше звездного хода».

«22. Скажите же, скажите всем, что люди очень ошибаются. Мир не совпадает с их знанием. Видите или нет вы катастрофу на Млечном Пути: там шумит поперечный синий поток. Это не туманность и не звездное скопление...»

«23. «Бомба» снижается. Я открываю люк, чтобы найти исход себе. Прощайте».

ГЛИНЯНЫЙ ДОМ В УЕЗДНОМ САДУ

В уездном саду была деревянная кузница. Вокруг нее росли лопухи и крапива, далее стояли яблоневые и вишневые деревья, а между ними произрастали кусты крыжовника и черной смородины, и выше всех был клен, большое и грустное дерево, давно живущее над местным бурьяном и всеми растениями окрестных дворов и садов. Сад был огорожен плетнем со всех сторон, лишь в одном месте была деревянная калитка, навешенная на толстый кол; эта калитка выводила на пустой двор, а на дворе находился бедный дом из кухни и комнаты, где жил кондуктор товарного поезда с женой и семерыми детьми. А в задней стороне сада, где были заросшие дебри сонной травы, стояла глиняная стена глухого и еще более мелкого жилища, чем то, в котором жил кондуктор. К этой стене с обеих сторон подходили садовые плетни и вместе с густою травой точно хранили этот неизвестный глино-соломенный дом, где была или не была чья-то убогая, слабая жизнь.

Посредине глиняной стены того дома находилось окно,

маленькое, как дремлющее зрение, – окно выходило прямо в этот сад, в тишину его трав и деревьев, в безлюдие долгого медленного времени.

Другие стены глиняного дома и дверь из него были за плетнем, на той стороне, и там тоже была трава, несколько умолкших, дремучих кустов и запустение забытого огорода. Не видно было жителей, которые входили бы в это жилище, хлопали дверью, жили и зажигали свет в окне в осенние вечера.

Деревянная кузница стояла на другом краю сада. В ней работал и неотлучно жил пожилой одинокий кузнец Яков Саввич Еркин. Ему было теперь почти пятьдесят лет, он прожил длинную жизнь, почти непригодную для себя. Когда-то он работал лесным сторожем и проклял лес. Уходя навсегда из казенной избушки, он обернулся к дубовой чаще и сказал ей:

– Проклинаю тебя на веки веков, грудь моя забудет все твои деревья, грибы и тропинки. Голова моя не увидит тебя и во сне никогда!

Он перекрестил шумящую дубраву крестом прощания и презрения и пошел от нее в пустошь, опять неимущий и свободный. В одной слободе Яков Саввич устроился для прокормления на краскотерочную фабрику, где работали четыре девки, два мальчика и один он. Потерев краску недели три, Яков Саввич плюнул в терочную машинку и произнес:

– Будь ты трижды проклята – трись сама, – а потом ушел в дверь, по своему обычаю, и больше не вернулся.

На улице он внимательно осмотрел краскотерочное помещение, чувствуя душевное счастье, что больше его

никогда не увидит и поэтому можно даже печально полюбить его на память.

Затем Яков Саввич рыл траншеи для водопроводных труб в губернском городе, пока ему вскоре же, дня через три, не стало ясно, что для такой работы совсем не нужно быть человеком, мечта в его голове и настроение в сердце оставались без применения, работали только лишь одни скучные руки, и ноги держали тело в упор, как истуканы. Яков Саввич сразу расправился с этой своей новой судьбой, – он получил сдельный расчет и отдал лопату подрядчику, а земле сказал: «Лежи – дожидайся, как буду мертвым, так явлюсь к тебе!»

Потом Еркин, ввиду холодной зимы, поступил бассейнщиком. Он стал жить в водоразборной будке с печкой и отпускал теперь водовозам и базарным мужикам воду за мелкие деньги. Это было нетрудно, лишь бы питаться, а жизнь как-нибудь проживется. Но в бассейной будке окно было четверть аршина в квадрате, – никого не видно, всегда скучно и только суют гроши и алтыны в казенную щель под рамой замороженного окошка. Это мало радости, и поэтому Яков Саввич вышел однажды в зимний вечер наружу и засмотрелся на длинную очередь пустых деревенских саней. Базарный день окончился, деревенские люди уезжали домой – в натопленные избы, спрятанные среди снегов за десять – двадцать верст отсюда, в речных долинах, в заглохших балках и пустошах; они приедут туда поздно, поедят ужин с овинным хлебом и лягут спать, слушая первых петухов. Долгая синеющая улица города выходила в поле, в первые сумерки русской ночи. Небо еще с осени покрылось темной теплой наволочью и осталось

таким неподвижно, больше не было ни звезд, ни молний. Брехали собаки у сеней мелких домовладельцев и звонил колокол церкви в память праздника какого-то небольшого святого, жители шли в баню или возвращались оттуда, застывшие дети бедняков проводили детство у своих дворов, играя тем, что упало с неба или с проезжих возов.

Последние сани безымянного старика скрылись с тоскою в темном месте пространства. Сильная, грустная мечта о безвозвратном бродяжничестве стала томиться в душе Якова Саввича. Он сосчитал дневную выручку за продажу воды, которую должен отнести в городскую кассу. Ее оказалось всего шесть рублей, сорок две с половиной копейки.

– Э, да будь ты все проклято! – сказал Яков Саввич. – Пойду жить по своей мысли.

Он взял пиджак в будке, потушил лампу и скрылся вслед за уехавшими мужиками.

Верстах в сорока от города, в деревне Таволжанке, Якову Саввичу понравилась одна милая молодая женщина, вдовица пропавшего шахтера. Он поселился в избе ее родителей, а потом постепенно женился на ней, приучив ее к себе до того, что она полюбила его. В этом ничего особого не было: ведь женщине некуда деваться, кругом равнодушное поле, в избе скудость и неуправка, у каждого своя забота, и человек ходит, молчит, – поэтому многие не выдерживают, их сердце располагается к кому-нибудь, и двое людей начинают жить, прижавшись в жалобе друг к другу, отчуждаясь от всех чужих. С таким же чувством предалась Якову Саввичу шахтерская вдовица, ища своего убежища в его доброте.

Яков же Саввич, обратно, боялся всякого убежища, точно сухой могилы. Тогда он сказал ей:

– Ну, поплачь теперь, слабая, года два обо мне, а я пойду, откуда пришел...

Дальше Яков Саввич пошел работать по уезду на богатых мужиков, служил обтирщиком вагонов на товарной станции, резаком в мясной лавке – и всюду, сгибаясь в труде, ел плохо, а на одежду не хватало ничего, хотя пользы от работы приносилось много. Догадавшись про убыточность полезного труда, Яков Саввич занялся сбором подаяния в кружку на построение храма Николая-чудотворца, а все кружечные деньги оставлял себе на пищу и в запас на худшее время и стал жить спокойно и хорошо. Он ходил среди природы по губернии, беседовал и размышлял с разными жителями и замечал, что его ненужное дело было гораздо более доходным, чем полезное занятие трудом. Мало того, люди, жертвовавшие копейку в расщелину кружки, делали это с интересом удовольствия, хотя сами знали, что это безвозвратный расход и бог им едва ли поможет. А когда Яков Саввич продавал воду в бассейной будке и приходили разные жаждущие с ведрами, то они уносили воду со скукой, хотя в воде была насущная необходимость, а церковная кружка – это пустая жестянка.

Накопив сто рублей, Яков Саввич пошел в уездный город и купил себе ларь с товаром для торговли игрушками, ложным золотом и украшениями женского лица. Он уже знал теперь, что ненужные вещи ценятся дороже и покупаются охотнее, чем необходимые. Торговля, стало быть, будет безубыточной. Однако торговать ему пришлось всего месяц времени, потому что его арестовали и

присудили сидеть в тюрьме три года семь месяцев – за хищение медных церковных денег. В тюрьме Яков Саввич узнал еще много мер борьбы с безуспешной жизнью и, выйдя оттуда, поступил к двум купцам делать самые точные весы. Эти два купца, торговавшие алебастром, известью и дранью, были компаньонами в деле, но заспорили однажды среди лета – чья жена лучше и тяжелее. Своим весам они не верили, а у чужих весов хозяева были жулики. Здесь им назвался Яков Саввич, что он сделает весы, которые будут вешать, чья жена лучше, легче и тяжелее. Купцы вначале хотели разойтись без последствий и без убытков от такого дела: ну, пускай у одного жена будет толще, а у другого зато лучше на вид – так на так выйдет, без особых весов. Но один купец стал думать по-другому.

– Опять Евсей поехал без вожжей! – сказал он в раздражении. – Товар сорт любит, а не одну тяжесть. Пускай человек делает, раз называется: на баб не годятся, на известку пойдут...

– Твою бабу свесить не задача, – сказал другой купец, – ни спереди, ни сзади нет добра. А на мою царь-пуд еще надо лить.

– У моей кость тверже, она – баба – захватистей твоей.

– Опять тебе вот – захватистей! Купи себе клещи в железном ряду и живи с ними.

– Свесим – и дело с концом! – предложил Яков Саввич. – Ни туда, ни сюда выйдет, а по совести. Из-за женщин можно до смерти дойти: лучше весы сделать, все равно для известки нужны будут.

– После моей бабы, пожалуй, весы пополам треснут! – сказал купец, у которого жена, наверно, была толще.

– А ну, нехай пополам! – обиделся второй купец. – Что тяжельше старое сало или молодая кость: нехай моя баба давнет, поглядим, как твоя кверху подскочит!..

Тот купец вынул пять рублей одной монетой и бросил на землю:

– А ну, пускай глянем, как моя баба-пирог кверху от твоей пышки полетит!

Второй купец тоже не пожалел денег, ради сердечной ревности за свою супругу, и вынул ассигнацию.

– Врешь, другой человек, красоту лопухом не одолеешь.

– Да моя твою одним глазом сшибет!

– А ты что, с перины на пол падал?

Но торговое дело любит, чтобы в нем было хорошее сердце, а не злоба, поэтому купцы, жалея свой мир между собою, заказали Якову Саввичу весы, чувствующие женщин.

Яков Саввич снял себе по летнему времени квартиру у товарного кондуктора – в сарае, в уездном саду. Он взял в лавках инструмент и стал ковать ненужное дело, желая на нем наживаться. Весы ему пришлось делать и переделывать целый год, потому что он никак не мог угодить купцам – все время не хватало точности для тяжести их жен. Затем Яков Саввич перестал спешить с работой, переполучив постепенно с купцов почти двести рублей, пока купцы, поругавшись навечно и по женам, и по другим серьезным делам, не разошлись навсегда, обеднев от злости.

Яков Саввич к тому времени завел уже себе в сарае зимнюю печку, обмеблировался, купил добавочный инструмент, заквасил капусту в кадке, но никакой обыкно-

венной кузнечной работы не брал и ничего не думал, а ждал, когда ему попадется что-нибудь бесполезное и загадочное, но тем более необходимое человеческой душе и, стало быть, самое доходное, но всю наступившую зиму не было подходящих заказов, поэтому Яков Саввич начал по своему почину делать железные жалейки и питьевые кружки с откидным дном, что мешало их употреблять, но становилось как-то интересно черпать ими воду. Свои изделия Яков Саввич продавал на базаре, где встретил однажды одного из двух обедневших купцов, желавших в свое время сделать весы для определения своих жен. Этот купец стал напрашиваться в подручные к Якову Саввичу, но тот велел ему сначала найти заказчика на работу. Вскоре купец пришел к Якову Саввичу и указал ему сходить к попу в кафедральный собор, там есть заказ. Действительно, попы собирались сделать подношение архиерею, которому исполнялось через полгода сто лет, но нужно было что-то выдумать прелестное и простое. Яков Саввич тут же выдумал часы вечного хода, идущие без завода и остановки вплоть до конца света и второго пришествия.

Попу понравилась такая мечта, однако он высказал сомнение: не лучше ль будет, чтобы часы не шли, а стояли, потому что нижняя, земная жизнь есть остановочное томление, а за сутки до небесного суда тронулись бы сами и пошли, считая истинный божий срок.

– Тоже можно! – сразу согласился Яков Саввич и взял в задаток сто двадцать рублей, уговорившись сделать всю работу за полтысячи.

Пока Яков Саввич понемногу трудился, у хозяина двора – кондуктора постоянно рождались дети, и он обращался в

нищего, тоскующего человека. Яков Саввич часто кормил его детей моченками из хлебной тюри, потому что его сердце скучало от одной жадности и своего житейского удовольствия и требовало для отдыха небольшой доброты. Потом Яков Саввич сделал попам чугунные часы, которые должны в конце обычного времени пойти в ход от удара молнии, и тогда купил у кондуктора всю его усадьбу за двести рублей, а кондуктор с семейством остался жить, как жил – в кухне и комнате, но только квартирантом – за пять рублей в месяц.

С тех пор Яков Саввич не проклинал надоевшего места своей жизни, а грелся на солнце около собственной кузницы, следил, чтобы все было цело, чтоб росла даже ненужная трава в саду, и втайне подружился с инвентарем своего двора – с плетнями, с деревьями, досками и гвоздями на них, с закоулками строений, – и беседовал с ними в душе, любя их теперь неразлучной любовью, как царство своего сердца и мировое пристанище. И бедные, дремлющие предметы тоже шептали что-то в ответ Якову Саввичу своими спекшимися от молчания грустными устами, так что хозяин тем более не мог оставить их одних в сиротстве, на печальное пребывание. Он теперь не искал случая делать лишь странные механизмы, утоляющие вожделение темной души, а работал все, что ему давали, – ведра, формы для пирогов, железные скобки, петли для навески деревянных ворот и прочее. Яков Саввич соглашался нынче и на малое добро, чувствуя от него достаточное утешение. Проклиная некогда всеобщие леса, он полюбил сейчас кусты и былинки в своем нажитом саду; волнуясь когда-то от ветра на бродяжьих дорогах, он прислушивался теперь к

шевелению хвороста в собственных плетнях, а ветер не любил, как всякую непогоду.

Жизнь проходила перед ним своею мирной долготою; дети товарного кондуктора выросли и стали воровать крыжовник с кустов, деревянная кузница заиндевела от ветхости мелким древесным мхом, старый клен в саду уже несколько лет держал свои нижние ветви без листьев сухими от старчества наверно, он родился в то давнее время, когда здесь было еще чистое поле, и прожил век сиротою, в далекой стороне от могучих отцовских лесов.

В летние ночи Яков Саввич любил обходить двор и сад по загаженному краю, по темной крапиве и глядеть, как спит его добро и никуда не двигается. На небе звезды хотя и шли куда-то, но медленно, а на другую ночь опять были на своих местах. Затем Яков Саввич спал и видел сновидения старости, что он молод и мил лицом, кругом растет бушующий от ветра бурьян и голос давно погибшей, грустной матери звучит в воздухе над ним, и он смеется. В кузнице пахнет сажей и железом, за деревянной стеной тьма и редкий пугающий шелест травяных стеблей, а старик спит один на топчане, открыв рот в слабости своего счастья – видеть во сне мертвую мать, минувшую природу и свою забытую душу.

Но ум его, как сторож-старичок, спал слабо: в одну ночь он расслышал, что скрипит плетень под тяжестью человека, и разбудил Якова Саввича чувством беспокойства. Хозяин проснулся и стал слушать приближающееся бедствие. Кто-то шел по мякоти трав и почвы небольшими шагами, иногда останавливаясь в страхе чужого места и замирая. Яков Саввич стал бояться и ждать. Он расслышал, как не-

известное существо удалилось куда-то от кузницы и затем оттуда раздался робкий стук в оконное стекло, – что было в глиняной стене маленького дома, выходившего этой стороною в сад. Яков Саввич сам не знал, кто жил в том жилище, он там никогда не замечал ни звука, ни вечернего огня, ни дыма. Но стекло зимой и летом было наглухо замазано, значит, никто в сад не вылезал, и этого достаточно. После молчания снова кто-то постучал в далекое окно и смирно смолк в ожидании ответа.

«Может, это ангел ходит ночью! – подумал Яков Саввич. – Сколько сейчас времени? – Он потрогал руками стрелки стенных сельских часов и узнал, что было час ночи. – Ангелу ходить пора! – решил он в уме. – Либо мне проклясть все и скрыться отсюда без поворота!.. Чего я здесь живу умираю: странность одна!»

Он прислушался далее. Ангел по-прежнему постукивал в окно, но все более редко и без ответа.

«Застынет! – подумал Яков Саввич и встал с места. – Зори теперь холодные».

Он вышел наружу и позвал: «Эй, чертенок, иди сюда!» – однако звука из его рта не раздалось, – от стеснения или от страха он говорил только в уме.

«Вот тебе раз! – подумал Яков Саввич. – Все вера в бога, будь она проклята!.. По ягодным кустам, наверно, лез, сукин сын, изуродовал теперь растения».

Окно из глиняного дома отворилось целиком, вместе с рамой, и оттуда выставилось в сумрачный сад чье-то, не похожее на человека, лицо.

– Я все давно слышу! Чего тебе надо? – сказал скучный голос старухи, дыша словами не наружу, а внутрь, в свою пустую узкую утробу.

– А ты мама или нет? – спросил голос маленького ребенка, уставшего, должно быть, ходить по темной ночи.

– Я тебе чужая, – ответила старуха и вставила оконную раму обратно в проем стены.

Ребенок постоял немного, погладил глиняную стену рукой и пошел к кузнице, ступая по крапиве привычными ногами.

– Ты чей? – спросил его Яков Саввич.

– Я ничей, я отца-мать хожу ищу, – сказал мальчик лет четырех или пяти на вид.

– А я думал ты – ангел, стервец!

– Нет, я никто, – отказался мальчик.

– Жулик, что ль?

– Нет... Меня тетка загрызла, я хлеба много ем и портки протираю. Она ругается, – ступай, говорит, вон отсюда, ищи свою родную мать и отца, пускай они тебя кормят и водою поят. А я хожу-хожу, спрашиваю и говорю, никто их не знает.

– Кого? – спросил Яков Саввич.

– Ни отца, ни матери. А меня тетка за них по морде костяной рукою бьет.

– Вон что, – произнес среди своего молчания кузнец. – Жалко, что ты не ангел.

– Ничего, – сказал этот мальчик.

– А отец-то с матерью твои живут где-нибудь?

– Никто не говорит, пойду сейчас спрашивать, – ответил небольшой человек. – Может, есть, а ребят ведь много на свете, одного взяли и забыли.

– Ты маленький, а ведь умный! – удивился Яков Саввич.

– Я нечаянно стал, один живу, хожу и думаю.

– Давно ты родителей ищешь?

– Давно... Забыл уж, где тетка живет. Пускай бы костью била и хлеб из остатка давала, а то я не евши.

Яков Саввич зажег свет в кузнице и поднял на руки прибывшего ребенка, чтобы рассмотреть его лицо. Мальчик был одет в штаны на одной пуговице и в рубашку, а картуза и обуви не имел. Все обветшало на нем, материя стала редкой, точно вихри обдували его. Лицо, лишенное детского запаса жира, было худощавым и морщинистым, серые угрюмые глаза глядели терпеливо, готовые без слез перенести неожиданный удар.

– Ну, ничего, – сказал Яков Саввич. – Жить будешь, – и опустил ребенка на землю.

Мальчик стал жить в кузнице. Он ел так мало, что Яков Саввич его не прогонял, портки же и рубашку он чинил сам, когда они раздирались от старости. Во сне ребенок часто бредил одной и той же мыслью о матери и об отце, а Яков Саввич слушал и ухмылялся: он знал, что родители ничего не означают, кроме детской мечты в сердце.

Вскоре сирота собрал себе тряпки по соседним дворам и сшил мешок; в этот мешок он накопил хлебных кусков, а потом в одно утро стал прощаться с Яковом Саввичем.

– Пойду мать искать, с чужими скучно жить.

– Я тебе пойду! Я тебя ремнем драть буду.

– А я жрать много стану, тогда сам прогонишь.

Яков Саввич задумался. Он попросил жену товарного кондуктора, чтобы она усыновила его мальчика, а он зато не будет брать с них плату за квартиру. Однако кондукторша отказалась: кормить не жалко, но своих детей много и за безродного тоже надо душой болеть, как за своего.

Мальчик на время присмирел и потихоньку сделал себе башмаки: снизу положил деревянные подошвы, а верх обсоюзил кровельным железом; затем он собрал и насушил себе грибов и пошел куда-то прочь: Яков Саввич, ходивший продавать готовые ведра, вернул его уже с улицы:

– Ты куда?

– По своему делу.

– По какому – своему? Ты где обужу взял?

– Сам сделал. Пойду теперь далеко, обуже ноги не уморятся, – и никогда к тебе не вернусь.

– Фу-ты, скот какой! Так ведь я же твой отец и есть!

Мальчик осторожно поглядел на старого кузнеца.

– Отец бы заплакал по мне, как я по нем плачу, когда ты спишь... Ты мне чужой!

– Я сам сирота, – ответил Яков Саввич, смущаясь печали ребенка.

– Тебе давно отцом пора быть, а ты нет... Я жду, когда только вырасту. Ем только мало – на мне говядина не держится. Приняться не с чего.

– А что?! – испугался Яков Саввич.

– Детей тогда начну рожать и буду до самой смерти с ними жить. Пускай у них будет отец, а то у меня нету.

– А сколько тебе лет-то?

– Если бы были отец с матерью, они бы знали. И звать они знают как, я все позабыл.

Яков Саввич вернул его назад, и мальчик умолк. Пока у ребенка не было своих детей, он приучил к себе воробьев, давая им хлебные крошки, просяное зерно и разный мусор пищи. Воробьи ели, а наевшись, начинали ссориться и разлетались вдребезги, каждый отдельно, а потом сходи-

лись опять, чтобы снова суетиться вместе в нужде и в драке. Яков Саввич сделал для сироты железную клетку, и мальчик стал водить в ней воробьев. Но воробьи жили недолго, они скоро умирали, ложась навзничь в своей тоске. Тогда мальчик начал сажать их в клетку по два и по три, чтоб у них рождались дети и они жили бы ради них без печали. Однако воробьи опять ложились и все умирали. Это событие озадачило даже Якова Саввича, но он не знал, в чем тут тайна, – ведь даже соловьи живут в клетках и орлов приручают, а воробей все равно ютится почти под ногами, почему же он сразу кончается в клетке... Зачем ему свобода, когда он летает в длину на один аршин и проживает свою жизнь на двух соседних дворах? А кто может перелететь через море, тот, оказывается, и в клетке поет!

– Будь же ты все проклято: значит, я вроде воробья! – сказал Яков Саввич. – Либо опять мне тронуться куда-нибудь! Так ведь одинаково везде поля да избушки, облака и мелкие речки... Ну что ж: пусть я воробей, а ведь если другой птицей стать, то в клетке насидишься.

Мальчик перестал водить воробьев. «Вы не люди, – сказал он им, – надо мучиться, а вы прямо умираете, с вами не игра». Он часто ходил по саду, ища в деревьях, в мелких насекомых и в неизвестных мертвых предметах какого-либо родства себе, привязанности и взаимного горя одиночества, но обманывался только на короткое время, потому что его сердце было серьезным.

Каждый день сирота прислонялся лицом к окну в глиняной стене и смотрел, что там есть внутри дома. Там стояла табуретка, а на ней ведро с водой и кружка. Рядом с табуреткой находилась деревянная кровать, на той кровати

всегда сидела лысая старуха и глядела белыми, забытыми глазами в одно пустое место перед собой. По старухе иногда ползали мыши, ее шею ели клопы, но она их плохо чувствовала или жалела свою силу, чтобы бороться с ними. Мальчик долго ее боялся, но старуха раз сидела и плакала с открытыми глазами, тогда он вынул оконную раму и влез внутрь глиняного дома. С тех пор он почти каждый день бывал в гостях у старухи, снимал клопов с нее и прогонял мышей. Старуха ничего не говорила мальчику, только раз, когда он подошел к ней близко, она положила легкую, как деревянную, руку ему на голову, на русые волосы и перебирала их своими пальцами. Скоро мальчик привык ходить к старухе, и она ждала его; он замечал через окно, что если он пропускал день или два, то старуха сидела скучная, или плачущая. Мальчик научился мыть старуху, варил ей кашу в кузнечном горне и сшил на ее голую голову чепец из старых варежек Якова Саввича, чтобы она не застывала по ночам.

Раз в неделю к старухе приходила дочь, пожилая женщина, приносила ей хлеб, меняла воду в ведре и молча уходила опять. Мальчик узнал, что у старухи восемь сыновей и пять дочерей, все они большие и даже старые, есть среди них богатые и бедные, но к ней давно никто не ходит, кроме средней дочери, и она забыла лица своих детей, не помнила, кому сколько лет, и путала живых с умершими в младенчестве.

Чтобы старухе не скучно было, когда она сидит одна, мальчик поймал для нее щегла, посадил его в свою воробьиную клетку и принес ей в подарок. Вынув, как обычно, окно, он пролез внутрь комнаты. Старуха лежала на полу,

навзничь, глаза ее были открыты, но не глядели. Мальчик наклонился к ней и стал складывать ей руки на грудь, заголившиеся ноги одел платьем, а веки глаз закрыл пальцами, – он видел, как обращаются с мертвыми, и знал это дело. Теперь ему не было смысла оставаться у кузнеца, раз умерла старуха, и надо скорее искать мать или отца, чтобы сразу же не заплакать от горя.

Он выпустил из клетки щегла, перелез через плетень и ушел отсюда чужими огородами, не взяв с собою ничего и не наевшись под конец.

Яков Саввич сильно заскучал по пропавшему мальчику, но найти его не старался: мало ли кто пропадает на свете. Он и сам пропал через несколько времени, когда наступила Февральская революция. Яков Саввич правильно посчитал, что революция доходнее всего, выгодней даже, чем часы вечного хода, и пошел в нее орудовать, а через полтора года его убили на гражданском фронте. Яков Саввич служил добровольцем в красной артиллерии на стороне многих безродных сирот, а другая артиллерия попала в него, но он умирал в полной мысли, сказав самому себе на прощание: «Вот я и отделался сам от себя, давно бы пора», – и сжал веки, наболевшие от зрения в течение жизни.

Тот мальчик-сирота вырос по другим местам в большого честного юношу. Он много раз затем проезжал по той дороге, где стояли когда-то уездные сады и в одном из них была деревянная кузница и глиняный дом старухи. Он никогда не узнал и не нашел точного расположения своего детского мира: кругом – стране бывших сирот – стояли высокие чистые города, шумели листья новых деревьев, блестели дороги вперед, и многие, неизвестные, красивые

люди народились повсюду и ходили везде. Юноша глядел на своих встречных товарищей и улыбался им: он знал, что среди них есть много таких же, как он, круглых сирот, которые наравне с ним создают себе нужную родину на месте долгой бесприютности.

В ПРЕКРАСНОМ И ЯРОСТНОМ МИРЕ

1

В Толубеевском депо лучшим паровозным машинистом считался Александр Васильевич Мальцев.

Ему было лет тридцать, но он уже имел квалификацию машиниста первого класса и давно водил скорые поезда. Когда в наше депо прибыл первый мощный пассажирский паровоз серии «ИС», то на эту машину назначили работать Мальцева, что было вполне разумно и правильно. Помощником у Мальцева работал пожилой человек из деповских слесарей по имени Федор Петрович Драбанов, но он вскоре выдержал экзамен на машиниста и ушел работать на другую машину, а я был, вместо Драбанова, определен работать в бригаду Мальцева помощником; до того я тоже работал помощником механика, но только на старой, маломощной машине.

Я был доволен своим назначением. Машина «ИС», единственная тогда на нашем тяговом участке, одним своим видом вызывала у меня чувство воодушевления; я мог подолгу глядеть на нее, и особая растроганная радость пробуждалась во мне – столь же прекрасная, как в детстве

при первом чтении стихов Пушкина. Кроме того, я желал поработать в бригаде первоклассного механика, чтобы научиться у него искусству вождения тяжелых скоростных поездов.

Александр Васильевич принял мое назначение в его бригаду спокойно и равнодушно; ему было, видимо, все равно, кто у него будет состоять в помощниках.

Перед поездкой я, как обычно, проверил все узлы машины, испытал все ее обслуживающие и вспомогательные механизмы и успокоился, считая машину готовой к поездке. Александр Васильевич видел мою работу, он следил за ней, но после меня собственными руками снова проверил состояние машины, точно он не доверял мне.

Так повторялось и впоследствии, и я уже привык к тому, что Александр Васильевич постоянно вмешивался в мои обязанности, хотя и огорчался молчаливо. Но обыкновенно, как только мы были в ходу, я забывал про свое огорчение. Отвлекаясь вниманием от приборов, следящих за состоянием бегущего паровоза, от наблюдения за работой левой машины и пути впереди, я посматривал на Мальцева. Он вел состав с отважной уверенностью великого мастера, с сосредоточенностью вдохновенного артиста, вобравшего весь внешний мир в свое внутреннее переживание и поэтому властвующего над ним. Глаза Александра Васильевича глядели вперед отвлеченно, как пустые, но я знал, что он видел ими всю дорогу впереди и всю природу, несущуюся нам навстречу, – даже воробей, сметенный с балластного откоса ветром вонзающейся в пространство машины, даже этот воробей привлекал взор Мальцева, и он поворачивал на мгновение голову вслед за

воробьем: что с ним станется после нас, куда он полетел.

По нашей вине мы никогда не опаздывали; напротив, часто нас задерживали на промежуточных станциях, которые мы должны проследовать с ходу, потому что мы шли с нагоном времени и нас посредством задержек обратно вводили в график.

Обычно мы работали молча; лишь изредка Александр Васильевич, не оборачиваясь в мою сторону, стучал ключом по котлу, желая, чтобы я обратил свое внимание на какой-нибудь непорядок в режиме работы машины, или подготавливая меня к резкому изменению этого режима, чтобы я был бдителен. Я всегда понимал безмолвные указания своего старшего товарища и работал с полным усердием, однако механик по-прежнему относился ко мне, равно и к смазчику-кочегару, отчужденно и постоянно проверял на стоянках пресс-масленки, затяжку болтов в дышловых узлах, опробовал буксы на ведущих осях и прочее. Если я только что осмотрел и смазал какую-либо рабочую трущуюся часть, то Мальцев вслед за мной снова ее осматривал и смазывал, точно не считая мою работу действительной.

– Я, Александр Васильевич, этот крейцкопф уже проверил, – сказал я ему однажды, когда он стал проверять эту деталь после меня.

– А я сам хочу, – улыбнувшись, ответил Мальцев, и в улыбке его была грусть, поразившая меня.

Позже я понял значение его грусти и причину его постоянного равнодушия к нам. Он чувствовал свое превосходство перед нами, потому что понимал машину точнее, чем мы, и он не верил, что я или кто другой может

научиться тайне его таланта, тайне видеть одновременно и попутного воробья, и сигнал впереди, ощущая в тот же момент путь, вес состава и усилие машины. Мальцев понимал, конечно, что в усердии, в старательности мы даже можем его превозмочь, но не представлял, чтобы мы больше его любили паровоз и лучше его водили поезда, – лучше, он думал, было нельзя. И Мальцеву поэтому было грустно с нами; он скучал от своего таланта, как от одиночества, не зная, как нам высказать его, чтобы мы поняли.

И мы, правда, не могли понять его умения. Я попросил однажды разрешить повести мне состав самостоятельно; Александр Васильевич позволил мне проехать километров сорок и сел на место помощника. Я повел состав, и через двадцать километров уже имел четыре минуты опоздания, а выходы с затяжных подъемов преодолевал со скоростью не более тридцати километров в час. После меня машину повел Мальцев; он брал подъемы со скоростью пятидесяти километров, и на кривых у него не забрасывало машину, как у меня, и он вскоре нагнал упущенное мною время.

2

Около года я работал помощником у Мальцева, с августа по июль, и 5 июля Мальцев совершил свою последнюю поездку в качестве машиниста курьерского поезда...

Мы взяли состав в восемьдесят пассажирских осей, опоздавший до нас в пути на четыре часа. Диспетчер вышел к паровозу и специально попросил Александра Васильевича сократить, сколь возможно, опоздание поезда, свести это опоздание хотя бы к трем часам, иначе ему

трудно будет выдать порожняк на соседнюю дорогу. Мальцев пообещал ему нагнать время, и мы тронулись вперед.

Было восемь часов пополудни, но летний день еще длился, и солнце сияло с торжественной утренней силой. Александр Васильевич потребовал от меня держать все время давление пара в котле лишь на пол-атмосферы ниже предельного.

Через полчаса мы вышли в степь, на спокойный мягкий профиль. Мальцев довел скорость хода до девяноста километров и ниже не сдавал, наоборот, на горизонталях и малых уклонах доводил скорость до ста километров. На подъемах я форсировал топку до предельной возможности и заставлял кочегара вручную загружать шуровку, в помощь стоккерной машине, ибо пар у меня садился.

Мальцев гнал машину вперед, отведя регулятор на всю дугу и отдав реверс на полную отсечку. Мы теперь шли навстречу мощной туче, появившейся из-за горизонта. С нашей стороны тучу освещало солнце, а изнутри ее рвали свирепые, раздраженные молнии, и мы видели, как мечи молний вертикально вонзались в безмолвную дальнюю землю, и мы бешено мчались к той дальней земле, словно спеша на ее защиту. Александра Васильевича, видимо, увлекло это зрелище: он далеко высунулся в окно, глядя вперед, и глаза его, привыкшие к дыму, к огню и пространству, блестели сейчас воодушевлением. Он понимал, что работа и мощность нашей машины могла идти в сравнение с работой грозы, и, может быть, гордился этой мыслью.

Вскоре мы заметили пыльный вихрь, несшийся по

степи нам навстречу. Значит, и грозовую тучу несла буря нам в лоб. Свет потемнел вокруг нас; сухая земля и степной песок засвистели и заскрежетали по железному телу паровоза; видимости не стало, и я пустил турбодинамо для освещения и включил лобовой прожектор впереди паровоза. Нам теперь трудно было дышать от горячего пыльного вихря, забивавшегося в кабину и удвоенного в своей силе встречным движением машины, от топочных газов и раннего сумрака, обступившего нас. Паровоз с воем пробивался вперед, в смутный, душный мрак – в щель света, создаваемую лобовым прожектором. Скорость упала до шестидесяти километров; мы работали и смотрели вперед, как в сновидении.

Вдруг крупная капля ударила по ветровому стеклу – и сразу высохла, испитая жарким ветром. Затем мгновенный синий свет вспыхнул у моих ресниц и проник в меня до самого содрогнушегося сердца; я схватился за кран инжектора, но боль в сердце уже отошла от меня, и я сразу поглядел в сторону Мальцева – он смотрел вперед и вел машину, не изменившись в лице.

– Что это было? – спросил я у кочегара.

– Молния, – сказал он. – Хотела в нас попасть, да маленько промахнулась.

Мальцев расслышал наши слова.

– Какая молния? – спросил он громко.

– Сейчас была, – произнес кочегар.

– Я не видел, – сказал Мальцев и снова обратился лицом наружу.

– Не видел! – удивился кочегар. – Я думал – котел взорвался, во как засветило, а он не видел.

Я тоже усомнился, что это была молния.

– А гром где? – спросил я.

– Гром мы проехали, – объяснил кочегар. – Гром всегда после бьет. Пока он вдарил, пока воздух расшатал, пока туда-сюда, мы уже прочь его пролетели. Пассажиры, может, слыхали, – они сзади.

Далее мы вошли в ливень, но скоро миновали его и выехали в утихшую, темную степь, над которой неподвижно покоились смирные, изработавшиеся тучи.

Потемнело вовсе, и наступила спокойная ночь. Мы ощущали запах сырой земли, благоухание трав и хлебов, напитанных дождем и грозой, и неслись вперед, нагоняя время.

Я заметил, что Мальцев стал хуже вести машину – на кривых нас забрасывало, скорость доходила то до ста с лишним километров, то снижалась до сорока. Я решил, что Александр Васильевич, наверно, очень уморился, и поэтому ничего не сказал ему, хотя мне было очень трудно держать в наилучшем режиме работу топки и котла при таком поведении механика. Однако через полчаса мы должны остановиться для набора воды, и там, на остановке, Александр Васильевич поест и немного отдохнет. Мы уже нагнали сорок минут, а до конца нашего тягового участка мы нагоним еще не менее часа.

Все же я обеспокоился усталостью Мальцева и стал сам внимательно глядеть вперед – на путь и на сигналы. С моей стороны, над левой машиной, горела на весу электрическая лампа, освещая машущий, дышловой механизм. Я хорошо видел напряженную, уверенную работу левой машины, но затем лампа над нею припотухла и стала гореть бедно, как

одна свечка. Я обернулся в кабину. Там тоже все лампы горели теперь в четверть накала, еле освещая приборы. Странно, что Александр Васильевич не постучал мне ключом в этот момент, чтобы указать на такой непорядок. Ясно было, что турбодинамо не давала расчетных оборотов и напряжение упало. Я стал регулировать турбодинамо через паропровод и долго возился с этим устройством, но напряжение не поднималось.

В это время туманное облако красного света прошло по циферблатам приборов и потолку кабины. Я выглянул наружу.

Впереди, во тьме, близко или далеко – нельзя было установить, красная полоса света колебалась поперек нашего пути. Я не понимал, что это было, но понял, что надо делать.

– Александр Васильевич! – крикнул я и дал три гудка остановки.

Раздались взрывы петард под бандажами наших колес. Я бросился к Мальцеву; он обернул ко мне свое лицо и поглядел на меня пустыми покойными глазами. Стрелка на циферблате тахометра показывала скорость в шестьдесят километров.

– Мальцев! – закричал я. – Мы петарды давим! – и протянул руку к управлению.

– Прочь! – воскликнул Мальцев, и глаза его засияли, отражая свет тусклой лампы над тахометром.

Он мгновенно дал экстренное торможение и перевел реверс назад.

Меня прижало к котлу, я слышал, как выли бандажи колес, стругавшие рельсы.

– Мальцев! – сказал я. – Надо краны цилиндров открыть, машину сломаем.

– Не надо! Не сломаем! – ответил Мальцев.

Мы остановились. Я закачал инжектором воду в котел и выглянул наружу. Впереди нас, метрах в десяти, стоял на нашей линии паровоз, тендером в нашу сторону. На тендере находился человек; в руках у него была длинная кочерга, раскаленная на конце до красного цвета; ею и махал он, желая остановить курьерский поезд. Паровоз этот был толкачом товарного состава, остановившегося на перегоне.

Значит, пока я налаживал турбодинамо и не глядел вперед, мы прошли желтый светофор, а затем и красный и, вероятно, не один предупреждающий сигнал путевых обходчиков. Но отчего эти сигналы не заметил Мальцев?

– Костя! – позвал меня Александр Васильевич.

Я подошел к нему.

– Костя! Что там впереди нас?

Я объяснил ему.

– Костя... Дальше ты поведешь машину, я ослеп.

На другой день я привел обратный состав на свою станцию и сдал паровоз в депо, потому что у него на двух скатах слегка сместились бандажи. Доложив начальнику депо о происшествии, я повел Мальцева под руку к месту его жительства; сам Мальцев был в тяжком удручении и не пошел к начальнику депо.

Мы еще не дошли до того дома на заросшей травою улице, в котором жил Мальцев, как он попросил меня оставить его одного.

– Нельзя, – ответил я. – Вы, Александр Васильевич, слепой человек.

Он посмотрел на меня ясными, думающими глазами.

– Теперь я вижу, ступай домой... Я вижу все – вон жена вышла встретить меня.

У ворот дома, где жил Мальцев, действительно стояла в ожидании женщина, жена Александра Васильевича, и ее открытые черные волосы блестели на солнце.

– А у нее голова покрытая или безо всего? – спросил я.

– Без, – ответил Мальцев. – Кто слепой – ты или я?

– Ну, раз видишь, то смотри, – решил я и отошел от Мальцева.

3

Мальцева отдали под суд, и началось следствие. Меня вызвал следователь и спросил, что я думаю о происшествии с курьерским поездом. Я ответил, что думал, – что Мальцев не виноват.

– Он ослеп от близкого разряда, от удара молнии, – сказал я следователю. – Он был контужен, и нервы, которые управляют зрением, были у него повреждены... Я не знаю, как это нужно сказать точно.

– Я вас понимаю, – произнес следователь, – вы говорите точно. Это все возможно, но не достоверно. Ведь сам Мальцев показал, что он молнии не видел.

– А я ее видел, и смазчик ее тоже видел.

– Значит, молния ударила ближе к вам, чем к Мальцеву, – рассуждал следователь. – Почему же вы и смазчик не контужены, не ослепли, а машинист Мальцев получил контузию зрительных нервов и ослеп? Как вы думаете?

Я стал в тупик, а затем задумался.

– Молнию Мальцев увидеть не мог, – сказал я.

Следователь удивленно слушал меня.

– Он увидеть ее не мог. Он ослеп мгновенно – от удара электромагнитной волны, которая идет впереди света молнии. Свет молнии есть последствие разряда, а не причина молнии. Мальцев был уже слепой, когда молния засветилась, а слепой не мог увидеть света.

– Интересно, – улыбнулся следователь. – Я бы прекратил дело Мальцева, если бы он и сейчас был слепым. Но вы же знаете, теперь он видит так же, как мы с вами.

– Видит, – подтвердил я.

– Был ли он слепым, – продолжал следователь, – когда на огромной скорости вел курьерский поезд в хвост товарному поезду?

– Был, – подтвердил я.

Следователь внимательно посмотрел на меня.

– Почему же он не передал управление паровозом вам или, по крайней мере, не приказал вам остановить состав?

– Не знаю, – сказал я.

– Вот видите, – говорил следователь. – Взрослый сознательный человек управляет паровозом курьерского поезда, везет на верную гибель сотни людей, случайно избегает катастрофы, а потом оправдывается тем, что он был слеп. Что это такое?

– Но ведь он и сам бы погиб! – говорю я.

– Вероятно. Однако меня больше интересует жизнь сотен людей, чем жизнь одного человека. Может быть, у него были свои причины погибнуть.

– Не было, – сказал я.

Следователь стал равнодушен; он уже заскучал от меня, как от глупца.

– Вы все знаете, кроме главного, – в медленном размышлении сказал он. – Вы можете идти.

От следователя я пошел на квартиру Мальцева.

– Александр Васильевич, – сказал я ему, – почему вы не позвали меня на помощь, когда ослепли?

– А я видел, – ответил он. – Зачем ты нужен мне был?

– Что вы видели?

– Все: линию, сигналы, пшеницу в степи, работу правой машины – я все видел...

Я озадачился.

– А как же так у вас вышло? Вы проехали все предупреждения, вы шли прямо в хвост другому составу...

Бывший механик первого класса грустно задумался и тихо ответил мне, как самому себе:

– Я привык видеть свет, и я думал, что вижу его, а я видел его тогда только в своем уме, в воображении. На самом деле я был слепой, но я этого не знал. Я и в петарды не поверил, хотя и услышал их: я подумал, что ослышался. А когда ты дал гудки остановки и закричал мне, я видел впереди зеленый сигнал, я сразу не догадался.

Теперь я понял Мальцева, но не знал, почему он не скажет о том следователю – о том, что после того, как он ослеп, он еще долго видел мир в своем воображении и верил в его действительность. И я спросил об этом Александра Васильевича.

– А я ему говорил, – ответил Мальцев.

– А он что?

– «Это, говорит, ваше воображение было; может, вы и сейчас воображаете что-нибудь, я не знаю. Мне, говорит, нужно установить факты, а не ваше воображение или

мнительность. Ваше воображение – было оно или нет – я проверить не могу, оно было лишь у вас в голове; это ваши слова, а крушение, которое чуть-чуть не произошло, – это действие».

– Он прав, – сказал я.

– Прав, я сам знаю, – согласился машинист. – И я тоже прав, а не виноват. Что же теперь будет?

– В тюрьме сидеть будешь, – сообщил я ему.

4

Мальцева посадили в тюрьму. Я по-прежнему ездил помощником, но только уже с другим машинистом – осторожным стариком, тормозившим состав еще за километр до желтого светофора, а когда мы подъезжали к нему, то сигнал переделывался на зеленый, и старик опять начинал волочить состав вперед. Это была не работа: я скучал по Мальцеву.

Зимою я был в областном городе и посетил своего брата, студента, жившего в университетском общежитии. Брат сказал мне среди беседы, что у них, в университете, есть в физической лаборатории установка Тесла для получения искусственной молнии. Мне пришло в голову некоторое соображение, неуверенное и еще не ясное для меня самого.

Возвратившись домой, я обдумал свою догадку относительно установки Тесла и решил, что моя мысль правильна. Я написал письмо следователю, ведшему в свое время дело Мальцева, с просьбой испытать заключенного Мальцева на подверженность его действию электрических

разрядов. В случае, если будет доказана подверженность психики Мальцева либо его зрительных органов действию близких внезапных электрических разрядов, то дело Мальцева надо пересмотреть. Я указал следователю, где находится установка Тесла и как нужно произвести опыт над человеком.

Следователь долго не отвечал мне, но потом сообщил, что областной прокурор согласился произвести предложенную мною экспертизу в университетской физической лаборатории.

Через несколько дней следователь вызвал меня повесткой. Я пришел к нему взволнованный, заранее уверенный в счастливом решении дела Мальцева.

Следователь поздоровался со мной, но долго молчал, медленно читая какую-то бумагу печальными глазами; я терял надежду.

– Вы подвели своего друга, – сказал затем следователь.

– А что? Приговор остается прежний?

– Нет. Мы освободим Мальцева. Приказ уже дан, – может быть, Мальцев уже дома.

– Благодарю вас. – Я встал на ноги перед следователем.

– А мы вас благодарить не будем. Вы дали плохой совет: Мальцев опять слепой...

Я сел на стул в усталости, во мне мгновенно сгорела душа, и я захотел пить.

– Эксперты без предупреждения, в темноте, провели Мальцева под установкой Тесла, – говорил мне следователь. – Включен был ток, произошла молния, и раздался резкий удар. Мальцев прошел спокойно, но теперь он снова не видит света – это установлено объективным путем, судебно-медицинской экспертизой.

Следователь попил воды и добавил:

– Сейчас он опять видит мир только в одном своем воображении... Вы его товарищ, помогите ему.

– Может быть, к нему опять вернется зрение, – высказал я надежду, как было тогда, после паровоза...

Следователь подумал.

– Едва ли... Тогда была первая травма, теперь вторая. Рана нанесена по раненому месту.

И, не сдерживаясь более, следователь встал и в волнении начал ходить по комнате.

– Это я виноват... Зачем я послушался вас и, как глупарь, настоял на экспертизе! Я рисковал человеком, а он не вынес риска.

– Вы не виноваты, вы ничем не рисковали, – утешил я следователя. Что лучше – свободный слепой человек или зрячий, но невинно заключенный?

– Я не знал, что мне придется доказать невиновность человека посредством его несчастья, – сказал следователь. – Это слишком дорогая цена.

– Вы следователь, – объяснил я ему. – Вы должны знать про человека все, и даже то, чего он сам про себя не знает...

– Я вас понимаю, вы правы, – тихо произнес следователь.

– Вы не волнуйтесь, товарищ следователь... Тут действовали факты внутри человека, а вы искали их только снаружи. Но вы сумели понять свой недостаток и поступили с Мальцевым как человек благородный. Я вас уважаю.

– Я вас тоже, – сознался следователь. – Знаете, из вас мог бы выйти помощник следователя...

– Спасибо, но я занят: я помощник машиниста на курьерском паровозе.

Я ушел. Я не был другом Мальцева, и он ко мне всегда относился без внимания и заботы. Но я хотел защитить его от горя судьбы, я был ожесточен против роковых сил, случайно и равнодушно уничтожающих человека; я почувствовал тайный, неуловимый расчет этих сил – в том, что они губили именно Мальцева, а, скажем, не меня. Я понимал, что в природе не существует такого расчета в нашем человеческом, математическом смысле, но я видел, что происходят факты, доказывающие существование враждебных, для человеческой жизни гибельных обстоятельств, и эти гибельные силы сокрушают избранных, возвышенных людей. Я решил не сдаваться, потому что чувствовал в себе нечто такое, чего не могло быть во внешних силах природы и в нашей судьбе, – я чувствовал свою особенность человека. И я пришел в ожесточение и решил воспротивиться, сам еще не зная, как это нужно сделать.

5

На следующее лето я сдал экзамен на звание машиниста и стал ездить самостоятельно на паровозе серии «СУ», работая на пассажирском местном сообщении. И почти всегда, когда я подавал паровоз под состав, стоявший у станционной платформы, я видел Мальцева, сидевшего на крашеной скамейке. Облокотившись рукою на трость, поставленную между ног, он обращал в сторону паровоза свое страстное, чуткое лицо с опустевшими слепыми глазами, и жадно дышал запахом гари и смазочного масла и

внимательно слушал ритмичную работу паровоздушного насоса. Утешить его мне было нечем, и я уезжал, а он оставался.

Шло лето; я работал на паровозе и часто видел Александра Васильевича – не только на вокзальной платформе, но встречал его и на улице, когда он медленно шел, ощупывая дорогу тростью. Он осунулся и постарел за последнее время; жил он в достатке – ему определили пенсию, жена его работала, детей у них не было, но тоска, безжизненная участь снедали Александра Васильевича, и тело его худело от постоянного горя. Я с ним иногда разговаривал, но видел, что ему скучно было беседовать о пустяках и довольствоваться моим любезным утешением, что и слепой – это тоже вполне полноправный, полноценный человек.

– Прочь! – говорил он, выслушав мои доброжелательные слова.

Но я тоже был сердитый человек, и, когда, по обычаю, он однажды велел уходить мне прочь, я сказал ему:

– Завтра в десять тридцать я поведу состав. Если будешь сидеть тихо, я возьму тебя в машину.

Мальцев согласился.

– Ладно. Я буду смирным. Дай мне там в руки что-нибудь, – дай реверс подержать: я крутить его не буду.

– Крутить его ты не будешь! – подтвердил я. – Если покрутишь, я тебе дам в руки кусок угля и больше сроду не возьму на паровоз.

Слепой промолчал; он настолько хотел снова побыть на паровозе, что смирился передо мной.

На другой день я пригласил его с крашеной скамейки на

паровоз и сошел к нему навстречу, чтобы помочь ему подняться в кабину.

Когда мы тронулись вперед, я посадил Александра Васильевича на свое место машиниста, я положил одну его руку на реверс и другую на тормозной автомат и поверх его рук положил свои руки. Я водил своими руками, как надо, и его руки тоже работали. Мальцев сидел молчаливо и слушался меня, наслаждаясь движением машины, ветром в лицо и работой. Он сосредоточился, забыл свое горе слепца, и кроткая радость осветила изможденное лицо этого человека, для которого ощущение машины было блаженством.

В обратный конец мы ехали подобным же способом: Мальцев сидел на месте механика, а я стоял, склонившись, возле него и держал свои руки на его руках. Мальцев уже приноровился работать таким образом настолько, что мне было достаточно легкого нажима на его руку, и он с точностью ощущал мое требование. Прежний, совершенный мастер машины стремился превозмочь в себе недостаток зрения и чувствовать мир другими средствами, чтобы работать и оправдать свою жизнь.

На спокойных участках я вовсе отходил от Мальцева и смотрел вперед со стороны помощника.

Мы уже были на подходе к Толубееву; наш очередной рейс благополучно заканчивался, и шли мы вовремя. Но на последнем перегоне нам светил навстречу желтый светофор. Я не стал преждевременно сокращать ход и шел на светофор с открытым паром. Мальцев сидел спокойно, держа левую руку на реверсе; я смотрел на своего учителя с тайным ожиданием...

– Закрой пар! – сказал мне Мальцев.

Я промолчал, волнуясь всем сердцем.

Тогда Мальцев встал с места, протянул руку к регулятору и закрыл пар.

– Я вижу желтый свет, – сказал он и повел рукоятку тормоза на себя.

– А может быть, ты опять только воображаешь, что видишь свет! – сказал я Мальцеву.

Он повернул ко мне свое лицо и заплакал. Я подошел к нему и поцеловал его в ответ:

– Веди машину до конца, Александр Васильевич: ты видишь теперь весь свет!

Он довел машину до Толубеева без моей помощи. После работы я пошел вместе с Мальцевым к нему на квартиру, и мы вместе с ним просидели весь вечер и всю ночь.

Я боялся оставить его одного, как родного сына, без защиты против действия внезапных и враждебных сил нашего прекрасного и яростного мира.

ЖЕЛЕЗНАЯ СТАРУХА

Шумели листья на дереве; в них пел ветер, идущий по свету.

Малолетний Егор сидел под деревом и слушал голос листьев, их кроткие бормочущие слова.

Егор хотел узнать, что означают эти слова ветра, о чем они говорят ему, и он спрашивал, обратив лицо к ветру:

– Ты кто? Что ты мне говоришь?

Ветер умолкал, будто он сам слушал в это время

мальчика, а потом снова медленно бормотал, шевеля листья и повторяя прежние слова.

– Ты кто? – спросил еще раз Егор, не видя никого.

Никто ему не ответил более; ветер ушел, и листья уснули. Егор подождал, что будет теперь, и увидел, что уже наступает вечер. Желтый свет позднего солнца осветил старое осеннее дерево, и стало скучнее жить. Нужно было идти домой, ужинать, спать во тьме. Егор же спать не любил, он любил жить без перерыва, чтобы видеть все, что живет без него, и жалел, что ночью надо закрывать глаза, и звезды тогда горят на небе одни, без его участия.

Он поднял жука, ползшего по траве домой на ночлег, и посмотрел в его маленькое неподвижное лицо, в черные добрые глаза, глядевшие одновременно и на Егора, и на весь свет.

– Ты кто? – спросил Егор у жука.

Жук не ответил ничего, но Егор понимал, что жук знает что-то, чего не знает сам Егор, но только он притворяется маленьким, он стал нарочно жуком и молчит, а сам не жук, а еще кто-то – неизвестно кто.

– Ты врешь! – сказал Егор и повернул жука животом вверх, чтобы увидеть, кто он такой.

Жук молчал; он со злой силой шевелил жесткими ножками, защищая жизнь от человека и не признавая его. Егора удивила настойчивая смелость жука, он полюбил его и еще более убедился, что это не жук, а кто-то более важный и умный.

– Ты врешь, что ты жук! – произнес Егор шепотом в самое лицо жука, с увлечением рассматривая его. – Ты не притворяйся, я все равно дознаюсь, кто ты такой. Лучше сразу откройся.

Жук замахнулся на Егора сразу всеми ногами и руками. Тогда Егор не стал с ним больше спорить.

– Когда я к тебе попадусь, я тоже ничего не скажу. – И он пустил жука в воздух, чтобы он улетел по своему делу.

Жук сначала полетел, а потом сел на землю и пошел пешим. И Егору стало вдруг скучно без жука. Он понял, что больше его никогда не увидит, и если увидит, то не узнает его, потому что в деревне много прочих жуков. А этот жук будет где-нибудь жить, а потом помрет, и все его забудут, один только Егор будет помнить этого неизвестного жука.

Усохший лист упал с дерева. Он когда-то вырос на дереве из земли, долго смотрел на небо и теперь снова возвращался с неба в землю, как домой с долгой дороги. На лист вполз сырой червь, отощавший и бледный.

«Кто же это такой? – озадачился Егор перед червем. – Он без глаз и без головы, о чем он думает?» Егор взял червя и понес его к себе домой.

Уже совсем свечерело; в избах зажглись огни, все люди собрались с полей, чтобы жить вместе, потому что везде стало темно.

Дома мать дала Егору поужинать, потом велела ложиться спать и укрыла его на ночь одеялом с головой, чтобы он не боялся спать и не услышал страшных звуков, которые раздаются иногда среди ночи из полей, лесов и оврагов. Егор притаился под одеялом и разжал левую руку, где у него все время находился червь.

– Ты кто? – спросил Егор, приблизив червя к лицу.

Червь дремал, он не шевелился в разжатой руке. От него пахло рекою, свежей землей и травой; он был небольшой, чистый и кроткий, наверно, детеныш еще, а может быть, уже худой маленький старик.

– Отчего ты живешь? – говорил Егор. – Хорошо тебе или нет?

Червь свернулся на ладони, чувствуя ночь и желая покоя. Но Егор не хотел спать: он хотел еще жить, играть с кем-нибудь, он хотел, чтобы уже сразу было утро за окном и можно было встать с постели. Но на дворе стояла ночь – только начавшаяся, долгая, всю ее не проспишь; и если заснешь, все равно проснешься до рассвета, в то страшное время, когда все спят, – и люди и травы, а проснувшийся человек бывает один на свете – его никто не видит и не помнит.

Червь лежал в руке Егора.

– Давай я буду тобою, а ты будешь мною, – сказал червю Егор. – Я тогда узнаю, кто ты, а ты станешь как я, ты будешь человеком, тебе лучше будет.

Червь не соглашался; он, наверно, уже спал, не подумав о том, кто такой Егор.

– Мне надоело быть все Егором и Егором, – говорил мальчик один. – Я хочу быть еще чем-нибудь. Проснись, червяк. Давай с тобой разговаривать ты думай про меня, а я буду про тебя...

Мать услышала разговор сына и подошла к нему. Она еще не спала, она ходила по избе и кончала последние дела, с которыми не управилась днем.

– Ты что там не спишь, бормочешь, шутоломный какой, – сказала она и подоткнула одеяло под ноги Егора. – Спи. А то железная старуха ходит в поле в темноте, она ищет тех, кто не спит, и с собой уводит.

– Мама, а она кто? – спросил Егор.

– Она железная, ее не видно, она во тьме живет, она страхом пугает, и у людей сердце отымается...

– А она кто?

– А кто ж ее знает, сынок. Ты спи, – произнесла мать. – Ты ее не бойся, она, может, никто, бедная какая-нибудь старушка.

– А где она живет? – узнавал Егор.

– Она по оврагам ходит, траву ищет, сухие кости гложет, а когда кто помрет – она рада, она хочет одна остаться на свете, и все живет, все живет, все хочет дождаться, когда все помрут и будет одна она ходить, железная старуха. Ну, спи теперь, она по дворам не ходит, я дверь запру...

Мать отошла от сына. Егор спрятал червя под подушку, чтоб он там спал в тепле и ничего не боялся.

– Мама, а кто ты? – спросил он.

Но мать ничего не ответила ему. Она решила, что Егор еще немного поговорит-поговорит и заснет, ему уж, видно, дремлется.

«А кто я? – думал Егор и не знал. – Кто-нибудь я тоже есть. Так не бывает, чтобы я был никто!»

В избе стало тихо. Мать легла, отец уже спал давно. Егор прислушался. На дворе изредка скрипел плетень, его пошатывал клен, росший у плетня. Егор заметил, что и в самую тихую погоду клен качается помаленьку, будто он тянется куда-то, хочет скорее вырасти или стронуться с места и уйти, и плетень постоянно скрипит от него, жалуясь на беспокойство. Скучно, наверно, быть деревом, оно живет на одном месте.

– Мама, – тихо позвал Егор и высунул голову из-под одеяла наружу. Что такое клен?

Но мать уснула, никто ничего не ответил Егору. Он всмотрелся в сумрак. Окно, выходившее в просяное поле,

светилось смутным светом ночи, будто за окном была глубина неподвижной воды. Егор привстал на постели, думая о том, что сейчас делается в темном поле, и кто там идет один с котомкой хлеба в дальнюю дорогу. Наверно, кто-нибудь идет по пустой дороге и не боится ничего. Кто он такой?

Издали кто-то протяжно вздохнул, затем застонал и умолк. Егор уставился в окно; прежний свет темной земли озарял стекло, но унылый, стонущий звук повторился опять – ехала ли то телега вдали, или железная старуха шла по оврагу и томилась, что люди живут и рождаются, а она никак не дождется, когда будет одна на свете. «Пойду, до всего дознаюсь, – решил Егор. – Что там ночью, кто старуха?»

Он надел штаны и ушел босой наружу. Клен шевелил ветвями, собираясь тронуться в путь, лопухи терлись о плетень, и корова жевала в сарае. Во дворе никто не спал.

Ясные звезды светились на небе; их было так много, что они казались близкими, – поэтому ночью под звездами было так же не страшно, как днем среди полевых цветов.

Егор миновал просо, прошел дремлющие, шепчущие подсолнечники и по брошенной, забытой дороге направился к оврагу.

Овраг был старый, его не размывала большая вода, и он зарос бурьяном и кустарником. Старики и старухи запасали здесь прутья и в зимнее время в избах плели из них корзины.

Когда Егор прошел заросли бурьяна и кустарника и очутился на дне оврага, то увидел, что здесь было тише и темнее, чем на верху земли, – ни травинка, ни лист не шевелились тут, – и ему стало страшно.

– Звезды, глядите на меня, – прошептал Егор, – а то я боюсь один!

Но из оврага было видно только три звезды, и те слабо мерцали на далекой, уносящейся высоте, точно они удалялись и меркли там во тьме.

Егор потрогал траву, увидел камешек, потом покачал лопух, такой же, как на своем дворе, и оправился от страха: ничего, они ведь все живут здесь и не боятся, и он будет с ними. Вскоре он заметил маленькую пещеру, вырытую в склоне оврага, чтоб выбирать оттуда глину, и залез туда. Ему захотелось теперь подремать немного, – он уморился за день жить и ходить.

– А как пойдет мимо железная старуха, то я ее покличу, – сказал Егор сам себе, сжавшись в земле от ночной прохлады, закрыл глаза.

Стало тихо совсем, и все онемело, все звезды скрыла небесная наволочь, и трава поникла, как умершая.

Унылый звук раздался в этой низине земли, как вздох сожаления всех умерших людей. Егор сейчас же открыл глаза, услышав во сне этот томительный звук. Над ним стояло темное тело человека, большое и смутное от окружающей черной ночи, готовое быть и готовое исчезнуть.

– Ты кто? – спросил Егор. – Ты старуха?

– Старуха, – сказала старуха.

– А ты железная?.. Мне нужна железная.

– Зачем я тебе? – спросила железная старуха.

– Я хочу тебя увидеть – ты кто, ты зачем? – говорил Егор.

– Помирать будешь, тогда скажу, – ответил голос старухи.

– Скажи, я помру, – согласился Егор и взял комок глины в руку, чтобы залепить глаза старухе и осилить ее.

– Иди ко мне, я тебе скажу на ухо, – и старуха в первый раз пошевелилась, и вновь раздался знакомый унылый звук шелестящего железа или хруста высохших костей. – Иди ко мне, я все тебе скажу, и ты тогда помрешь. А то ты маленький, тебе жить еще много, и мне долго ждать твоей смерти. Пожалей меня, я старая.

– А ты кто, ты скажи, – узнавал Егор. – Ты не бойся меня, я тебя не боюсь.

Старуха склонилась к Егору и стала к нему приближаться. Мальчик прижался спиною к земле в своей пещере и открытыми глазами вглядывался в склоняющуюся к нему железную старуху. Когда она согнулась и приблизилась к нему и тьмы между ними осталось мало, Егор закричал:

– Я знаю, я знаю тебя. Мне тебя не надо, я тебя убью! – Он бросил в ее лицо горсть глины и сам обмер и приникнул к земле.

Но обмерши, лежа вниз лицом, Егор еще раз услышал голос железной старухи:

– Ты меня не знаешь, ты меня не разглядел. Но всю твою жизнь я буду ждать твоей смерти и губить тебя, потому что ты меня не боишься.

«Немножко-то боюсь, потом привыкну и перестану», – подумал Егор и забылся.

Он очнулся от знакомого тепла, его несли мягкие большие руки, и он спросил:

– Ты кто? Ты не старуха?

– А ты кто? – спросила его мать.

Егор открыл глаза и вновь зажмурил их – свет солнца

освещал всю деревню, клен на ихнем дворе и всю землю. Егор снова открыл глаза и увидел шею матери, у которой покоилась его голова.

– Ты зачем сбежал в овраг? – спросила мать. – Мы спозаранку тебя искали, отец в поле работать уехал весь в сомнении.

Егор рассказал, что он боролся в овраге с железной старухой, но только не успел разглядеть ее лица, потому что бросил в него глиной.

Мать задумалась, потом она опустила Егора на землю и посмотрела на него, как на чужого.

– Иди своими ногами, борец!.. Тебе это приснилось.

– Нет, я правда ее видел, – сказал Егор. – Железные старухи бывают.

– А может, и бывают, – произнесла мать и повела сына домой.

– Мама, а кто она?

– А я не знаю, я слыхала, я сама ее не видала. Люди говорят, что судьба, что ль, или горе наше ходит. Вырастешь, сам узнаешь.

– Судьба, – промолвил Егор, не зная, что она означает. – Вырасту еще чуть-чуть и поймаю железную старуху...

– Поймай, поймай ее, сынок, – сказала мать. – Я тебе сейчас картошек начищу и поджарю их.

– Давай, – согласился Егор. – Я есть захотел, старухи сильные бывают. Я уморился от нее.

Они вошли в сени избы. В сенях по полу вполз знакомый червяк, возвращаясь с постели Егора к себе домой в землю. «Ползи, немой! – осерчал Егор. – Ишь ты. Кто он такой, так и не сказал. После все равно дознаюсь. И до

старухи дознаюсь – сам стану железным стариком!»

Егор остановился в сенях и задумался: «Это я нарочно буду железным, чтоб старуху напугать, пускай она околеет. А потом я железным не буду – не хочу, я опять буду мальчиком с матерью».

БРОНЯ

Саввин был пожилым моряком, он служил инженер-электриком на одном нашем черноморском крейсере. Будучи ранен в морском сражении в ногу, он теперь залечивал рану в тихом далеком тылу.

Он был моряк старый, храбрый и добрый; небольшого роста, он раздался, однако, в ширину – в прочные кости и мускулы, не потратив силы в напрасный рост вверх. Слегка багровое лицо его, точно раз навсегда заржавленное, постоянно имело угрюмое выражение, сохраняя невидимыми за мрачным лицом доброту его сердца и кроткий нрав. Говорил он хриплым внутренним голосом, будто слова у него рождались не во рту, а в глубине живота, но говорил он редко, любя больше слов безмолвие, наблюдение и размышление. Это был обыкновенный моряк, потому что таких людей много среди русских моряков, и я в начале нашего знакомства был равнодушен к нему: «Еще один добряк и пьяница», – подумал я про него.

Но я ошибся. Морской инженер Семен Васильевич Саввин лишь изредка выпивал, но постоянно пить вино не любил. Он не любил и моря: «В море грустно, там тоска, – говорил он, – море само по себе не красивое, оно простое и серьезное: это водоем, где водится рыба для нашего про-

питания, а поверху его можно возить грузы, потому что это обходится дешево, а счастья на море нет, на сухой земле лучше – тут хлеб, тут цветы, тут люди живут»...

– А почему тогда вы всю жизнь моряк, Семен Васильевич? – спросил я у него.

Саввин помолчал. Мы сидели в траве, на склоне отлогой балки, нисходящей устьем к реке Белой. Пред нами, на той стороне балки, вжились в землю мирные деревянные жилища, и от них зачинались кроткие картофельные огороды, спускающиеся вниз по падению земли. Вдалеке по небу плыли облака над синими холмами Урала, столь ослепительно чистые от освещающего их солнца, что они казались святыми видениями. А под теми облаками лежала открытая, беззащитная земля, в труде и терпении непрерывно рождающая благоухающие нивы для жизни людей.

– Я с детства люблю нашу русскую землю, – сказал Саввин, он умолк и вдруг тихо заплакал, потом захрипел от смущения, прокашлялся, пробормотал сам себе осуждение и произнес: – Наша земля всегда мне виделась такой доброй и прекрасной, что ее обязательно когда-нибудь должны погубить враги. Не может быть, чтобы ее никто не полюбил и не захотел захватить. Еще в детстве я глядел на маленький дом, где я жил с родителями, слушал, как жалобно поскрипывали ставни на окнах, а за домом было великое поле хлебов, и от боли, от страха, может быть – от предчувствия, у меня тогда горевало мое маленькое сердце. Все это было давно, но чувство мое не прошло, мой страх за Россию остался... Потом я вырос, как все растет, меня призвали в армию, а из армии я уже не ушел. Только потом, постепенно, из рядового солдата я стал военным морским

инженером; я понял, что умелый, образованный солдат сильнее неумелого. Потом я полюбил корабли. Эти быстрые стальные крепости, казалось мне, должны хорошо оборонять нашу мягкую русскую землю, и она останется навеки нетронутой и цельной...

– Одних кораблей мало, – сказал я моряку. – Нужны еще танки, авиация, артиллерия...

– Мало, – согласился Саввин. – Но все произошло от кораблей: танк – это сухопутное судно, а самолет – воздушная лодка. Я понимаю, что корабль не все, но я теперь понимаю, что нужно – нам нужна броня, такая броня, какой не имеют наши враги. В эту броню мы оденем корабли и танки, мы обрядим в нее все военные машины. Этот металл должен быть почти идеальным по стойкости, по прочности, почти вечным, благодаря своему особому и естественному строению... Броня – ведь это мускулы и кости войны!

Саввин воодушевился, что с ним бывало очень редко, вероятно потому, что свое воодушевление он тратил в тайну своего размышления и работы, и на виду оно не проявлялось.

Я пошел проводить Саввина в госпиталь. Он шел медленно, опираясь на трость. Возле одного деревянного домика, ветхого, глубоко ушедшего в почву, но милого, похожего обликом на дремлющего старика, Саввин остановился. Он долго смотрел на этот домик, думая и вспоминая.

– Сердце у меня слабеет, – произнес он затем, – но жизнь от этой слабости я чувствую как-то лучше...

– Ничего, мы одолеем врага, и на душе опять будет легко, – сказал я спутнику в утешение.

– Одолеем! – странно и злобно воскликнул Саввин. –

Надо еще уметь, чтоб одолеть, надо сделать победу из работы и боя!

И он добавил своим обычным, хриплым и кротким, голосом:

– Небольшую долю нашей победы я сделал.

Я удивился и не поверил.

– Где же она, ваша победа?

Саввин ответил:

– Она спит в одной избушке в Курской области, там я схоронил в бумаге десять лет работы.

– Что же это такое?

– Да как вам сказать? Это новая физиология металла, – сказал Саввин. – Но чтобы вам понятно было – это способ производства броневого сверхпрочного металла, чтоб нас никто не одолел, а мы бы сокрушили врага.

– А в Курской области теперь немцы!

– Пускай, – произнес Саввин. – Немцы там, но земля как была, так и будет русской... Подживет нога, пойду туда, возьму все свои расчеты, все опытные данные и приду обратно. Надо строить новый металл: твердый и вязкий, упругий и жесткий, чуткий и вечный, возрождающий сам себя против усилия его разрушить... Вы со мной не пойдете туда? Я уже не все помню, что я там наработал: это как книга, из которой нельзя убрать ни одного слова и добавить нельзя.

– Я пойду, – сказал я Саввину.

– Спасибо, – ответил Саввин. – В той избе живет мой дядя, мы там погостим.

– А немцы не спалили избу? Где мы там гостить тогда будем?

– Дядя спрятал мои бумаги в подполье, под основание печки, – сказал Саввин. – Он мужик длинный, он думает далеко вперед. Там не только бумаги, там есть небольшой прибор, который перерождает обыкновенную сталь в сверхпрочную, в броневую, но пока только в маленьких изделиях...

Лето 1942 года проходило в грозах, в дождях и в жаре. Крестьяне и рабочие, уезжая на войну, смотрели из вагонов в поля, на обильные хлеба, на девственные пастбища, и душа их болела: неужели отдавать вору и убийце все это счастье и добро жизни, ради чего мы родились на свет? Нет, мы упредим неприятеля; он пошел со смертью в наши мягкие земли, но он окостенеет тут от нашей руки и сопреет беспамятно в прах: земля наша хороша и для хлеба и для могилы. И было в бойцах сейчас только твердое, ненавидящее сердце, готовое к бою за разлуку с семьей, за землю с урожаем, остающуюся здесь в сиротстве без сильных рабочих рук; но и сердце есть оружие, и его бывает достаточно для победы, когда его одухотворяет благодарная любовь к родной кормящей земле и когда его движет ненависть.

Мы с моряком Саввиным оставили свое временное местожительство и тронулись на запад. Он имел месячный отдых с отпуском на родину, а я командировку. Мы доехали до Ряжска, оттуда направились в Тулу, а из Тулы вышли к границам Курской области.

– А как же мы пройдем через фронт: на бога? – спросил я у Саввина, когда мы шли с ним по одинокой полевой дороге, обросшей дебрями великих урожайных хлебов.

Саввина, однако, не озадачивала наша дорога к неприятелю.

– Почему – на бога? – сказал он. – По России же идем, и тут и там Россия, и мы русские, – так сквозь и пройдем. Чего нам у себя дома пугаться: где схитрим, где спрячемся, а где осилим, там и с врагом побьемся, а там и наша деревня близко будет.

К вечеру мы дошли до постов боевого охранения нашей части. Саввин пошел в штаб части, чтобы объяснить значение своего путешествия, – у него были на то бумаги от своего командования. Я долго ожидал его, потом он вышел из штаба растроганный. Командир части предложил ему возложить всю задачу на своих самых опытных разведчиков, а Саввина и его спутника, то есть меня, он просил обождать на месте до возвращения разведчиков. Саввин, конечно, отказался: для успеха дела разумнее было идти ему самому.

В ночь мы пошли вперед, в тьму, где был наш враг. Нас проводили двое красноармейцев, затем мы остались одни и пошли, как нам указали бойцы.

Всю ночь мы осторожно шли в тишине. Мы не слышали ни звука, ни выстрела. На рассвете мы увидели вдали избы деревни и ушли спать в густую, дремучую рожь, радуясь хлебу, укрывающему нас на покой.

Вечером мы обошли попутную деревню и направились далее. Среди ночи мы встретили на дороге неизвестного темного человека. Он шел один, а мы, притаившись в хлебах, следили за ним, пока он не ушел во тьму. Судя по походке, это был крестьянин; он шел в сторону Москвы, может быть желая встретить Красную Армию, чтобы остаться в ней бойцом, может быть, чтобы спастись от смерти под властью своего народа. Я поглядел вослед ис-

чезнувшему и заскучал по той стороне, куда побрел одинокий крестьянин.

Мы шли еще две ночи. Мы питались сухарями, которые взял Саввин, огородным луком и капустными листьями. Саввин ел огородных овощей как можно больше, и я ему тоже помогал в этой работе над едой; мы полагали, что будет лучше, если немцу достанется меньше овощей, так что наше обжорство имело благородную причину.

– Из любви к родине – рубай! – приказывал мне Саввин.

Огороды были не возделаны, по ним пошла поросль бурьяна, и тот овощ, что произрастал, родился самосевом, либо рос еще с прошлого года, став уже жестким перестарком. Видно, что крестьянская душа стала здесь равнодушна к земле или вовсе уже не было хозяина в живых.

На очередной ночлег мы расположились в кустарнике, невдалеке от проезжей дороги, которая когда-то была людной. Днем я проснулся от света полуденного солнца и посмотрел в пустое русское поле, все такое же обыкновенное и родное, но ставшее здесь для нас чужбиной. Саввин храпел возле меня, и бабочка, захотевшая сесть на его лицо, в ужасе отлетела прочь.

Издалека по дороге шли неизвестные люди. Они шли медленно, и я долго ожидал, чтобы они появились ближе. Они шли с московской стороны, и, видно, им далеко было еще идти и они не спешили.

Впереди шел немецкий солдат с автоматом; серая пыль, прах нашей земли, покрыла одежду чужестранца. За ним брели молодые крестьянки, одна из них была девочка лет пятнадцати; всего я их сосчитал четырнадцать человек; позади их шагал, торопя пленниц вперед, другой немецкий

солдат. Но пленницы не хотели торопиться. Они часто оглядывались назад, в сияющие солнцем родные места, нагибались, чтобы поправить обувку, перевьючивали друг на друге котомки с хлебом, а одна девушка отошла с дороги в сторону и сорвала цветок или былинку, но на нее строго залопотал задний немец.

Они шли с котомками за спиной, с палками в руках, покрыв головы темными платками, они шли в дальнее безвозвратное странствие. Молодые и юные, еще кроткие сердцем, они брели согнувшись, как в старчестве, потому что их уводили на вечную разлуку и они стали тихие от горя, как умершие. В детстве я видел, что так шли на богомолье из Сибири в Киев ветхие, умолкшие старухи.

Я разбудил Саввина.

– Погляди, – сказал я ему. Он посмотрел на шествие.

– Их в рабство гонят, – произнес он. – Их ведут в глушь Германии...

Мы притаились и наблюдали. Одна большая женщина опустилась вдруг на колени и поникла к земле. К ней подошел солдат и, схватив ее сквозь платок за волосы, приподнял, чтоб она шла, но женщина поникла обратно. Тоска ее и любовь к привычной земле, откуда ее уводили, была, видимо, в ней сильнее страха смерти. Она припала лицом к земному праху и заголосила грудным и нежным голосом, вскормленным на больших открытых пространствах ее родины. Мы вслушались в ее голос, в нем не было слов, но было долгое, вечное горе, от которого обмирало ее сердце, и голос ее звучал столь чисто и одухотворенно, что в нем не слышалось никакого телесного усилия, словно это звучала одна ее поющая душа. Мы забылись и заслушались эту песню пленницы, гонимой на смертную работу.

Немецкий солдат еще раз попробовал коснуться обмершей женщины, чтобы заставить ее подняться и идти, но пленница вдруг перестала голосить и сама поднялась навстречу ему. Она сначала поправила котомку за плечами, а потом отвела от себя руку солдата и пошла в обратную сторону, домой, ко двору. Теперь мы снова увидели, что она была крупного роста, солдат же против нее был невелик и слаб.

Пленница уже отошла от своих подруг, но они глядели ей вслед. Она уходила спокойно, точно чувствовала свое право свободы. Тогда фашист прижал к себе ложе автомата и выстрелил в женщину несколько раз. Пленница была еще близко от своего врага, и он в нее попал, но она, не оглянувшись, продолжала идти домой. Немец выстрелил еще, однако женщина не пала мертвой и шла обыкновенно, как прежде. Озадаченный солдат побежал за ней несколько шагов, остановился и стал для удобства стрельбы на одно колено. Но он уже не управился добить свою пленницу. Возле меня раздалось два выстрела, и немец покорно склонился к земле на дороге, смирившись навеки. Другой немец, что был впереди, вскинул автомат в боевое положение, однако новые три пули Саввина поразили его раньше, чем он обнаружил цель. Этот солдат пал к земле со всего роста, и дорожная истертая пыль поднялась в безветрии над его трупом. Но большая пленница, что пошла домой по воле своего сердца, теперь тоже лежала в траве возле дороги.

Саввин все еще держал свой револьвер, положив его дуло меж двух ветвей, росших рогаткой; он хотел еще убить какого-нибудь врага, но больше их пока не было.

Пленные женщины сразу исчезли с дороги; они стремились через поле в дальний лес, по ту сторону дороги, спеша утолить свою тоску по дому и свободе.

Мы ушли кустарником своим направлением и вскоре легли спать в кущах бурьяна на дне оврага.

Мы проснулись под вечер, но еще засветло. По оврагу плыл едкий дым от горящего ветхого жилья.

– Что это там? – сказал я Саввину. – Должно быть, деревня горит...

– А что там! – грустно произнес Саввин. – Там обыкновенно что: враги народ наш казнят. Пойдем туда! Обожди...

Он нашел у себя в кармане листик бумаги и написал на нем карандашом название деревни, куда мы шли, и имя своего дяди; он хотел, чтоб я и один мог найти ту избушку, где хранится тайна вечной, несокрушимой брони; он понимал, что может скончаться от руки врага, и завещал мне спасти свое драгоценное достояние, которое, он верил, может оградить наш народ от смерти и помочь его победе.

Мы вышли на бровку оврага. Невдалеке от нас, вверх по земле, тихо догорали деревенские избы; пламя пожара уже угасало, и последние искры восходили к небу. Навстречу нам шла женщина с тяжелой ношей на руках, запеленатой в одеяло. Мы остановили ее.

– Ты куда? – спросил у нее Саввин.

– Теперь хоронить хожу, потом сама помирать сюда приду, – сказала женщина и приветливо улыбнулась нам; на вид эта женщина была уже старухой, а может быть, она состарилась до времени.

– Кто там, в этой деревне? – указал Саввин на пожар.

Женщина не ответила. Она села со своей ношей на землю и отвернула край одеяла.

Из-под одеяла забелело, почти засветилось лицо ребенка, украшенное вокруг локонами младенчества. Мы склонились к этому столь странному, сияющему лицу ребенка и увидели, что глаза его тоже смотрят на нас, но взор его равнодушен; он был мертв, и лицо его светилось от нежности обескровленной кожи. Женщина повела на нас рукой, чтобы мы отошли. Мы послушались ее.

Женщина покачала ребенка.

– Сейчас, сейчас, – сказала она ему, – сейчас я тебя в овражке схороню и лопушками укрою, потом братцев и сестриц тебе принесу, потом сама приду, сама с вами лягу и сказку вам расскажу, новую сказку:

Жили-были люди,
Померли все люди.
Нарожались черви,
Стали черви люди.
Черви все подохли,
И осталась глина.
А на глине корка,
А на корке травка,
В травке той росистой
Сердце наше дышит,
Сердце наше плачет
Об умерших детях.
Все прошло-пропало.
Одно сердце стало
Жить на свете вечно,

Умереть не может,
Потому что плачет,
Плачет-ожидает,
Мертвых вспоминает.
Мертвые вернутся,
Спящие проснутся,
И тогда что было —
Сердце позабудет
И любить вас будет
В неразлучной жизни...

Потом женщина покрыла лицо ребенка уголком одеяла и пошла с ним в глубину оврага, улыбнувшись в нашу сторону, но улыбка ее была столь жалкой, что означала лишь терпеливую печаль ее жизни. Мы подождали ее. Она вернулась с пустым одеялом и пошла обратно на деревню. Мы тронулись за ней; она, оглянувшись на нас, вдруг запела веселую женскую песню.

– Ты что? – спросил ее Саввин.

– А я хмельная, – весело сказала женщина.

– А кто же тебя водкой здесь поит, немцы, что ль? – удивился Саввин.

– Они, а кто же! – ответила женщина. – Я детей из яслей хоронить таскаю, их там печным чадом поморили...

– Кто их поморил? – спокойно спросил Саввин.

– Они, – сказала женщина, – а мужиков и баб всех прочь угнали, оставили самую малость, да и тех побьют – деревня-то каждую ночь горит, они ее сами жгут, а на нас серчают и казнь нам дают.

Саввин взял женщину за руку.

– Где сейчас немцы? Только не ври! Много выпила-то?

– Чуть-чуть, – произнесла крестьянка. – Обещали еще потом угостить, и закуску, сказывали, дадут. Они теперь в школе, вон на том краю. Там помещение каменное, там и ясли были с детьми, а теперь детей поморили и от них дух пошел, а немцам наш дух не нравится, вот я и ношу ребят на покой... Сама плачу над ними, сама отпеваю их, – кто ж будет горевать-то по ним? – одна я женщина и осталась на деревне, всем я теперь мать, да еще две старухи помирают лежат, а четырех мужиков остаточных они при себе на черной работе держат, коли не побили уже: вчерашний-то день наших шестеро было в живых, двоих они убили...

Крестьянка ушла от нас, стало сумрачно и темно, пожар давно потух. Мы легли в траву на околице этой сожженной, разоренной, нелюдимой деревни, куда ушла крестьянка, веселая от хмеля и печальная от судьбы. Вскоре она снова появилась и прошла мимо нас к оврагу с маленьким покойником, завернутым в одеяло. Потом она пошла обратно. Мы глядели на ее темное тело, бредущее ночью по траве, и ожидали, когда она опять пойдет мимо нас. Она опять пришла с очередной ношей в одеяле и скрылась во мраке оврага. Затем возвратилась и снова прошла на деревню, к мертвым детям. Мы следили за ее работой и молча терпели наше горе. Но сколько его можно терпеть – и не за то ли, что мы терпим наше горе и прощаем мучителям, мы погибаем? Не означает ли такое терпение только нашу любовь к собственному существу, только наше желание жить какими угодно средствами, забывая погибших и любимых, прощая убийц, сдерживая свою душу против врагов, лишь бы нам можно было дышать хоть вполсердца и есть пищу,

какую дадут, лишь бы нам позволили жить хотя бы в вечной муке? И я подумал: как бы мне хотелось увидеть человека, послушного лишь мгновенному решению своего разума и сердца и не подчиненного томительной привязанности к жизни! И жизнь – где она одухотвореннее и сладостнее, как не в таком мгновенном движении сердца и в осуществлении его решения?..

Крестьянка в очередной раз прошла со своей ношей в овраг и вот уже снова возвращалась обратно. Саввин поднялся, положил руку за пояс, где у него хранился короткий и мощный палаш-клинок, и направился вослед женщине.

– Обожди меня тут, – сказал он мне тихо. – Я скоро буду.

– А броня? – спросил я. – Тебя убить могут, надо сначала дойти до твоей деревни, я один заблужусь.

– Найдешь, – часто дыша, ответил Саввин. – И меня убить не могут, потому что я сам убью их!..

Я остался один. Всюду была темная ночь, в деревне была тишина. Я ожидал Саввина, радуясь, что у него оказалось то человеческое, внезапное сердце, которое я так любил всегда и ожидал везде.

В деревне раздался выстрел, но глухой и робкий. Я больше не мог оставаться неподвижным, потому что я тоже был человеком, и побежал во тьму, куда ушел Саввин. Долгое время я искал школу, это каменное помещение, где лежали наши мертвые дети, а ныне были немцы.

Я блуждал и огородах, в каком-то инвентаре и среди избяных печей, оставшихся после пожара; затем я выбежал на пустошь. Там одинокий человек шел куда-то, и я сразу напал на него, но, почувствовав беззащитную мякоть тела,

я оставил это существо. Оно оказалось плачущей женщиной, и по голосу я узнал крестьянку, которая таскала мертвых детей в овраг. Она повела меня, и я пошел.

– Не бойся, их теперь нету, – сказала она.

– Чего ты плачешь? – спросил я у женщины.

– Он их всех побил... он их клинком заколол, сперва одного, на часах, потом прочих, кои уж на отдых легли в помещении, – говорила женщина. – Он их сразу, он им и вспомнить про себя не дал, семь душ – все лежат...

– А чего ты плачешь?

– А он и сам тоже лежит помирает... Один-то враг не враз помер и в него поспел стрельнуть – и попал ему в грудь насквозь... Я побежала кликнуть бабку-повитуху, а она тоже померла без присмотра.

У входа в школу лежал навзничь мертвый часовой. Крестьянка взяла его за ноги и поволокла, чтобы тут его не было. Внутри помещения горел фонарь «летучая мышь» и смутно освещал чужих покойников; двое из них лежали на детских кроватках, которые немцы приспособили для сна, поставив для удлинения их табуретки; прочие кровати были пусты, и четверо мертвецов валялись на полу – они, должно быть, пытались одолеть Саввина; один немец лежал в черной шинели, а остальные были в белье, разобравшись на ночь по-домашнему.

Саввин лежал в углу, в отдалении, отдельно от поверженных им врагов. Я склонился к его лицу и подложил ему под голову детскую подушку.

– Тебе плохо? – спросил я у него.

– Почему плохо? – нормально, – трудно дыша, сказал Саввин. – Я умираю полезно.

– Тебе больно?

– Нет. Больно живым, а я кончаюсь, – прошептал Саввин.

– Как же ты их всех один осилил? – спрашивал я, расстегивая ему пуговицу на воротнике рубашки.

Саввину стало тяжко, но он произнес мне в ответ:

– Не в силе дело – в решимости и в любви, твердой, как зло...

Он начал забываться; потом прошептал свое имя, может быть вспомнив, как его когда-то называла мать, и, утратив память о жизни, закрыл глаза насмерть.

Я поцеловал его, я попрощался с ним навеки и пошел выполнять его завещание о несокрушимой броне. Но самое прочное вещество, оберегающее Россию от смерти, сохраняющее русский народ бессмертным, осталось в умершем сердце этого человека.

РАССКАЗ О МЕРТВОМ СТАРИКЕ

Вся деревня Отцовы Отвершки ушла со своего места назад, в далекие тихие земли России, потому что на деревню шел враг – немец-фашист.

В Отцовых Отвершках остался на жительство лишь один последний человек, маленький и сердитый дедушка Тишка. Он никуда не хотел уходить с родного двора, потому что тут, на деревне, прошла вся его жизнь, тут, на погосте, лежали в земле его родители, и тут же он сам схоронил когда-то своих умерших детей, и младенцев и взрослых. И дедушка Тишка, чувствуя скорое окончание

жизни, не хотел отдаляться от родных людей: с кем он жил вместе на свете, с теми он желал и в могиле рядом лежать.

Старика увещевали односельчане, чтобы он тоже трогался с ними обождать в тихой земле, пока врага назад обратно погонят, а потом опять ко двору со всеми вместе возвратиться.

Но Тишка не захотел их слушать.

– Это какие немцы? Конопатые, что ль? – спрашивал он через плетень у соседей, собиравшихся в дорогу. – Ну, знаю! Я их видел: алчный, единоличный народ; все к себе в котомку норовит сунуть что-нибудь – хоть деревянную пуговицу, хоть горлышко от бутылки, а все – дай сюда!.. Он, фашист, к избе своей подходит, так за полверсты, гляди, уж обувку с ног долой снимает и босой бежит, – а чтоб зря материал не снашивать, дескать! Это народ догадливый – он из паутины канаты вьет, из куриной головы мозгом пользуется, – я-то их знаю: у них сердце кишками кругом обмотано... Нет, это не тот народ, без которого скучно бы нам было жить. Нет, это не те люди!..

– Уедем, дедушка Тишка, до времени, – говорил ему сосед. – Неприятель лютует, оскоблит он тебя до костей...

Но Тишка не побоялся.

– Я тут буду, – сказал он. – Я, может, один окорочу всего немца!

Все жители Отцовых Отвершков ушли и увезли из деревни добро до куриного пера, а колодцы завалили под одно лицо с землей.

Тишка остался один; он поставил бочку под угол избы, чтобы собирать дождевую воду с деревянной крыши, сел на крыльцо и сосчитал воробьев, пасущихся во дворе, – их

было семь голов; а прежде было больше, стало быть, и воробьи ушли с мужиками в большую Россию, воробью без мужика жить невозможно.

Окрест деревни и в дальних полях тихо было сейчас, точно война уже давно миновала и снова стало смирно на свете. По теплому воздуху летела паутина, в траве трещали кузнечики и шуршала в своем существовании прочая кроткая тварь, а на небе остановилось белое, сияющее солнцем облако, и оно медленно иссякало в тепле, обращаясь без следа в небесную синеву. Лишь где-то в умолкшем поле ехала последняя крестьянская телега, удаляясь отсюда в сумрак вечера, но и она утихла, оставив за собою онемевшую землю, где сидел сиротою у своей избы один дедушка Тишка. Он сидел молча, однако не чувствовал ни одиночества, ни страха.

Вокруг него были сейчас порожние избы и безлюдные хлебные поля, но думы ушедших крестьян, их сердце и устоявшееся тепло их долгой жизни осталось здесь, вблизи дедушки Тишки. Он глядел возле себя, и он видел по привычке знакомые лица людей и беседовал с ними.

– Марья, что мужик-то, пишет тебе чего из-под Челябинска иль уж забыл тебя?

– Пишет, дедушка Тишка, – говорила Марья. – Намедни купон по почте получила, сто рублей денег прислал. Живет, пишет, сытно, да у нас-то, думается, на деревне, все ж таки сытнее будет. Пусть бы уж ко двору скорей ворочался: чего плотничать ходит на старости лет! Привык без семейства вольничать, вот и носит его нечистая сила!

– Объявится! – произносил Тишка в ответ женщине. – Не убудет, целым, кормленым придет...

– Дедушка Тишка! – кликал его из-за соседского плетня невидимый подросток Петрушка. – А что муравей, это тоже – как человек?

– Тоже, – отвечал Тишка. – Каждый по-своему человек.

– А тогда я, значит, тоже как муравей! – догадывался Петрушка.

– Ты муравей, – соглашался с ним старый Тишка.

Но, ответив мальчику Петрушке, дедушка Тишка услышал, что в пустом овине повторился его голос и в безмолвном завечеревшем воздухе кто-то еще раз пробормотал его слова; это было нелюдимое эхо. Все стало пусто, все жители уехали отсюда, и смертной жалостью к ним заболело сердце Тишки.

Он поднялся с крыльца и пошел на улицу, желая встретить там что-нибудь живое и знакомое – забытую курицу, кошку или воробья.

На улице никого не было; оставшиеся в деревне птицы и животные не привыкли жить без человека в такой тишине, и они, должно быть, ослабели и спрятались от страха или ушли вослед людям.

Но где не могло жить животное, старый человек жил. Он мог жить здесь одною тоскою об ушедших людях и ожиданием их возвращения, настолько его сердце было предано жизни.

Ночная тишина продолжалась, а в той стороне, куда шла русская земля, занялось зарево пожара.

«Это неприятель кругом меня охватывает, – подумал Тишка. – Потерплю покуда, а потом приму свои меры».

Тишка еще не знал в точности, какие он примет меры против силы врага, но он верил, что при нужде сразу со-

образит, что нужно ему делать, потому что врагу пора дать окорот, врагу нельзя отдавать землю с хлебом и добром. Иначе нечем будет жить народу и некуда будет людям возвратиться домой. Чтобы встретить неприятеля, Тишка вышел на околицу, на ту сторону деревни, откуда прежде всего мог появиться фашист, и лег там на ночь у дороги.

Ночью, высоко поверх Тишки, шли звезды по небу; дедушка видел их и думал:

«На покое живут; что у них там? – такое же положение жизни, как у нас, иль все-таки гораздо лучше; пускай горят подальше от нас, – может быть, хоть целыми останутся: будь они поближе, в них бы фашисты из пушек стреляли и потушили бы их, либо туда бы взобрались и затеяли там беду; нет, пусть уж они светят далеко и отдельно, чтоб их никто не достал!»

Успокоившись, что звезды навеки останутся нетронутыми, старый Тишка приподнял голову, глянул на пустую деревню, на тихое вечное поле, загоревал и уснул. Во сне он увидел, что он умер и лежит на столе в чужой большой избе, а незнакомые люди плачут по нем. От страха и печали Тишка проснулся.

«Это умершие люди меня к себе зовут, – разгадал старый Тишка свое сновидение. – Теперь многие молодыми помирают, вот они и ревнуют меня, старика, что я живой, а что мне помирать? – мне помирать пока что расчета нету!»

Было еще далеко до рассвета, но Тишка уже поднялся навстречу неприятелю. По-прежнему тишина хранила землю, однако уже наступила пора окоротить врага, покуда он не появился здесь, возле изб, с огнем и смертью.

Тишка взял посошок с земли, оставленный когда-то у

дороги неизвестным прохожим человеком, и пошел вперед, чтобы остановить врага и сразить его.

Дед шел между созревшими хлебами и бормотал в ожесточении:

– Вот оно, добро-то, поспело и стоит! Раньше-то чем был хлеб? И прежде он был дело святое. А теперь он сам сердцем нашим стал: как его пожжешь, как погубишь? Врагу-мучителю, то же самое, оставлять его нельзя: в хлебе вся сила, где ж она еще? Эх, матерь моя, не спросясь ты меня родила!..

Издали, из ночи, чуть тронутой рассветом, навстречу дедушке Тишке шел молчаливый темный человек.

Тишка оглянулся назад, на деревню; в сумраке раннего утра там стояли знакомые избы, и росистая влага пеленой неподвижного дыма занялась над ними, будто все печи в деревне с утра затопили на праздник.

Народ и сейчас был там своею душой и памятью – он был в этих избах и в хлебных полях вокруг них: в скупой и верной любви жизнь людей навек и неразлучно срослась здесь с хлебом, с землей и с добром, нажитым в постоянном труде, – и старый Тишка ничего не мог здесь пожечь или порушить, потому что это было бы то же самое, что убить народ.

Тишка одумался и пошел дальше вперед. Навстречу ему из предрассветного сумрака теперь шел не один темный человек, а много людей. Они спешили, и вскоре сразу все вместе они очутились возле Тишки. Двое из них уставили против Тишки ружья-автоматы, но дед был сердит на неприятелей еще прежде, чем они его увидели; он стукнул палкой о землю и крикнул на ближнего врага:

– Окоротись, жулик! Иль не видишь, кто тут такой находится?..

Маленького роста, с большой окладистой бородой, яростный и оскорбленный, стоял против врагов дедушка Тишка, чувствуя полную свою правомочность.

– Прочь назад отсюда! – воскликнул Тишка. – Ишь, нахальники, чего затеяли! Что за жизнь такая, скажи, пожалуйста: они народ наш губить пришли! Иль вы не понимаете ничего, – так я вас враз всему разуму научу!.. Опусти ружье, тебе говорю, пропащий ты человек!

И Тишка с молодым, затвердевшим от ненависти сердцем замахнулся своей дорожной палкой на ближнего немца и на всех их, сколько их было, – он их не считал.

– Отходи назад, беспортошные! Окорачивайся тут, пока цел.

И дедушка бросился в атаку на чужое войско: он знал, что злодей всегда робок и он действует лишь до тех пор, покуда его не пристрожит народ; Тишка понимал, что негодный человек слаб на душу и настоящей силы в сердце у него нет. И поэтому Тишка пошел на врага безопасно, как в кустарник. Сначала он бросился было на немцев как можно скорее, норовя изувечить каждого палкой по лицу, а потом отбросил палку и пошел на них спокойно; он решил их взять врукопашную.

– Вы без железок, без танков, без шума и грома, без хулиганства вашего воевать не можете! – воскликнул маленький дедушка Тишка. – А я и без палки, я безо всего могу, – я знаю вас, комариная куча! Ишь ты, они пугать нас тут пришли! Ишь ты, они народ побить захотели!.. А ну-ка, сторонись и кланяйся в землю!

Тишка зарычал на врага и нанес ближнему немцу удар в горло, так, что у неприятеля там заклокотало, а у дедушки осушилась рука.

Один немец удивленно и внимательно глядел на чужого русского старика и слушал его; может быть, думал он, это важный здешний человек, потому что он говорит сердито, как начальник, и хоть по росту маленький, а по званию, может быть, большой. Но другой немец, которого ударил Тишка, выстрелил в старика, и дедушка упал. Как всякий человек, Тишка не допускал, что он может однажды умереть; он предполагал, что как-нибудь вызволится от смерти, когда придет его срок. Тем более он не верил, что к нему придет смерть от чужой нечистой руки.

– Не может быть, поганец! – сказал или подумал сказать Тишка и стал забываться, приникнув к земле.

На него ступали тяжелые немцы, но он их уже не чувствовал. Он чувствовал маленькое горячее постороннее тело в своей груди, и оно жгло его, медленно остывая, и, чтобы остудить скорее смертную пулю, сам дедушка Тишка весь холодел.

– Совладаю! – решил Тишка, вовсе слабея, и, уже тоскуя от немощи, сонно и равнодушно подумал о смерти:

«Зря помираю: мне еще не время, – будь бы время!»

Он проснулся вечером, затемно, осторожно, недоверчиво огляделся вокруг: было все то же самое, что было, – земля была цела, по ней лежала дорога, возле дороги стояла некошеная рожь и вдали виднелись темные, нежилые избы. Тогда он подумал о себе; он почувствовал в груди резкое чужое железо, которое мешало ему дышать, точно железо там поворачивалось от вздоха; при каждом движении он

теперь вспоминал об этом железе, а раньше не помнил, что дышит. Но Тишка, удостоверившись в жизни, не боялся немецкого железа.

«Врастет, обживется, салом подернется, и я сам про него забуду, что есть оно, что нет».

Он встал, пошел обратно на свою деревню.

У последнего плетня ходил понемногу туда и сюда немец-часовой. Немец подпустил дедушку Тишку близко к себе; он думал, должно быть, что по малому росту это идет ребенок.

Тишка подошел к врагу и угадал в нем по лицу того неприятеля, которого он ударил в горло. Этот враг, стало быть, и убивал его насмерть.

Немец сначала уставился на Тишку, хотел что-то исполнить, но сразу занемог, оплошал и привалился к плетню. Дело было ночное, темное, сторона чужая, и фашист испугался увидеть живым мертвеца, того, кого он сам убил. Тишка понял слабость неприятеля и тронул его еще вдобавок для проверки рукой.

– Убитых боитесь, а с живыми воевать пришли! – сказал Тишка врагу. – Эка малоумные какие!

Старик пошел дальше по деревне. Повсюду в темных избах спали немцы и храпели во сне. «Тоже все одно и они храпят, – подумал Тишка, – могли бы и они людьми-крестьянами стать, да не стерпели: разбой-то он прибыльней пахоты».

Врагов в деревне теперь было много, больше, чем когда дедушка ходил на них в атаку. Они собрались, видно, сюда со всей округи на харчи и на отдых. Только они спали сейчас натощак, потому что народ убрал за собой и утаил

всю пищу и увел живность, и даже колодцы были засыпаны на погребение.

Тишка знал, что утром, как только немцы опознают его, то опять убьют.

– Эка смерть – вот тебе невидаль! – осерчал дедушка в своем размышлении. – Не всякая смерть тяжка, не всякая жизнь добра!

Тишка почесал ранку под рубашкой на груди: она теперь уже подживала, и пуля в теле чувствовалась небольно.

– Тратятся враги зря на меня! – посчитал старик чужой убыток и вышел на взгорье возле деревенской кузницы.

Там он стал на колени, обратился лицом к дворам и к избам и поклонился им в землю на прощанье. Все было кончено для него – жизнь окончена и окончена надежда, хотя он и был здравый и живой.

– Ну, теперь ты без меня один живи, добрый и умный! Я тебе больше не помощник! – вслух сказал дедушка Тишка, обращаясь к тому человеку, которого он любил всю жизнь и которого никогда не видел.

Тишка пошел в знакомое место, где лежала большой горой молоченая солома. Она свозилась туда уже три года, и в свое время дедушка Тишка делал возражение правлению колхоза, что это, стало быть, непорядок и упущение: солому тоже нужно было обратить в пользу. Но теперь он увидел, что и непорядок и упущение стали теперь для него пользой, он подошел к той соломе и остановился для соображения. Тишка хотел точно знать, откуда тянет воздухом и откуда надо поджигать, чтобы зажечь от той соломы всю родную деревню.

Тишка нашел укромное место и зажег кремнем и ог-

нивом ветхую солому; отсюда, он полагал, займется вся деревня: изба была близко, плетень подходил к самой соломе, и тут же, возле, находился колхозный овин. Все колодцы в деревне завалены, враги спят, и огонь будет свободно уничтожать добро народа, пока не дойдет до черной земли.

Старая, сухая деревня занялась по кровлям, по плетням, по всякой жилой ветоши, и полымя высоко взошло в тишину темного неба, и огонь начал отделяться от общего пламени и поплыл облаками в сторону неприятеля, освещая сверху всю бедную, страшную жизнь на земле.

Тишка отошел на время в поле и оттуда глядел, как огонь поедом ест избы деревни и как враги, не успевшие задохнуться во сне, выбегали наружу и отходили обратно туда, откуда пришли.

От горя и утомления Тишка лег возле ржи и уснул, а деревня сгорела огнем и дотлевала сама по себе.

Пробудившись среди дня, Тишка увидел на месте деревни мертвую черную землю. И Тишка почувствовал, что вместе с деревней у него в душе тоже умерла и умолкла прежняя сила, с которой он привык жить. Теперь он ослабел, и что-то отжило навсегда и словно поникло в его сердце.

Тишка пошел на место деревни, нашел там, где была улица, немецкую саперную лопату и начал рыть себе под жилье землянку; он стал работать в той же земле, на которой стояла вчера живой его изба. Земля еще не остыла и была теплой от огня.

Отрыв немного грунта, Тишка нашел сначала пятак денег, а потом оловянные серьги, которые носила когда-то

в молодости его покойная жена, и дедушка заплакал в своем воспоминании о ней.

В это время к нему исподволь, потихоньку подошел человек. Тишка оглянулся и опознал немца, и хотя у неприятеля было закопченное, похудевшее, чуждое лицо, но это был опять тот же самый враг, который уже убивал однажды его, Тишку-старика.

– Чего ты все ходишь тут, нечистая сила? – зашумел дедушка на немца.

Немец посмотрел на Тишку белыми, испуганными глазами и отошел прочь.

«Ошалел конопатый, – подумал Тишка. – Озорства в них и алчности много, а силы настоящей нету, нет – нету! Да откуда ж взяться у них настоящей силе-то? Неоткуда: ни одна живая душа не прильнет к ихнему делу, их дело для сердца непитательное!..»

К вечеру, к закату солнца, Тишка отрыл себе землянку и начал для уюта и удобства жизни стлать в ней траву, и опять в душе Тишки ожила умолкшая было сила, и слабость его сердца прошла, потому что он уже построил себе жилище и потому что не вечно будет горе разорения, а народ возвратится и нарождается вновь.

– Сказал – окорочу здесь неприятеля-врага, и окоротил! – произнес сам для себя дедушка Тишка. – Где он, враг, теперь? Его нету, а я тут!..

И с тех пор дедушка Тишка стал жить в своей землянке, но только сильно скучал и горевал по народу. Однако он знал, что раз земля осталась за народом, раз он уберег ее от врага, то в свое время все обратно возьмется от земли – и хлеб, и избы, и любое добро, – и от нее же вновь оживет и

повеселеет печальная, обиженная крестьянская душа. И народ пришел к дедушке Тишке вскорости, скорее, чем он ожидал его.

Еще не доспал Тишка третьей ночи в своей землянке, как на утренней заре к нему явились двое крестьян из дальней деревни и сказали, что они партизанские бойцы, а про Тишку они слышали от одного пленного немца, помешавшегося умом, что этот район неприятель называет «зоной мертвого старика», тут будто бы воюет против всех немцев один мертвый старик – и вот народные бойцы пришли сюда, чтобы узнать всю правду и поговорить по душам с мертвым стариком, если он живой.

Тишка долго и молча слушал двух крестьян, тоже пожилых людей, а потом объявил им:

– Что ж, идите все, сколь вас есть, сюда ко мне и вступайте под мою команду! Раз я старик мертвый – меня уж убить нельзя и одолеть то же самое! Вам со мной быть полезно, а мне – все одно...

«Это не мертвый старик, а хитрый боевой мужик, – подумали партизаны, – только ростом он слаб, ну, ничего, он зато сердцем сердитый». И они сказали ему, что он годится им в командиры, им нужен такой серьезный, сердитый, небоязливый человек, – и пускай их сейчас пока трое будет, после весь народ придет к ним, потому что больше ему идти некуда, как только домой, на свое родное место, где земля его вскормила, где лежат в могилах его родители.

Дедушка Тишка вздохнул, что мало еще у него войска, и вышел из землянки наружу. Он посмотрел на большое поле в сторону врага; там сейчас пылила дорога вдали,

видно, снова шли немцы оттуда.

– А вы помирать не боитесь? – спросил Тишка у своих бойцов, которые теперь переобувались в землянке.

– Нет, дедушка! Каждый день бояться – соскучишься, – сказал один боец, а другой вздохнул.

– Зря не боитесь! Это вы зря сказали! – произнес Тишка и тут же приказал им возвышенным голосом: – Смерти остерегайся и нипочем не помирай! Солдат не должен помирать, он должен победить, чтобы жить после войны, а то для кого же тогда жизнь? Войско тем и живо, что в смерть не верит, смерть – она полагается только неприятелю, а нам – нету смерти! Объявляю боевую тревогу, вылазь ко мне, окоротим врага!

СЕДЬМОЙ ЧЕЛОВЕК

1

Через фронт к нам пришел человек. Сначала он заплакал, потом осмотрелся, покушал пищи и успокоился.

Человек был одет худо – в черные тряпки, привязанные к туловищу веревками, и обут в солому. Мягкого тела у него осталось мало, не больше, чем на трупе давно умершего человека, – сохранились лишь кости, и вблизи них еще держалась его жизнь. По лицу его пошла темная синева, словно по нему выступила изморозь смерти, и оно у него не имело никакого обыкновенного выражения, и только всмотревшись в него, можно было понять, что в нем запечатлена грусть отчуждения ото всех людей, – грусть,

которую сам этот исстрадавшийся человек, должно быть, уже не чувствовал или чувствовал как свое обычное состояние.

Он жил, наверно, лишь по привычке жить, а не от желания, потому что у него отбирали и отчуждали все, чем он дышал, чем кормился и во что верил. Но он все еще жил и изнемогал терпеливо, точно до конца хотел исполнить завещание своей матери, родившей его для счастливой жизни, надеясь, что он не обманут ею, что мать не родила его на муку.

Уже душа его – последнее желание жизни, отвергающее гибель до предсмертного дыхания, – уже душа его явилась наружу из иссохших тайников его тела, и поэтому лицо его и опустевшие глаза были столь мало одушевлены какой-либо жизненной нуждою, что не означали ничего, и нельзя было определить характер этого человека, его зло и добро, – а он все жил.

По документам он значился Осипом Евсеевичем Гершановичем, уроженцем и жителем города Минска, 1894 года рождения, служившим ранее старшим плановиком в облкустпромсоюзе; но по жизни он был уже другим существом, может быть – святым великомучеником и героем человечества, может быть изменником человечества в защитной, непроницаемой маске мученика. В наше время, во время войны, когда враг решил умертвить беспокойное разноречивое человечество, оставив лишь его изможденный рабский остаток, – в наше время злодеяние может иметь вдохновенный и правдивый вид, потому что насилие вместило злодейство внутрь человека, выжав оттуда его старую священную сущность, и человек предается делу зла

сначала с отчаянием, а потом с верой и удовлетворением (чтобы не умереть от ужаса). Зло и добро теперь могут являться в одинаково вдохновенном, трогательном и прельщающем образе: в этом есть особое состояние нашего времени, которое прежде было неизвестно и неосуществимо; прежде человек мог быть способен к злодеянию, но он его чувствовал как свое несчастие и, миновавши его, вновь приникал к теплой привычной доброте жизни; нынче же человек насильно доведен до способности жить и согреваться самосожжением, уничтожая себя и других.

2

Гершанович к нам пришел при помощи партизан, которых удивил и заинтересовал столь редкий человек, – редкий даже для них, испытавших всю свою судьбу, – способный вместить в себя смерть и стерпеть ее; они его провели, укрывая собою, и пронесли на руках мимо укрепленных очагов противника, чтобы он отошел сердцем от страдания, от самого воспоминания о нем и стал жить обыкновенно.

Речь Гершановича походила на речь человека, находящегося в сновидении, точно главное его сознание было занято в невидимом для нас мире, и до нас доходил лишь слабый свет его удаленных мыслей. Он назвал себя седьмым человеком и говорил, что с ручной гранаты он не подвинул предохранителя, потому что предохранитель был тугой и было некогда его двигать, а тугим предохранитель оказался оттого, что работа отдела технического контроля поставлена не на должную высоту, не так, как в его Минском облкустпромсоюзе.

Затем Гершанович говорил нам более ясно, что он брал домой вечернюю работу; ему нужны были деньги, потому что детей он нарожал пять человек и все его дети росли здоровыми, ели помногу, и он радовался, что они поедают его труд без остатка, и он приучал себя спать мало, чтобы хватало времени на сверхурочную работу; но теперь ему можно было спать долго и ему можно даже умереть – кормить ему больше некого: все его дети, жена и бабушка лежат в глиняной могиле возле Борисовского концлагеря, и там еще с ними лежат вдобавок пятьсот человек, тоже убитых, – все они голые, но сверху они покрыты землей, летом там будет трава, зимой лежит снег, и им не будет холодно.

– Они согреются, – говорит Гершанович. – Скоро и я к ним приду, я соскучился без семьи, мне ходить больше некуда, я хочу проведать их могилу...

– Живи с нами, – пригласил его один красноармеец.

– Я буду здесь жить, а они будут там не жить! – воскликнул Гершанович. – Им так нехорошо, им невыгодно – где же правда?.. Нет, я пойду к ним через смерть во второй раз. Один раз не дошел, теперь опять пойду.

И он вдруг вздрогнул от темного воспоминания:

– И опять я не умру. Убивать буду, а сам не умру.

– Почему? Это как придется, – сказал ему слушавший его красноармеец.

– Так опять придется, – произнес Гершанович. – Фашисту жалко смерти, он скупой, он одну смерть нам на семерых давал – это я им такую рационализацию изобрел, а теперь еще меньше будет давать: немец бедный стал.

Мы не поняли тогда, что хотел сказать Гершанович, мы подумали: пусть он бормочет.

Вскоре к нам пришли четверо партизан. Они, оказывается, давно знали Гершановича как бойца партизанской бригады имени N и сказали нам, что Гершанович – это великий мудрец и самый умелый партизан в своей бригаде. Семья его действительно была расстреляна под Борисовом, когда там расстреляли сразу полтысячи душ, во избежание едоков и евреев.

– А его самого смерть ни разу не взяла, хоть он и не прочь, – сказал один новоприбывший партизан. – Оно понять можно – почему это так: Осип Евсеич человек умный, и смерть ему нужна не глупее его, а фашист воюет шумно, бьет по дурости, – это еще нам не погибель... В Минске Осипу Евсеичу пуля прямо в голову шла – и с ближнего прицела, – а в голову внутрь она не вошла, он ее заранее мыслью упредил...

Мы сказали, что этого не может быть.

– Может, – сказал партизан. – Это кто как воюет. Если воевать умело, то – может быть.

В доказательство он первый попробовал пальцами затылок у Гершановича; потом то же место попробовали мы – там под волосами была вмятина в черепе от глубокого ранения.

3

Поживши еще немного с нами, поев хорошей пищи, Гершанович стал более разумным и обыкновенным на вид, и тогда он снова ушел в дальний тыл врага, вместе с четырьмя партизанами. Он хотел вторично пройти тою же дорогой, где его не одолела смерть, где он не довершил своей победы, и потом вернуться к нам в скором времени.

Одетый в белорусскую свитку, обутый в лапти и вооруженный, Гершанович ушел ночью во тьму врага, ради его гибели и ради того, чтобы проведать своих мертвых детей.

Дойдя до Минска по партизанским дорогам, Гершанович отошел от своих спутников и снова, как и в первое свое путешествие, вышел в сумерки на окраину города. Он шел одиноко в тихом сознании, понимая мир вокруг себя как грустную сказку или сновидение, которое может навсегда миновать его. Он уже привык к безлюдию, к смертным руинам немецкого тыла и к постоянному ознобу человеческого тела, еще бредущего здесь живым.

Гершанович пошел мимо лагеря для русских военнопленных. Там за проволокой никого сейчас не было видно. Потом поднялся вдали русский солдат и пошел к проволоке. Он был одет в обгорелую шинель и без шапки, одна нога его была босая, другая обернута в тряпку, и он шел по снегу. Двигаясь на истощенных, трудных ногах, он бормотал что-то в бреду, – слова своей вечной разлуки с жизнью; затем он опустился на руки и лег вниз лицом.

У въезда в лагерь было людно. «И тогда было людно, – вспомнил Гершанович, – здесь всегда есть люди».

На скамье, возле контрольной будки часового, сидели двое фашистов, это были старшие стражники из гестапо. Они молча курили трубки и улыбались тому, что видели перед собой.

Двое русских пленных в исправной воинской одежде и сытые на лицо гнали из лагеря других двоих людей, тоже русских пленных, но столь исхудалых, ветхих и равнодушных, что они казались уже умершими, бредущими вперед чужою силой.

Фашисты сказали что-то русским, и те двое, что были исправны на вид, толкнули двух своих товарищей, которые покорно упали, потому что они были беспомощными от слабости. Потом двое кормленых русских насильно подняли ослабевших и бросили их оземь. Затем сытые русские остановились в ожидании, желая отдохнуть. Немцы закричали им, что нужно трудиться далее, пока из слабых и ненужных выйдет весь дух жизни. Кормленые изменники исполнительно приподняли изнемогших красноармейцев и вновь бросили их головой на мерзлые кочки.

Фашисты засмеялись и велели работать скорее. Гершанович стоял в отдалении и смотрел; он понимал, что это убийство происходит ради экономии патронов, на которые немцы в тылу очень скупы, и, кроме того, фашистам из убийства необходимо было сделать воспитательное назидание для еще живых пленников.

Изнутри лагеря к воротам подошли пять человек пленных и безмолвно глядели на смертное истязание своих товарищей. Немцы их не прогоняли; они смотрели на русских с улыбкой привычной, почти равнодушной ненависти, приказав теперь работать изменникам реже. Но тем работать теперь было уже бессмысленно: они приподымали с земли и вновь бросали на кочки одни трупы с размозженными головами, с запекшейся охладелой кровью; люди, должно быть, скончались от внутреннего изнеможения, еще когда их ударили о землю первый раз: в них уже нечем было держаться дыханию. Однако фашисты продолжали эту казнь трупов, желая, чтобы ее воспитательное значение проявилось для живых в свою полную пользу.

Гершанович тихо направился к сидевшим на скамье немцам. К ним же в то же время подошли уставшие изменники и, вытянувшись, попросили добавочных харчей к пайку, что им полагалось за службу.

Немцы молча усмехались: затем один ответил им, что надбавки к пайку больше не будет: на хлебный обоз напали партизаны, и теперь нужно взять хлеб у партизан обратно. Ступайте в наш карательный корпус, сказали фашисты, и отбирайте хлеб у партизан, тогда будете сыты, а у нас хлеба для вас нету...

Гершанович подвинул чеку на гранате под полой своей свитки и с ближней дистанции, с точностью метнул гранату в четверых врагов.

Граната яростно рванулась огнем, словно вскрикнула последним голосом человека, и враги людей, замерев на мгновение неподвижно, пали затем к земле.

В прошлый раз у другого въезда в этот же лагерь граната у Гершановича не взорвалась, он только разбил ею голову одного врага, как мертвым куском металла, но теперь он обрадовался и с удовлетворенной душой побежал прочь.

Однако часовой в контрольной будке остался живым; он начал стрелять вслед Гершановичу и в воздух.

Пять вооруженных самооборонцев появились из павильона, где когда-то продавались прохладительные напитки, и с шумом, крича друг на друга, чтобы не испугаться самим, напали на Гершановича и обезоружили его.

Осипа Гершановича доставили в районную комендатуру, где он уже однажды бывал. Здесь в подвале каждых шестерых людей расстреливали одной пулей – так нужно было для экономии боеприпасов. Для того всех шестерых ставили близко в затылок друг другу, а в один рост их подравнивали тем, что маломерным подкладывали под ноги чьи-то сочинения в толстых книгах.

В комендатуре у Гершановича спросили – будет ли он что-нибудь говорить, чтобы остаться живым. Гершанович ответил, что, наоборот, говорить он не будет ничего, так как желает умереть, и не следует его мучить избиением – не потому, что не надо, а чтобы не тратить напрасно силу полевой жандармерии, чтобы в солдатах осталось целой лапша с бараниной, которую они кушают за счет государства.

Офицер, возможно, подумал, что слова Гершановича разумны, и он велел увести его. Однако Гершанович, пока не был мертвым, жил, и боролся, и надеялся победить.

Этот офицер был не тот, который допрашивал Гершановича в первый раз, поэтому Гершанович вторично предложил свое изобретение: можно одной пулей убивать не шестерых, а семерых, седьмой умирает не сразу, а потом, но тоже все равно умирает, для государства же получается экономия на огне в четырнадцать процентов.

– Седьмой не погибает, – сказал офицер. – Пробойная сила пули значительно ослабевает уже в шестой голове. Мне докладывали, что раньше здесь пробовали ставить седьмого, он уцелел и скрылся из незарытой могилы, раненный в затылок.

– Он умел уцелеть, – разъяснил Гершанович, – он был понимающий, и то голова его болела, ему ее повредили. Я знаю!

– Кто это был? – спросил офицер.

– А я знаю кто? Мало ли кто: жил один человек, жил мало, его убивали, он опять жил и умер сам, скучал по семейству...

Офицер подумал:

– Испытаем новый выпуск модернизированного мушкета – вы будете седьмым, но для опыта я поставлю и восьмого.

– Ну, конечно! – охотно согласился Гершанович.

– Интересно, – говорил офицер, – в мозгу ли у вас останется пуля или пробьет в лоб и выйдет в восьмого? У этих мушкетов жесткий огонь, но их пробойная сила неизвестна...

– Это интересно, – сказал Гершанович, – мы с вами это узнаем, – и подумал про офицера, что он глупый человек; затем конвойный солдат увел узника.

5

В общей камере, населенной будущими покойниками, шла обычная жизнь: люди чинили одежду, беседовали, спали или размышляли о том, какая у них есть жизнь и какая она должна быть по мировой правде. Камера не имела окон; круглые сутки в ней горела маленькая керосиновая лампа, и только вновь прибывший заключенный мог сказать время, но вскоре время опять забывали, о нем спорили, и никому не известно было достоверно – день или ночь идет на свете, а это всех интересовало.

Гершанович нашел себе место на полу и лег отдохнуть; его беспокоила теперь мысль – кто будет восьмым на расстреле; ему, этому восьмому, обеспечено верное спасение, если восьмой не окажется трусом или глупым человеком. «Плохо, – думал Гершанович. – Его пуля ударит слабо, если меня она убьет, – ну она кость ему может повредить, только и всего, – а он подумает, что его убило, и умрет от страха и сознания».

Прошло немного времени; Гершанович еще не успел отдохнуть, но всей камере уже велели выходить. Гершанович этого ожидал; он знал по первому разу, что немцы долго не содержат назначенных к смерти, чтобы не кормить их и не поить и вообще не думать о них, тратя напрасно размышление.

Второй раз в жизни опускался Гершанович по тем же темным каменным ступеням на смерть в подземелье. Он не узнал среди своих товарищей, шедших с ним на гибель, ни одного знакомого лица, и по их словам он догадался, что этих людей недавно привезли из Польши.

Ефрейтор сосчитал восемь человек, и в их числе Гершановича, шедшего вторым, а прочих оставил на лестнице.

В подвале светил робкий свет одинокой свечи, и возле света стоял тот офицер, который допрашивал Гершановича. Офицер, любитель оружия, рассматривал какую-то укороченную винтовку. «Все выгадывают на пользе, экономике, – рассудил Гершанович. – А нам экономить нельзя, пусть две пули на каждого немца придется, и то будет доход!»

Ефрейтор начал устанавливать заключенных в затылок.

– Я седьмой! – загодя напомнил Гершанович.

– Первым не хочешь умирать? – спросил ефрейтор. – Перехитрить нас хочешь? Умирай седьмым, по льготе, положи себе кирпич под ноги, у тебя роста не хватает.

Гершанович положил кирпич под ноги и встал на свое смертное место. Он посмотрел на восьмого, последнего человека – перед ним была лысина старика, покрытая пухом младенчества.

«Будет смерть, – сообразил Осип Гершанович. – А что такое? Здесь я жил неплохо; на тот свет попаду – и там буду стараться быть, и там мне будет хорошо, и детей своих увижу. А если ничего там нет, так, значит, я буду как мои мертвые дети, наравне с ними, – и это будет тоже хорошо и справедливо: зачем я живой, раз в земле мое убитое сердце?»

– Готово? – спросил офицер. – Дышите глубже! – приказал он заключенным и затем пообещал им. – Сейчас вы уснете сладким детским сном!

Гершанович, наоборот, перестал дышать и прислушался в наступившей тишине, желая услышать для своего развлечения выстрел; но он его не услышал и сразу сладко уснул: добрый ум его забылся сам по себе, обороняя человека от безнадежности.

Проснувшись, Гершанович попробовал свой лоб – он был гладкий и чистый. «Пуля у меня в уме», – решил человек. Тогда он попробовал свой затылок и нащупал там лишь старую вмятину прежнего увечья. «Я все еще живой, я на этом свете, я же так и думал, – размышлял узник. – Их новый мушкет – это не изобретение, их начинка патрона слаба, я так и знал. Ну скольких они убили одной пулей? Ну троих, четверых, наверно, а прежде до меня, до шестого, пуля доходила: слабеет враг людей, слабеет – я чувствую!»

Гершанович, лежа, пригляделся в сумраке, еще озаренном тайным, еле дышащим, вздрагивающим издали светом. Возле него лежал его передний сосед – лысый старик с детским пухом на чистой коже головы. Гершанович приложил свою руку к голове старика; голова его остыла, и весь человек умер, хотя он и не был поврежден ничем. «Вот я и думал – не нужно пугаться, – решил Гершанович. – От испуга может свет кончиться, а что тогда будет? Не нужно пугаться!»

Он сообразил, где находится; это было подземелье, где их, восьмерых людей, расстреливали, и свеча еще вдали не догорела. «Плохо, что мы тут, – рассуждал Гершанович. – Будет смерть. Ну что ж! Перед смертью тоже бывает немного жизни. В прошлый раз меня увезли в могилу, оттуда можно было жить...»

К нему склонился офицер. Гершанович почувствовал его по чужому дыханию, по смрадной нечистоте его внутренности, выносимой с дыханием наружу.

– Ну, как это у вас большевики говорят? – сказал офицер. – Не вышло?! Седьмым стал в очередь, жить захотелось еврею!

– По-моему, это у вас не вышло, – ответил Гершанович, – я живой!

– Ты уже мертвый! – определил офицер и наставил в лоб Гершановичу дуло своего личного маленького револьвера.

Гершанович поглядел в бледные, изжитые тайным отчаянием глаза офицера и сказал ему:

– Палите в меня... Здесь у меня жизнь, а там мои дети – у меня везде есть добро, мне везде хорошо... Мы здесь были

людьми, человечеством, а там мы будем еще выше, мы будем вечной природой, рождающей людей...

Пуля вошла в глаз Гершановичу, и он замер; но еще долгое время тело его было теплым, медленно прощаясь с жизнью и отдавая обратно земле свое тепло.

6

Спустя много времени к нам через фронт явился пожилой партизан и рассказал нам эту историю гибели Гершановича. Он был восьмым, последним человеком в очереди смертников, а впереди него стоял Гершанович. Он сумел настолько сподобиться мертвым и настолько сократил свое дыхание, что даже остыл телом, и тем обманул, ради жизни, немецкого офицера и даже ввел в заблуждение пробовавшего его затылок Гершановича.

Свеча в подземелье потухла, другой зажигать не стали, и этот старик, без точной проверки его смерти, был свезен и брошен в овраг вместе с истинными покойниками, а затем тихо ушел оттуда. Из экономии рабочей силы фашисты не всегда роют могилы, в особенности зимой – в мерзлом грунте.

НЕОДУШЕВЛЕННЫЙ ВРАГ

Человек, если он проживет хотя бы лет до двадцати, обязательно бывает много раз близок к смерти или даже переступает порог своей гибели, но возвращается обратно к жизни. Некоторые случаи своей близости к смерти человек помнит, но чаще забывает их или вовсе оставляет их не-

замеченными. Смерть вообще не однажды приходит к человеку, не однажды в нашей жизни она бывает близким спутником нашего существования, но лишь однажды ей удается неразлучно овладеть человеком, который столь часто на протяжении своей недолгой жизни – иногда с небрежным мужеством – одолевал ее и отдалял от себя в будущее. Смерть победима, во всяком случае, ей приходится терпеть поражение несколько раз, прежде чем она победит один раз. Смерть победима, потому что живое существо, защищаясь, само становится смертью для той враждебной силы, которая несет ему гибель. И это высшее мгновение жизни, когда она соединяется со смертью, чтобы преодолеть ее, обычно не запоминается, хотя этот миг является чистой, одухотворенной радостью.

Недавно смерть приблизилась ко мне на войне: воздушной волной от разрыва фугасного снаряда я был приподнят в воздух, последнее дыхание подавлено было во мне, и мир замер для меня, как умолкший, удаленный крик. Затем я был брошен обратно на землю и погребен сверху ее разрушенным прахом. Но жизнь сохранилась во мне; она ушла из сердца и оставила темным мое сознание, однако она укрылась в некоем тайном, может быть последнем, убежище в моем теле и оттуда робко и медленно снова распространилась во мне теплом и чувством привычного счастья существования.

Я отогрелся под землею и начал сознавать свое положение. Солдат оживает быстро, потому что он скуп на жизнь и при этой малой возможности он уже снова существует; ему жалко оставлять не только все высшее и священное, что есть на земле и ради чего он держал оружие, но

даже сытную пищу в желудке, которую он поел перед сражением и которая не успела перевариться в нем и пойти на пользу. Я попробовал отгрестись от земли и выбраться наружу; но изнемогшее тело мое было теперь непослушным, и я остался лежать в слабости и во тьме; мне казалось, что и внутренности мои были потрясены ударом взрывной волны и держались непрочно, им нужен теперь покой, чтобы они приросли обратно изнутри к телу; сейчас же мне больно было совершить даже самое малое движение; даже для того, чтобы вздохнуть, нужно было страдать и терпеть боль, точно разбитые острые кости каждый раз впивались в мякоть моего сердца. Воздух для дыхания доходил до меня свободно через скважины в искрошенном прахе земли; однако жить долго в положении погребенного было трудно и нехорошо для живого солдата, поэтому я все время делал попытки повернуться на живот и выползти на свет. Винтовки со мной не было, ее, должно быть, вышиб воздух из моих рук при контузии, значит, я теперь вовсе беззащитный и бесполезный боец. Артиллерия гудела невдалеке от той осыпи праха, в которой я был схоронен; я понимал по звуку, когда били наши пушки и пушки врага, и моя будущая судьба зависела теперь от того, кто займет эту разрушенную, могильную землю, в которой я лежу почти без сил. Если эту землю займут немцы, то мне уж не придется выйти отсюда, мне не придется более поглядеть на белый свет и на милое русское поле.

Я приноровился, ухватил рукою корешок какой-то былинки, повернулся телом на живот и прополз в сухой раскрошенной земле шаг или полтора, а потом опять лег лицом в прах, оставшись без сил. Полежав немного, я опять

приподнялся, чтобы ползти помаленьку дальше на свет. Я громко вздохнул, собирая свои силы, и в это же время услышал близкий вздох другого человека.

Я протянул руку в комья и сор земли и нащупал пуговицу и грудь неизвестного человека, так же погребенного в этой земле, что и я, и так же, наверно, обессилевшего. Он лежал почти рядом со мною, в полметре расстояния, и лицо его было обращено ко мне, я это установил по теплым легким волнам его дыхания, доходившим до меня. Я спросил неизвестного по-русски, кто он такой и в какой части служит. Неизвестный молчал. Тогда я повторил свой вопрос по-немецки, и неизвестный по-немецки ответил мне, что его зовут Рудольф Оскар Вальц, что он унтер-офицер 3-й роты автоматчиков из батальона мотопехоты. Затем он спросил меня о том же, кто я такой и почему я здесь. Я ответил ему, что я русский рядовой стрелок и что я шел в атаку на немцев, пока не упал без памяти. Рудольф Оскар Вальц умолк; он, видимо, что-то соображал, затем резко пошевелился, опробовал рукою место вокруг себя и снова успокоился.

– Вы свой автомат ищете? – спросил я у немца.

– Да, – ответил Вальц. – Где он?

– Не знаю, здесь темно,– сказал я,– и мы засыпаны землею. Пушечный огонь снаружи стал редким и прекратился вовсе, но зато усилилась стрельба из винтовок, автоматов и пулеметов.

Мы прислушались к бою; каждый из нас старался понять, чья сила берет перевес – русская или немецкая и кто из нас будет спасен, а кто уничтожен. Но бой, судя по выстрелам, стоял на месте и лишь ожесточался и гремел все

более яростно, не приближаясь к своему решению. Мы находились, наверно, в промежуточном пространстве боя, потому что звуки выстрелов той и другой стороны доходили до нас с одинаковой силой, и вырывающаяся ярость немецких автоматов погашалась точной, напряженной работой русских пулеметов. Немец Вальц опять заворочался в земле; он ощупывал вокруг себя руками, отыскивая свой потерянный автомат.

– Для чего вам нужно сейчас оружие? – спросил я у него.

– Для войны с тобою, – сказал мне Вальц – А где твоя винтовка?

– Фугасом вырвало из рук, – ответил я. – Давай биться врукопашную.

Мы подвинулись один к другому, и я его схватил за плечи, а он меня за горло. Каждый из нас хотел убить или повредить другого, но, надышавшись земляным сором, стесненные навалившейся на нас почвой, мы быстро обессилели от недостатка воздуха, который был нам нужен для частого дыхания в борьбе, и замерли в слабости. Отдышавшись, я потрогал немца – не отдалился ли он от меня, и он меня тоже тронул рукой для проверки. Бой русских с фашистами продолжался вблизи нас, но мы с Рудольфом Вальцем уже не вникали в него; каждый из нас вслушивался в дыхание другого, опасаясь, что тот тайно уползет вдаль, в темную землю, и тогда трудно будет настигнуть его, чтобы убить.

Я старался как можно скорее отдохнуть, отдышаться и пережить слабость своего тела, разбитого ударом воздушной волны; я хотел затем схватить фашиста, дышащего

рядом со мной, и прервать руками его жизнь, превозмочь навсегда это странное существо, родившееся где-то далеко, но пришедшее сюда, чтобы погубить меня. Наружная стрельба и шорох земли, оседающей вокруг нас, мешали мне слушать дыхание Рудольфа Вальца, и он мог незаметно для меня удалиться. Я понюхал воздух и понял, что от Вальца пахло не так, как от русского солдата, от его одежды пахло дезинфекцией – и какой-то чистой, но неживой химией; шинель же русского солдата пахла обычно хлебом и обжитою овчиной. Но и этот немецкий запах Вальца не мог бы помочь мне все время чувствовать врага, что он здесь, если б он захотел уйти, потому что, когда лежишь в земле, в ней пахнет еще многим, что рождается и хранится в ней, и корнями ржи, и тлением отживших трав, и сопревшими семенами, зачавшими новые былинки, и поэтому химический мертвый запах немецкого солдата растворялся в общем густом дыхании живущей земли.

Тогда я стал разговаривать с немцем, чтобы слышать его.

– Ты зачем сюда пришел? – спросил я у Рудольфа Вальца. – Зачем лежишь в нашей земле?

– Теперь это наша земля. Мы, немцы, организуем здесь вечное счастье, довольство, порядок, пищу и тепло для германского народа, с отчетливой точностью и скоростью ответил Вальц.

– А мы где будем? – спросил я. Вальц сейчас же ответил мне:

– Русский народ будет убит, – убежденно сказал он. – А кто останется, того мы прогоним в Сибирь, в снега и в лед, а кто смирный будет и признает в Гитлере божьего сына,

тот пусть работает на нас всю жизнь и молит себе прощение на могилах германских солдат, пока не умрет, а после смерти мы утилизируем его труп в промышленности и простим его, потому что больше его не будет.

Все это было мне приблизительно известно, в желаниях своих фашисты были отважны, но в бою их тело покрывалось гусиной кожей, и, умирая, они припадали устами к лужам, утоляя сердце, засыхающее от страха... Это я видел сам не однажды.

– Что ты делал в Германии до войны? – спросил я далее у Вальца. И он с готовностью сообщил мне:

– Я был конторщиком кирпичного завода «Альфред Крейцман и сын». А теперь я солдат фюрера, теперь я воин, которому вручена судьба всего мира и спасение человечества.

– В чем же будет спасение человечества? – спросил я у своего врага. Помолчав, он ответил:

– Это знает один фюрер.

– А ты? – спросил я у лежащего человека.

– Я не знаю ничего, я не должен знать, я меч в руке фюрера, созидающего новый мир на тысячу лет.

Он говорил гладко и безошибочно, как граммофонная пластинка, но голос его был равнодушен. И он был спокоен, потому что был освобожден от сознания и от усилия собственной мысли. Я спросил его еще:

– А ты сам-то уверен, что тогда будет хорошо? А вдруг тебя обманут?

Немец ответил:

– Вся моя вера, вся моя жизнь принадлежит Гитлеру.

– Если ты все отдал твоему Гитлеру, а сам ничего не

думаешь, ничего не знаешь и ничего не чувствуешь, то тебе все равно – что жить, что не жить, – сказал я Рудольфу Вальцу и достал его рукой, чтобы еще раз побиться с ним и одолеть его.

Над нами, поверх сыпучей земли, в которой мы лежали, началась пушечная канонада. Обхватив один другого, мы с фашистом ворочались в тесном комковатом грунте, давящем нас. Я желал убить Вальца, но мне негде было размахнуться, и, ослабев от своих усилий, я оставил врага; он бормотал мне что-то и бил меня в живот кулаком, но я не чувствовал от этого боли.

Пока мы ворочались в борьбе, мы обмяли вокруг себя сырую землю, и у нас получилась небольшая удобная пещера, похожая и на жилище и на могилу, и я лежал теперь рядом с неприятелем. Артиллерийская пальба наружи вновь переменилась; теперь опять стреляли лишь автоматы и пулеметы; бой, видимо, стоял на месте без решения, он забурился, как говорили красноармейцы-горняки.

Выйти из земли и уползти к своим мне было сейчас невозможно, только даром будешь подранен или убит. Но и лежать здесь во время боя бесполезно – для меня было совестно и неуместно. Однако под руками у меня был немец, я взял его за ворот, рванул противника поближе к себе и сказал ему.

– Как же ты посмел воевать с нами? Кто же вы такие есть и отчего вы такие?

Немец не испугался моей силы, потому что я был слаб, но он понял мою серьезность и стал дрожать. Я не отпускал его и держал насильно при себе; он припал ко мне и тихо произнес:

– Я не знаю...

– Говори – все равно! Как это ты не знаешь, раз на свете живешь и нас убивать пришел! Ишь ты, фокусник! Говори, нас обоих, может, убьет и завалит здесь, я хочу знать!

Бой поверх нас шел с равномерностью неспешной работы: обе стороны терпеливо стреляли; ощупывая одна другую для сокрушительного удара.

– Я не знаю,– повторил Вальц. – Я боюсь. Я вылезу сейчас. Я пойду к своим, а то меня расстреляют: обер-лейтенант скажет, что я спрятался во время боя.

– Ты никуда не пойдешь! – предупредил я Вальца – Ты у меня в плену!

– Немец в плену бывает временно и короткий срок, а у нас все народы будут в плену вечно! – отчетливо и скоро сообщил мне Вальц – Враждебные народы, берегите и почитайте пленных германских воинов! – воскликнул он вдобавок, точно обращался к тысячам людей.

– Говори, – приказал я немцу, – говори, отчего ты такой непохожий на человека, отчего ты нерусский.

– Я нерусский потому, что рожден для власти и господства под руководством Гитлера! – с прежней быстротой и заученным убеждением пробормотал Вальц; но странное безразличие было в его ровном голосе, будто ему самому не в радость была его вера в будущую победу и в господство надо всем миром. В подземной тьме я не видел лица Рудольфа Вальца, и я подумал, что, может быть, его нет, что мне лишь кажется, что Вальц существует, – на самом же деле он один из тех ненастоящих, выдуманных людей, в которых мы играли в детстве и которых мы воодушевляли своей жизнью, понимая, что они в нашей власти и живут

лишь нарочно. Поэтому я приложил свою руку к лицу Вальца, желая проверить его существование; лицо Вальца было теплое, значит, этот человек действительно находился возле меня.

– Это все Гитлер тебя напугал и научил, – сказал я противнику. – А какой же ты сам по себе?

Я расслышал, как Вальц вздрогнул и вытянул ноги строго, как в строю.

– Я не сам по себе, я весь по воле фюрера! – отрапортовал мне Рудольф Вальц.

– А ты бы жил по своей воле, а не фюрера! – сказал я врагу. – И прожил бы ты тогда дома до старости лет, и не лег бы в могилу в русской земле.

– Нельзя, недопустимо, запрещено, карается по закону! – воскликнул немец. Я не согласился:

– Стало быть, ты что же, ты ветошка, ты тряпка на ветру, а не человек!

– Не человек! – охотно согласился Вальц. – Человек есть Гитлер, а я нет. Я тот; кем назначит меня быть фюрер!

Бой сразу остановился на поверхности земли, и мы, прислушиваясь к тишине, умолкли. Все стало тихо, будто бившиеся люди разошлись в разные стороны и оставили место боя пустым навсегда. Я насторожился, потому что мне теперь было страшно; прежде я постоянно слышал стрельбу своих пулеметов и винтовок, и я чувствовал себя под землей спокойно, точно стрельба нашей стороны была для меня успокаивающим гулом знакомых, родных голосов. А сейчас эти голоса вдруг сразу умолкли.

Для меня наступила пора пробираться к своим, но прежде следовало истребить врага, которого я держал своей рукой.

– Говори скорей! – сказал я Рудольфу Вальцу. – Мне некогда тут быть с тобой.

Он понял меня, что я должен убить его, и припал ко мне, прильнув лицом к моей груди. И втихомолку, но мгновенно он наложил свои холодные худые руки на мое горло и сжал мне дыхание. Я не привык к такой манере воевать, и мне это не понравилось. Поэтому я ударил немца в подбородок, он отодвинулся от меня и замолк.

– Ты зачем так нахально действуешь! – заявил я врагу. – Ты на войне сейчас, ты должен быть солдатом, а ты хулиганишь. Я сказал тебе, что ты в плену, – значит, ты не уйдешь, и не: царапайся!

– Я обер-лейтенанта боюсь, – прошептал неприятель. – Пусти меня, пусти меня скорей – я в бой пойду, а то обер-лейтенант не поверит мне, он скажет, – я прятался, и велит убить меня. Пусти меня, я семейный. Мне одного русского нужно убить.

Я взял врага рукою за ворот и привлек его к себе обратно.

– А если ты не убьешь русского?

– Убью, – говорил Вальц. – Мне надо убивать, чтобы самому жить. А если я не буду убивать, то меня самого убьют или посадят в тюрьму, а. там тоже умрешь от голода и печали, или на каторжную работу осудят – там скоро обессилеешь, состаришься и тоже помрешь.

– Так тебя тремя смертями сзади пугают, чтобы ты одной впереди не боялся, – сказал я Рудольфу Вальцу.

– Три смерти сзади, четвертая смерть впереди! – сосчитал немец. – Четвертой я не хочу, я сам буду убивать, я сам буду жить! – вскричал Вальц. Он теперь он боялся меня, зная, что я безоружный, как и он.

– Где, где ты будешь жить? – спросил я у врага. – Гитлер гонит тебя вперед страхом трех смертей, чтобы ты не боялся одной четвертой. Долго ли ты проживешь в промежутке между своими тремя смертями и нашей одной?

Вальц молчал; может быть, он задумался. Но я ошибся – он не думал.

– Долго, – сказал он. – Фюрер знает все, он считал – мы вперед убьем русский народ, нам четвертой смерти не будет.

– А если тебе одному она будет? – поставил я дурному врагу. – Тогда ты как обойдешься?

– Хайль Гитлер! – воскликнул Вальц. – Он не оставит мое семейство: он даст хлеб жене и детям хоть по сто граммов на один рот.

– И ты за сто граммов на едока согласен погибнуть?

– Сто граммов – это тоже можно тихо, экономно жить, – сказал лежачий немец.

– Дурак ты, идиот и холуй, – сообщил я неприятелю. – Ты и детей своих согласен обречь на голод ради Гитлера.

– Я вполне согласен, – охотно и четко сказал Рудольф Вальц. – Мои дети получат тогда вечную благодарность и славу отечества.

– Ты совсем дурной, – сказал я немцу, – целый мир будет кружиться вокруг одного ефрейтора?

– Да, – сказал Вальц, – он будет кружиться, потому что он будет бояться.

– Тебя, что ль? – спросил я врага.

– Меня, – уверенно ответил Вальц.

– Не будет он тебя бояться, – сказал я противнику. – Отчего ты такой мерзкий?

– Потому что фюрер Гитлер теоретически сказал, что человек есть грешник и сволочь от рождения. А как фюрер ошибаться не может, значит, я тоже должен быть сволочью.

Немец вдруг обнял меня и попросил, чтоб я умер.

– Все равно ты будешь убит на войне, – говорил мне Вальц. – Мы вас победим, и вы жить не будете. А у меня трое детей на родине и слепая мать. Я должен быть храбрым на войне, чтоб их там кормили. Мне нужно убить тебя, тогда обер-лейтенант будет и он даст обо мне хорошие сведения. Умри, пожалуйста. Тебе все равно не надо жить, тебе не полагается. У меня есть перочинный нож, мне его подарили, когда я кончил школу, я его берегу... Только давай скорее – я соскучился в России, я хочу в свой святой фатерлянд, я хочу домой в свое семейство, а ты никогда домой не вернешься...

Я молчал; потом я ответил:

– Я не буду помирать за тебя,

– Будешь! – произнес Вальц. – Фюрер сказал: русским – смерть. Как же ты не будешь!

– Не будет нам смерти! – сказал я врагу, и с беспамятством ненависти, возродившей мощность моего сердца, я обхватил и сжал тело Рудольфа Вальца в своих руках. Затем мы в борьбе незаметно миновали сыпучий грунт и вывалились наружу, под свет звезд. Я видел этот свет, но Вальц глядел на них уже неморгающими глазами: он был мертв, и я не запомнил, как умертвил его, в какое время тело Рудольфа Вальца стало неодушевленным. Мы оба лежали, точно свалившись в пропасть с великой горы, пролетев страшное пространство высоты молча и без сознания.

Маленький комар-полуночник сел на лоб покойника и начал помаленьку сосать человека. Мне это доставило удовлетворение, потому что у комара больше души и разума, чем в Рудольфе Вальце – живом или мертвом, все равно; комар живет своим усилием и своей мыслью, сколь бы она ни была ничтожна у него, у комара нет Гитлера, и он не позволяет ему быть. Я понимал, что и комар, и червь, и любая былинка – это более одухотворенные, полезные и добрые существа, чем только что существовавший живой Рудольф Вальц. Поэтому пусть эти существа пережуют, иссосут и раскрошат фашиста: они совершат работу одушевления мира своей кроткой жизнью.

Но я, русский советский солдат, был первой и решающей силой, которая остановила движение смерти в мире; я сам стал смертью для своего неодушевленного врага и обратил его в труп, чтобы силы живой природы размололи его тело в прах, чтобы едкий гной его существа пропитался в землю, очистился там, осветился и стал обычной влагой, орошающей корни травы.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ЦВЕТОК

Жил на свете маленький цветок. Никто и не знал, что он есть на земле. Он рос один на пустыре; коровы и козы не ходили туда, и дети из пионерского лагеря там никогда не играли. На пустыре трава не росла, а лежали одни старые серые камни, и меж ними была сухая мертвая глина. Лишь один ветер гулял по пустырю; как дедушка-сеятель, ветер носил семена и сеял их всюду – и в черную влажную землю, и на голый каменный пустырь. В черной доброй

земле из семян рождались цветы и травы, а в камне и глине семена умирали.

А однажды упало из ветра одно семечко, и приютилось оно в ямке меж камнем и глиной. Долго томилось это семечко, а потом напиталось росой, распалось, выпустило из себя тонкие волоски корешка, впилось ими в камень и в глину и стало расти.

Так начал жить на свете тот маленький цветок. Нечем было ему питаться в камне и в глине; капли дождя, упавшие с неба, сходили по верху земли и не проникали до его корня, а цветок все жил и жил и рос помаленьку выше. Он поднимал листья против ветра, и ветер утихал возле цветка; из ветра упадали на глину пылинки, что принес ветер с черной тучной земли; и в тех пылинках находилась пища цветку, но пылинки были сухие. Чтобы смочить их, цветок всю ночь сторожил росу и собирал ее по каплям на свои листья. А когда листья тяжелели от росы, цветок опускал их, и роса падала вниз; она увлажняла черные земляные пылинки, что принес ветер, и разъедала мертвую глину.

Днем цветок сторожил ветер, а ночью росу. Он трудился день и ночь, чтобы жить и не умереть. Он вырастил свои листья большими, чтобы они могли останавливать ветер и собирать росу. Однако трудно было цветку питаться из одних пылинок, что выпали из ветра, и еще собирать для них росу. Но он нуждался в жизни и превозмогал терпеньем свою боль от голода и усталости. Лишь один раз в сутки цветок радовался: когда первый луч утреннего солнца касался его утомленных листьев.

Если же ветер подолгу не приходил на пустырь, плохо тогда становилось маленькому цветку, и уже не хватало у него силы жить и расти.

Цветок, однако, не хотел жить печально; поэтому, когда ему бывало совсем горестно, он дремал. Все же он постоянно старался расти, если даже корни его глодали голый камень и сухую глину. В такое время листья его не могли напитаться полной силой и стать зелеными: одна жилка у них была синяя, другая красная, третья голубая или золотого цвета. Это случалось оттого, что цветку недоставало еды, и мученье его обозначалось в листьях разными цветами. Сам цветок, однако, этого не знал: он ведь был слепой и не видел себя, какой он есть.

В середине лета цветок распустил венчик вверху. До этого он был похож на травку, а теперь стал настоящим цветком. Венчик у него был составлен из лепестков простого светлого цвета, ясного и сильного, как у звезды. И, как звезда, он светился живым мерцающим огнем, и его видно было даже в темную ночь. А когда ветер приходил на пустырь, он всегда касался цветка и уносил его запах с собою.

И вот шла однажды поутру девочка Даша мимо того пустыря. Она жила с подругами в пионерском лагере, а нынче утром проснулась и заскучала по матери. Она написала матери письмо и понесла письмо на станцию, чтобы оно скорее дошло. По дороге Даша целовала конверт с письмом и завидовала ему, что он увидит мать скорее, чем она.

На краю пустыря Даша почувствовала благоухание. Она поглядела вокруг. Вблизи никаких цветов не было, по тропинке росла одна маленькая травка, а пустырь был вовсе голый; но ветер шел с пустыря и приносил оттуда тихий запах, как зовущий голос маленькой неизвестной жизни.

Даша вспомнила одну сказку, ее давно рассказывала ей мать. Мать говорила о цветке, который все грустил по своей матери – розе, но плакать он не мог, и только в благоухании проходила его грусть.

«Может, это цветок скучает там по своей матери, как я», – подумала Даша.

Она пошла в пустырь и увидела около камня тот маленький цветок. Даша никогда еще не видела такого цветка – ни в поле, ни в лесу, ни в книге на картинке, ни в ботаническом саду, нигде. Она села на землю возле цветка и спросила его:

– Отчего ты такой?

– Не знаю, – ответил цветок.

– А отчего ты на других непохожий?

Цветок опять не знал, что сказать. Но он впервые так близко слышал голос человека, впервые кто-то смотрел на него, и он не хотел обидеть Дашу молчанием.

– Оттого, что мне трудно, – ответил цветок.

– А как тебя зовут? – спросила Даша.

– Меня никто не зовет, – сказал маленький цветок, – я один живу.

Даша осмотрелась в пустыре.

– Тут камень, тут глина! – сказала она. – Как же ты один живешь, как же ты из глины вырос и не умер, маленький такой?

– Не знаю, – ответил цветок.

Даша склонилась к нему и поцеловала его в светящуюся головку.

На другой день в гости к маленькому цветку пришли все пионеры. Даша привела их, но еще задолго, не доходя до пустыря, она велела всем вздохнуть и сказала:

– Слышите, как хорошо пахнет. Это он так дышит.

Пионеры долго стояли вокруг маленького цветка и любовались им, как героем. Потом они обошли весь пустырь, измерили его шагами и сосчитали, сколько нужно привезти тачек с навозом и золою, чтобы удобрить мертвую глину.

Они хотели, чтобы и на пустыре земля стала доброй. Тогда и маленький цветок, неизвестный по имени, отдохнет, а из семян его вырастут и не погибнут прекрасные дети, самые лучшие, сияющие светом цветы, которых нету нигде.

Четыре дня работали пионеры, удобряя землю на пустыре. А после того они ходили путешествовать в другие поля и леса и больше на пустырь не приходили. Только Даша пришла однажды, чтобы проститься с маленьким цветком. Лето уже кончалось, пионерам нужно было уезжать домой, и они уехали.

А на другое лето Даша опять приехала в тот же пионерский лагерь. Всю долгую зиму она помнила о маленьком, неизвестном по имени цветке. И она тотчас пошла на пустырь, чтобы проведать его.

Даша увидела, что пустырь теперь стал другой, он зарос теперь травами и цветами, и над ним летали птицы и бабочки. От цветов шло благоухание, такое же, как от того маленького цветка-труженика.

Однако прошлогоднего цветка, жившего меж камнем и глиной, уже не было. Должно быть, он умер в минувшую осень. Новые цветы были тоже хорошие; они были только немного хуже, чем тот первый цветок. И Даше стало грустно, что нету прежнего цветка. Она пошла обратно и

вдруг остановилась. Меж двумя тесными камнями вырос новый цветок – такой же точно, как тот старый цвет, только немного лучше его и еще прекраснее. Цветок этот рос из середины стеснившихся камней; он был живой и терпеливый, как его отец, и еще сильнее отца, потому что он жил в камне.

Даше показалось, что цветок тянется к ней, что он зовет ее к себе безмолвным голосом своего благоухания.

УЛЯ

Жил однажды на свете прекрасный ребенок. Теперь его забыли все люди, и как его звали, тоже забыли. Никто его не помнит – ни имени его, ни лица. Одна бабушка моя помнила того прекрасного ребенка, и она рассказала мне о нем, какой он был.

Бабушка сказала, что ребенка звали Уля, и это была девочка. Все, кто видел маленькую Улю, чувствовали в своем сердце совестливую боль, потому что Уля была нежна лицом и добра нравом, а не каждый, кто смотрел на нее, был честен и добр.

У нее были большие ясные глаза, и всякий человек видел, что в их глубине, на самом их дне, находится самое главное, самое любимое на свете, и каждый хотел вглядеться в глаза Ули и увидеть на дне их самое важное и счастливое для себя... Но Уля моргала, и поэтому никто не успевал разглядеть того, что было в глубине ее ясных глаз. Когда же люди снова смотрели в глаза Ули и некоторые уже начинали понимать то, что они видят там, Уля опять

моргала, и нельзя было узнать до конца, что было видно на дне ее глаз.

Один человек успел, однако, посмотреть Уле в глаза до самого дна и увидеть, что там было. Этого человека звали Демьяном; он жил тем, что в урожайные годы дешево покупал хлеб у крестьян, а в голодные годы дорого продавал его, и был с того сам всегда сыт и богат. Демьян увидел в далекой глубине Улиных глаз самого себя, и не такого самого себя, каким он всем казался, а такого, каким он был по правде: с алчной пастью и с лютым взором; скрытая душа Демьяна была явно написана на его лице. И Демьян, как увидел себя, ушел с тех пор с места, где он жил, и никто про него долго ничего не слышал, и уж стали было его забывать.

В глазах Ули отражалась одна истинная правда. Если жестокий человек имел красивое лицо и богатую одежду, то в глазах Ули он был безобразным и покрытым язвами вместо украшений.

Сама же Уля не знала, что в глазах ее отражалась правда. Она была еще мала и неразумна. А другие люди не успевали разглядеть себя в ее глазах, но всякий любовался Улей и думал, что жить хорошо, раз она существует на свете.

Уля не знала своей родной матери и родного отца. Ее нашли в летнее время под сосною у дорожного колодца. Ей было тогда несколько недель от рождения; она лежала на земле, завернутая в теплый платок, и молча глядела на небо большими глазами, в которых менялся цвет: они были то серые, то голубые, то вовсе темные.

Добрые люди взяли ребенка к себе, а одна бездетная

крестьянская семья назвала ее своей дочерью, и окрестили ее Ульяной. И всю свою раннюю детскую жизнь Уля прожила в избе у приемных родителей.

Когда она спала, глаза ее бывали закрыты наполовину, и она словно смотрела ими. А под утро, когда рассветало на дворе, в полуоткрытых глазах Ули отражалось все, что было видно за окном избы. Она спала на скамье и лицо ее освещал ранний день. Ветви ивы, росшей за окном, облака, озаренные первым кротким солнцем, и пролетающие птицы – все это было один раз снаружи, а второй раз – светилось в глубине Улиных глаз; но в Уле облака, и птицы, и листья ивы были лучше, яснее и радостней, чем их видели все люди.

Приемные родители так любили маленькую Улю, что от тоски по ней они каждую ночь просыпались. Они сходили с полатей, приближались к Уле и подолгу смотрели в сумраке на спящую чужую дочь, которая им стала милее родной. Им казалось, что свет светит из ее полузакрытых глаз, и в бедной избе было хорошо в этот час, как в день праздника во время их молодости.

– Уля, должно быть, скоро умрет, – тихо говорила мать.

– Молчи, не кличь беду, – говорил отец. – Чего ей помирать в малолетстве?

– Такие долго не живут, – опять говорила мать. – У нее глазки во сне не закрываются. – В их деревне было поверье, что дети, у которых не закрываются во сне глаза, рано умирают.

Сколько раз мать хотела своею рукою опустить веки на глаза Ули, но отец не велел трогать ее, чтобы не испугать. Днем, когда Уля играла в углу с лоскутьями или перели-

вала воду из глиняной миски в железную кружку, отец и тогда остерегался прикоснуться к дочери, словно боясь повредить ее маленькое тело.

Светлые волосы росли на голове Ули, и они вились в локоны, будто это ветер вошел в них и замер. А мягкое лицо Ули и во сне, как наяву, всматривалось куда-то и было озабочено. Отцу и матери казалось тогда, что Уля хочет спросить их о чем-то, что мучает ее, и не может, потому что не умеет говорить.

Отец позвал к Уле доктора-фельдшера. Может, думал отец, у нее есть какая боль и доктор поможет ей. Доктор послушал дыхание Ули и сказал, что у нее все пройдет, когда она вырастет.

– А отчего она всем мила? – спросил отец у доктора. – Лучше бы она была похуже!

– Это игра природы, – ответил доктор.

Отец с матерью обиделись.

– Какая игра! – сказали они. – Она ведь живая, а не игрушка.

Другие люди по-прежнему старались посмотреть в глаза Ули, чтобы увидеть там, какие они есть по правде. Может быть, кто-нибудь и видел себя самого, только про это не говорил, а говорил всем, что не успел рассмотреть, потому что Уля моргнула.

Все люди узнали, что глаза Ули меняли свой цвет. Если она смотрела на доброе – на небо, на бабочку, на корову, на цветок, на прохожего дедушку-бедняка, то глаза ее сияли прозрачным светом, а если она смотрела на то, что скрывало в себе зло, то глаза ее темнели и становились непроглядными. Только в самой глубине Улиных глаз, в самой

середине их, был всегда одинаковый ясный свет, и в нем отражалась правда о том человеке или предмете, на который она глядела, – не то, что кажется всем снаружи, а то, что скрыто втайне внутри и невидимо.

Когда Уле сравнялось два года, она стала говорить, и говорила она чисто, но редко, и знала мало слов... Она видела в поле и на деревенской улице то, что всем видно и понятно. Однако Уля всегда удивлялась тому, что видела, а иногда кричала от страха и плакала, показывая туда, на что она смотрела.

– Чего ты? Ты чего, Уленька? – спрашивал ее отец и брал к себе на руки, не понимая, отчего тревожится Уля. – Чего ты так глядишь на меня? Там стадо идет ко двору, а тут – я с тобой.

Уля с испугом смотрела на отца, будто он был ей чужой, и она никогда не видела его. Со страхом она сходила на землю и убегала от отца. Так же одинаково она боялась матери и пряталась от нее.

Спокойной Уля была только в темноте, где глаза ее ничего не видели.

Проснувшись утром, Уля сразу хотела убежать из дома. И она уходила в темный овин или в поле, где была в овраге песчаная пещера, и там сидела в сумраке, пока ее не находили отец с матерью. А когда отец или мать брали ее на руки, прижимали к себе и целовали в глаза, то Уля плакала от страха и вся дрожала, будто ее схватывали волки, а не ласкали родители.

Если Уля видела робкую бабочку, летящую поверх травы, она с криком бежала от нее прочь, и еще долго билось ее испуганное сердце. А больше всех Уля боялась

одну старуху, мою бабушку, которая была такая старая, что ее и все другие старухи тоже звали бабушкой. Бабушка редко приходила в избу, где жила Уля. А когда приходила, то всегда приносила в подарок девочке лепешку из белой муки, либо кусок сахару, либо варежки, которые вязала целых сорок дней, или еще что, что нужно Уле. Старая бабушка говорила, что она бы уже умерла, ведь ей пришло время, да теперь не может умереть: как вспомнит Улю, так ее слабое сердце опять дышит и бьется, как молодое; оно дышит от любви к Уле, от жалости к ней и от радости.

А Уля, увидев бабушку, тотчас начинала плакать; она не сводила с бабушки своих потемневших глаз и тряслась от страха.

– Она правды не видит! – говорила бабушка. – Она в добром видит злое, а в злом доброе.

– А почему же в глазах ее всю правду истинную видно? – спрашивал отец.

– А потому же! – опять говорила старая бабушка. – В самой-то ней вся правда светится, а сама она света не понимает, и ей все обратно кажется. Ей жить хуже, чем слепой. Пускай бы она уж слепая была.

«Может, и верно бабушка говорит, – подумал тогда отец. – Нехорошее Уля видит хорошим, а доброе дурным».

Цветов Уля не любила, она никогда не трогала их, а, набрав в подол черного сору с земли, уходила в темное место и там играла одна, перебирая сор руками и закрыв глаза. Она не дружила с другими детьми, что жили в деревне, и убегала от них домой.

– Боюсь! – кричала Уля. – Они страшные.

Тогда мать прижимала голову Ули к своей груди,

словно хотела спрятать ребенка и успокоить его в своем сердце.

А дети в деревне были небалованные, добрые, на лицо чистые, они тянулись к Уле и улыбались ей.

Мать не понимала, чего Уля боится и что страшное на свете видят ее прекрасные бедные глаза.

– Не бойся, Уленька, – говорила мать, – ничего не бойся, я ведь с тобою.

Уля, поглядев на мать, опять кричала:

– Я боюсь!

– Кого же тебе страшно: это я!

– Я тебя боюсь: ты страшная! – говорила Уля и закрывала глаза, чтобы не видеть матери.

Никто не знал, что видит Уля, а сама она от страха сказать не умела.

В деревне росла еще одна девочка; ей было четыре года от рождения и звали ее Грушей. С ней одной стала играть Уля и полюбила ее. Груша была из себя длиннолицая, за это ее прозвали «кобыльей головкой», и сердитая нравом; она даже своего отца с матерью не любила и обещала, что скоро убежит из дома далеко-далеко и никогда не вернется, потому что тут плохо, а там хорошо.

Уля трогала лицо Груши руками и говорила ей, что она красивая. Глаза Ули глядели на злобное, угрюмое лицо Груши с любованием, будто Уля видела перед собой добрую любящую подругу, хорошую лицом. А Груша однажды нечаянно посмотрела в глаза Ули и успела увидеть в них самое себя, такую, какая она есть по правде. Она закричала от страха и убежала домой. С тех пор Груша стала добрее сердцем и не серчала на родителей, что дома плохо.

Когда же она опять хотела быть злой, то вспоминала свой страшный образ в глазах Ули, пугалась себя и делалась смирной и кроткой.

Хотя и грустно было видеть Уле цветы и добрые лица людей ужасными, однако она, как все малые дети, ела хлеб, пила молоко и с того росла. А жизнь скоро идет, и вскоре Уле исполнилось сначала пять лет, а потом шесть и семь.

В то время вернулся в их деревню тот мужик Демьян, что давно ушел неизвестно куда. Он вернулся бедным и простым, он стал пахать землю, как все люди, и жил после добрым до старости лет. Он даже хотел, чтобы Улю отдали к нему в дом названой дочерью, потому что он был стар и одинок, но приемные родители Ули не дали своего согласия. Они сами не могли жить без Ули, как взяли ее во двор.

С пяти лет Уля перестала кричать и убегать от страха; она лишь становилась печальной, когда видела перед собой добрую и прекрасную душу, будь то моя старая бабушка или другой кроткий человек, и часто плакала. Однако по-прежнему в глубине ее больших глаз светился истинный образ того, на кого она смотрела. Но сама она не видела правды, а видела ложь. И, словно замершие в удивлении, осматривали весь свет ее доверчивые, грустные глаза, не понимая того, что они видят.

Когда Уле сравнялось семь лет, приемные родители сказали ей, кем они ей приходятся, и о том, что родные отец и мать Ули неизвестно где живут, и неизвестно – живы они или нет. Приемные родители сказали это разумно. Они хотели, чтобы девочка узнала правду от них, а не от других людей; чужие люди когда-нибудь скажут ей о том же, но скажут нехорошо и поранят душу ребенка.

– А они тоже страшные? – спросила Уля о своих родных родителях.

– Нет, они не страшные, – сказал приемный отец. – Они тебя на свет родили, милее их тебе никого нету.

– Ты неправду видишь, дочка, – вздохнула неродная мать. – У тебя глаза порченые.

С тех пор Уля стала жить еще более печальной. Шло лето, и Уля задумала, что под осень она уйдет из дома, чтобы встретить на свете своих родных отца и мать, покинувших ее.

И то лето еще не минуло, как пришла в деревню одна пожилая крестьянка, обутая в лапти и с хлебной котомкой за плечами. Видно было, что она шла издалека и утомилась. Она села у дорожного колодца, возле которого росла старая сосна, поглядела на дерево, потом поднялась и ощупала землю вокруг сосны, точно искала что-то, давно оставленное и забытое. Переобувшись, женщина подошла к избе, где жил Демьян, и села на завалинок.

Прохожих никого не было, люди работали в поле, и женщина-странница долго сидела одна. Потом из одного двора вышла девочка. Она увидела чужую женщину и приблизилась к ней.

– Ты не страшная, – сказала девочка с большими светящимися чистым светом глазами.

Странница посмотрела на девочку, взяла ее за руку, потом обняла ее и прижала к себе. Девочка не испугалась и не вскрикнула. Тогда женщина поцеловала ребенка в один глаз и в другой, а сама заплакала: она узнала в Уле свою дочь – по глазам ее, по родинке на шее, по всему ее телу и по своему задрожавшему сердцу.

– Молода я была, глупа была, на людей тебя бросила, – говорила женщина. – За тобой теперь пришла.

Уля прижалась к мягкой теплой груди женщины и задремала.

– Я матерью тебе прихожусь, – сказала женщина и опять поцеловала Улю в ее полузакрытые глаза.

Поцелуй матери исцелил Улины глаза, и с того дня она стала видеть белый свет, озаренный солнцем, так же обыкновенно, как все другие люди. Она смирно глядела перед собой серыми ясными глазами и никого не боялась. Она видела правильно – прекрасное и доброе, что есть на земле, ей теперь не казалось страшным и безобразным, а злое и жестокое – прекрасным, как было без родной матери.

Однако в глубине Улиных глаз с этого времени ничего не стало видно: тайный образ правды в них исчез. Уля не почувствовала горя, что правда более не светится в ее глазах, а ее родная мать тоже не опечалилась, узнав об этом.

– Людям не нужно видеть правду, – сказала мать, – они сами ее знают, а кто не знает, тот и увидит, так не поверит...

В то время моя старая бабушка умерла и больше ничего не могла рассказать мне об Уле. Но спустя много времени я сам увидел однажды Улю. Она стала красивой девушкой, столь красивой, что была лучше, чем нужно людям: и поэтому люди любовались ею, но сердце их оставалось равнодушным к ней.

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ, ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ ВОРОБЬЯ

(Сказочное происшествие)

Старый скрипач-музыкант любил играть у подножия памятника Пушкину. Этот памятник стоит в Москве, в начале Тверского бульвара, на нем написаны стихи, и со всех четырех сторон к нему подымаются мраморные ступени. Поднявшись по этим ступеням к самому пьедесталу, старый музыкант обращался лицом на бульвар, к дальним Никитским воротам, и трогал смычком струны на скрипке. У памятника сейчас же собирались дети, прохожие, чтецы газет из местного киоска, – и все они умолкали в ожидании музыки, потому что музыка утешает людей, она обещает им счастье и славную жизнь. Футляр со своей скрипки музыкант клал на землю против памятника, он был закрыт, и в нем лежал кусок черного хлеба и яблоко, чтобы можно было поесть, когда захочется.

Обыкновенно старик выходил играть под вечер, по первому сумраку. Для его музыки было полезней, чтоб в мире стало тише и темней. Беды от своей старости он не знал, потому что получал от государства пенсию и кормился достаточно. Но старик скучал от мысли, что он не приносит людям никакого добра, и поэтому добровольно ходил играть на бульвар. Там звуки его скрипки раздавались в воздухе, в сумраке, и хоть изредка они доходили до глубины человеческого сердца, трогая его нежной и мужественной силой, увлекавшей жить высшей, прекрасной жизнью. Некоторые слушатели музыки вынимали деньги, чтобы подарить их старику, но не знали, куда их положить:

футляр от скрипки был закрыт, а сам музыкант находился высоко на подножии памятника, почти рядом с Пушкиным. Тогда люди клали гривенники и копейки на крышку футляра. Однако старик не хотел прикрывать свою нужду за счет искусства музыки; пряча скрипку обратно в футляр, он осыпал с него деньги на землю, не обращая внимания на их ценность. Уходил домой он поздно, иногда уже в полночь, когда народ становился редким, и лишь какой-нибудь случайный одинокий человек слушал его музыку. Но старик мог играть и для одного человека и доигрывал произведение до конца, пока слушатель не уходил, заплакав во тьме про себя. Может быть, у него было свое горе, встревоженное теперь песнью искусства, а может быть, ему стало совестно, что он живет неправильно, или просто он выпил вина...

В позднюю осень старик заметил, что на футляр, лежавший, как обычно, поодаль на земле, сел воробей. Музыкант удивился, что эта птичка еще не спит и даже в темноте вечера занята работой на свое пропитание. Правда, за день сейчас трудно накормиться: все деревья уже уснули на зиму, насекомые умерли, земля в городе гола и голодна, потому что лошади ходят редко и дворники враз убирают за ними навоз. Где, на самом деле, питаться в осень и в зиму воробью? Ведь и ветер в городе слаб и скуден меж домами, – он не держит воробья, когда тот простирает утомленные крылья, так что воробью приходится все время ими махать и трудиться.

Воробей, обследовав всю крышку футляра, ничего полезного на ней для себя не нашел. Тогда он пошевелил ножками денежные монеты, взял из них клювом самую

мелкую бронзовую копейку и улетел с ней неизвестно куда. Значит, он недаром прилетал – хоть что-нибудь, а взял! Пусть живет и заботится, ему тоже надо существовать.

На другой вечер старый скрипач открыл футляр – на тот случай, что если прилетит вчерашний воробей, так он может покормиться мякотью хлеба, который лежал на дне футляра. Однако воробей не явился, наверно, он наелся где-нибудь в другом месте, а копейка ему не годилась никуда.

Старик все же терпеливо ожидал воробья, и на четвертые сутки он опять увидел его. Воробей без помехи сел на хлеб в футляре и по-деловому начал клевать готовую пищу. Музыкант сошел с памятника, приблизился к футляру и тихо рассмотрел небольшую птичку. Воробей был взлохмаченный, головастый, и многие перья его поседели; время от времени он бдительно поглядывал по сторонам, чтобы с точностью видеть врага и друга, и музыкант удивился его спокойным, разумным глазам. Должно быть, этот воробей был очень стар или несчастен, потому что он успел уже нажить себе большой ум от горя, беды и долголетия.

Несколько дней воробей не появлялся на бульваре; тем временем выпал чистый снег и подморозило. Старик, перед тем как идти на бульвар, ежедневно крошил в футляр скрипки мягкий теплый хлеб. Стоя на высоте подножия памятника, играя нежную мелодию, старик постоянно следил взором за своим открытым футляром, за ближними дорожками и умершими кустами цветов на летней клумбе. Музыкант ожидал воробья и тосковал по нем: где он теперь сидит и согревается, что он ест на холодном снегу? Тихо и светло горели фонари вокруг памятника Пушкину, кра-

сивые чистые люди, освещенные электричеством и снегом, мягко проходили мимо памятника, удаляясь по своим важным и счастливым делам. Старик играл дальше, скрывая в себе жалкое чувство печали по небольшой усердной птичке, которая жила сейчас где-то и изнемогала.

Но прошло еще пять дней, а воробей все не прилетал гостить к памятнику Пушкину. Старый скрипач по-прежнему оставлял для него открытый футляр с накрошенным хлебом, однако чувство музыканта уже затомилось от ожидания, и он стал забывать воробья. Старику многое пришлось забыть в своей жизни безвозвратно. И скрипач перестал крошить хлеб, он теперь лежал в футляре целым куском, и только крышку музыкант оставлял открытой.

* * *

В глубине зимы, близ полуночи, началась однажды поземка. Старик играл последней вещью «Зимнюю дорогу» Шуберта и собирался затем уходить на покой. В тот час из середины ветра и снега появился знакомый седой воробей. Он сел тонкими, ничтожными лапками на морозный снег; потом походил немного вокруг футляра, задуваемый по всему телу вихрями, но равнодушный к ним и безбоязненный, – и перелетел внутрь футляра. Там воробей начал клевать хлеб, почти зарывшись в его теплую мякоть. Он ел долго, наверно целых полчаса времени; уже метель почти полностью засыпала снегом помещение футляра, а воробей все еще шевелился внутри снега, работая над своей пищей. Значит, он умел наедаться надолго. Старик подошел к фу-

тляру со скрипкой и смычком и долго ожидал среди вихря, когда воробей освободит футляр. Наконец воробей выбрался наружу, почистился в маленьком снежном сугробе, кратко проговорил что-то и убежал пешком к себе на ночлег, не захотев лететь по холодному ветру, чтобы не тратить напрасно свою силу.

На следующий вечер тот же воробей опять прибыл к памятнику Пушкину; он сразу же опустился в футляр и стал клевать готовый хлеб. Старик глядел на него с высоты подножия памятника, играл оттуда музыку на скрипке и чувствовал добро в своем сердце. В этот вечер погода стояла тихая, словно усталая после вчерашней едкой поземки. Наевшись, воробей высоко взлетел из футляра и пробормотал в воздухе небольшую песню...

Утром долго не светало. Проснувшись в своей комнате, музыкант–пенсионер услышал пение вьюги за окном. Морозный, жесткий снег несся по переулку и застил дневной свет. На оконное стекло еще ночью, во тьме, легли замороженные леса и цветы неизвестной волшебной страны. Старик стал любоваться этой воодушевленной игрою природы, точно природа тоже томилась по лучшему счастью, подобно человеку и музыке.

Идти играть на Тверской бульвар сегодня уже не придется. Сегодня поет буря, и звуки скрипки будут слишком слабы. Все же старик под вечер оделся в пальто, обвязал себе голову и шею шалью, накрошил хлеба в карман и вышел наружу. С трудом, задыхаясь от затвердевшего холода и ветра, музыкант пошел по своему переулку к Тверскому бульвару. Безлюдно скрежетали обледенелые ветви деревьев на бульваре, и сам памятник уныло шелестел от

трущегося по нем летящего снега. Старик хотел положить хлебные комки на ступеньку памятника, но увидел, что это бесполезно: буря тотчас же унесет хлеб, и снег засыплет его. Все равно музыкант оставил на ступени свой хлеб и видел, как он исчез в сумраке бури.

Вечером музыкант сидел дома один; он играл на своей скрипке, но некому было его слушать, и мелодия звучала плохо в пустоте комнаты, она трогала лишь одну-единственную душу скрипача, а этого было мало, или душа его стала бедной от старости лет. Он перестал играть. На улице шел поток урагана, – худо, наверно, теперь воробьям. Старик подошел к окну и послушал силу бури сквозь замороженное стекло. Неужели седой воробей и сейчас не побоится прилететь к памятнику Пушкину, чтобы поесть хлеба из футляра?

* * *

Седой воробей не испугался снежного урагана. Только он не полетел на Тверской бульвар, а пошел пешком, потому что внизу было немного тише и можно укрываться за местными сугробами снега и разными попутными предметами.

Воробей тщательно обследовал всю окрестность вокруг памятника Пушкину и даже порылся ножками в снегу, где обыкновенно стоял открытый футляр с хлебом. Несколько раз он пытался взлететь с подветренной стороны на голые, обдутые ступени памятника, чтобы поглядеть, не принес ли туда ураган каких-нибудь крошек или старых зерен; их можно было бы поймать и проглотить. Однако буря сразу

брала воробья, как только он отрывался от снега, и несла его прочь, пока он не ударялся о ствол дерева или трамвайную мачту, и тогда воробей поскорее падал и зарывался в снег, чтобы согреться и отдохнуть. Вскоре воробей перестал надеяться на пищу. Он разгреб поглубже ямку в снегу, сжался в ней и задремал: лишь бы ему не замерзнуть и не умереть, а буря когда-нибудь кончится. Все-таки спал воробей осторожно, чутко, следя во сне за действием урагана. Среди сна и ночи воробей заметил, что снежный бугор, в котором он спал, пополз вместе с ним, а затем весь снег вокруг него обвалился, рассеялся, и воробей остался один в урагане.

Воробья понесло вдаль, на большой пустой высоте. Здесь даже снега не было, а только голый чистый ветер, твердый от собственной сжатой силы. Воробей подумал, свернулся потеснее своим телом и заснул в этом урагане.

Выспавшись, он проснулся, но буря по-прежнему несла его. Воробей уже немного освоился жить в урагане, ему было даже легче сейчас существовать, потому что он не чувствовал тяжести своего тела и не нужно было ни ходить, ни летать, ни заботиться о чем-либо. Воробей огляделся в сумраке бури, – ему хотелось понять, какое сейчас время: день или ночь. Но увидеть свет или тьму сквозь сумрак он не сумел и опять съежился и уснул, стараясь сберечь тепло хотя бы внутри себя, а перья и кожа пусть остывают.

Когда воробей проснулся во второй раз, его все еще несла буря. Он стал теперь уже привыкать к ней, только его брала забота о пище. Холода воробей сейчас не чувствовал, зато тепла не было, – он лишь дрожал в этом сумраке и потоке пустого воздуха. Воробей снова сжался, стараясь не сознавать ничего, пока ураган не обойдется.

Проснулся воробей на земле, в чистой и теплой тишине. Он лежал на листьях большой зеленой травы. Неизвестные и невидимые птицы пели долгие, музыкальные песни, так что воробей удивился и послушал их некоторое время. Затем он убрал и почистил свои перья после вьюги и пошел кормиться.

Здесь, наверно, шло вечное лето, и пищи поэтому было много. Почти каждая трава имела на себе плоды. На стеблях меж листьями висели либо колосья с зернами, либо мягкие стручки с мелкими пряными лепешками, либо открыто росла крупная сытная ягода. Воробей клевал весь день, пока ему не стало стыдно и отвратительно, он опомнился и перестал есть, хотя мог бы покушать еще немного.

Проспав ночь на травяном стебле, воробей с утра опять начал питаться. Однако он съел теперь немного. Вчера от сильного голода он не заметил вкуса пищи, а сегодня почувствовал, что все плоды трав и кустарников были слишком сладкими либо, наоборот, горькими. Но зато в плодах содержалась большая питательность, в виде густого, почти опьяняющего жира, и воробей на второй же день слегка пополнел и залоснился. А ночью его стала мучить изжога, и тогда воробей затосковал по привычной кислоте простого черного хлеба; его мелкие кишки и желудок заскулили от ощущения теплой, темной мякоти в футляре музыканта у памятника Пушкину.

Вскоре воробей стал вовсе печальным на этой летней, мирной земле. Сладость и обилие пищи, свет воздуха и благоухание растений не привлекали его. Бродя в тени зарослей, воробей нигде не встретил ни знакомого, ни род-

ственника: тут воробьи не жили. Местные, тучные птицы имели разноцветные, красивые перья; они обыкновенно высоко сидели на древесных ветвях и пели оттуда прекрасные песни, словно из их горла происходил свет. Ели эти птицы редко, потому что достаточно было склевать одну жирную ягодку в траве, чтобы насытиться на весь день и на всю ночь.

Воробей стал жить в одиночестве. Он постепенно облетал всю здешнюю страну, поднимаясь от земли чуть выше кустарника, и повсюду наблюдал густые рощи трав и цветов, толстые низкие деревья, поющих, гордых птиц и синее, безветренное небо. Даже дожди здесь шли только по ночам, когда все спали, чтобы ненастье не портило никому настроения.

Спустя время воробей нашел себе постоянное место для жизни. Это был берег ручья, покрытый мелкими камнями, где ничего не росло, где земля лежала более скудной и неудобной.

В береговой расщелине там еще жила одна змея, но у нее не было яда и зубов, она питалась тем, что глотала влажную почву, как червь, – и мелкие земляные животные оставались у нее внутри, а сжеванная земля исходила обратно прочь. Воробей подружился с этой змеей. Он часто являлся к ней и смотрел в ее темные, приветливые глаза, и змея тоже глядела на воробья. Затем воробей уходил, и ему становилось легче жить в одиночестве после свидания со змеей.

Вниз по течению ручья воробей увидел однажды довольно высокую, голую скалу. Он взлетел на нее и решил ночевать здесь, на возвышенном камне, каждую ночь. Во-

робей надеялся, что когда-нибудь настанет буря и она сорвет его, спящего, с камня и унесет обратно домой, на Тверской бульвар. Первую ночь спать на прохладной скале было неудобно, однако на вторую ночь воробей уже привык и спал на камне, глубоко, как в гнезде, согреваемый надеждой на бурю.

* * *

Старый музыкант понял, что седой, знакомый воробей погиб навсегда в зимнем урагане. Снегопад, холодные дни и вьюги часто не позволяли старику выходить на Тверской бульвар для игры на скрипке.

В такие дни музыкант сидел дома, и его единственным утешением было смотреть на замороженное оконное стекло, где складывалась и разрушалась в тишине картина заросшей, волшебной страны, населенной, вероятно, одними поющими птицами. Старый человек не мог предположить, что его воробей живет сейчас в теплом, цветущем краю и спит но ночам на высоком камне, подставив себя под ветер... В феврале месяце музыкант купил себе в зоологическом магазине на Арбате маленькую черепаху. Он читал когда-то, что черепахи живут долго, а старик не хотел, чтобы то существо, к которому привыкнет его сердце, погибло раньше его. В старости душа не заживает, она долго мучается памятью, поэтому пусть черепаха переживет его смерть.

Живя вместе с черепахой, музыкант стал ходить к памятнику Пушкину совсем редко. Теперь он каждый вечер играл дома на скрипке, а черепаха медленно выходила на

середину комнаты, вытягивала худую, длинную шею и слушала музыку. Она поворачивала голову немного в сторону от человека, точно для того, чтобы лучше было слышать, и один ее черный глаз с кротким выражением смотрел на музыканта. Черепаха, наверно, боялась, что старик перестанет играть и ей опять станет скучно жить одной на голом полу. Но музыкант играл для черепахи до поздней ночи, пока черепаха не клала свою маленькую голову на пол в усталости и во сне. Дождавшись, когда у черепахи закроются глаза морщинами век, старик прятал скрипку в футляр и сам тоже ложился на покой. Но музыкант спал худо. В теле его то постреливало где-нибудь, то щемило, то заходилось сердце, и он часто вдруг просыпался в страхе, что умирает. Обыкновенно оказывалось, что он еще живой и за окном, в московском переулке, продолжалась спокойная ночь. В марте месяце, проснувшись от замирания сердца, старик услышал могучий ветер; стекло в окне оттаяло: ветер, наверно, дул с юга, с весенней стороны. И старый человек вспомнил про воробья и пожалел его, что он умер: скоро будет лето, на Тверском бульваре снова воскреснут деревья и воробей пожил бы еще на свете. А на зиму музыкант взял бы его к себе в комнату, воробей подружился бы с черепахой и свободно перенес зиму в тепле, как на пенсии... Старик опять уснул, успокоившись тем, что у него есть живая черепаха и этого достаточно.

Воробей тоже спал в эту ночь, хотя и летел в ураганном южном ветре. Он проснулся только на одно мгновение, когда удар урагана сорвал его с возвышенного камня, но, обрадовавшись, сейчас же уснул вновь, сжавшись потеплее

своим телом. Проснулся воробей уже засветло; ветер нес его могучей силой в далекую сторону. Воробей не боялся полета и высоты; он пошевелился внутри урагана, как в тяжелом, вязком тесте, проговорил сам для себя кое-что и почувствовал, что хочет есть. Воробей огляделся с осторожностью и заметил вокруг себя посторонние предметы. Он их тщательно рассмотрел и узнал: то были отдельные тучные ягодки из теплой страны, зерна, стручки и целые колосья, а немного подальше от воробья летели даже целые кусты и древесные ветви. Значит, ветер взял с собою не одного его, воробья. Маленькое зерно мчалось совсем рядом с воробьем, но схватить его было трудно, благодаря тягости ветра: воробей несколько раз высовывал клюв, а достать зерна не мог, потому что клюв упирался в бурю, как в камень. Тогда воробей начал вращаться вокруг самого себя: он перевернулся ножками кверху, выпустил одно крыло, и ветер сразу снес его в сторону – сначала к близкому зерну, и воробей враз склевал его, а потом воробей пробрался и к более дальним ягодам и колосьям. Он накормил себя досыта и, кроме того, научился, как нужно передвигаться почти поперек бури. Покушав, воробей решил заснуть. Ему сейчас было хорошо: обильная пища летела рядом с ним, а холода или тепла среди урагана он не чувствовал. Воробей спал и просыпался, а проснувшись, опять ложился по ветру ножками кверху, чтобы дремать на покое. В промежутках меж одним сном и другим он сытно кормился из окружающего воздуха; иногда какая-либо ягода или стручок со сладкой начинкой вплотную прибивались к телу воробья, и тогда ему оставалось только склевать и проглотить эту пищу. Однако воробей побаи-

вался, что ветер когда-нибудь перестанет дуть, а он уже привык жить в буре и обильно питаться из нее. Ему не хотелось больше добывать себе корм на бульварах постоянным хищничеством, зябнуть по зимам и бродить пешком по пустому асфальту, чтобы не тратить сил на полет против ветра. Он жалел только, что нет среди всего этого могучего ветра крошек кислого черного хлеба, – летит одна лишь сладость или горечь. К счастью для воробья, буря шла долго, и, просыпаясь, он снова чувствовал себя невесомым и пробовал напевать сам себе песню от удовлетворения жизнью.

* * *

В весенние вечера старый скрипач выходил играть к памятнику Пушкину почти ежедневно. Он брал с собою черепаху и ставил ее на лапки возле себя. Во все время музыки черепаха неподвижно слушала скрипку и в перерывы игры терпеливо ждала продолжения. Футляр от скрипки по-прежнему лежал на земле против памятника, но крышка футляра была теперь постоянно закрыта, потому что старик уже не ожидал к себе в гости седого воробья.

В один из погожих вечеров начался ветер со снегом. Музыкант спрятал черепаху за пазуху, сложил скрипку в футляр и пошел на квартиру. Дома он, по обыкновению, накормил черепаху, а затем поместил ее на покой в коробку с ватой. После того старик хотел взяться за чай, чтобы погреть желудок и продлить время вечера. Однако в примусе не оказалось керосина и бутылка тоже была пустая. Музыкант пошел покупать керосин на Бронную улицу. Ветер

уже прекратился; падал слабый, влажный снег. На Бронной продажу керосина закрыли на переучет товара, поэтому старику пришлось идти к Никитским воротам.

Закупив керосин, скрипач направился обратно домой по свежему, тающему снегу. Два мальчика стояли в воротах старого жилого дома, и один из них сказал музыканту:

– Дядя, купи у нас птицу... Нам на кино не хватает!

Скрипач остановился.

– Давай, – сказал он. – А где вы ее взяли?

– Она сама с неба на камни упала, – ответил мальчик и подал птицу музыканту в двух сложенных горстях.

Птица, наверно, была мертвая. Старик положил ее в карман, уплатил мальчику двадцать копеек и пошел дальше.

Дома музыкант вынул птичку из кармана на свет. Седой воробей лежал у него в руке; глаза его были закрыты, ножки беспомощно согнулись, и одно крыло висело без силы. Нельзя понять, обмер ли воробей на время или навечно. На всякий случай старик положил воробья себе за пазуху под ночную рубашку – к утру он либо отогреется, либо никогда более не проснется.

Напившись чаю, музыкант бережно лег спать на бок, не желая повредить воробья.

Вскоре старик задремал, но сразу же проснулся: воробей пошевелился у него под рубашкой и клевнул его в тело. «Живой! – подумал старый человек. – Значит, сердце его отошло от смерти!» – и он вынул воробья из теплоты под своею рубашкой.

Музыкант положил ожившую птичку на ночлег к черепахе. Она спала в коробке, – там лежала вата, там воробью будет мягко.

На рассвете старик окончательно проснулся и посмотрел, что делает воробей у черепахи.

Воробей лежал на вате тонкими ножками кверху, а черепаха, вытянув шею, смотрела на него добрыми, терпеливыми глазами. Воробей умер и забыл навсегда, что он был на свете.

Вечером старый музыкант не пошел на Тверской бульвар. Он вынул скрипку из футляра и начал играть нежную, счастливую музыку. Черепаха вышла на середину комнаты и стала кротко слушать его одна. Но в музыке недоставало чего-то для полного утешения горюющего сердца старика. Тогда он положил скрипку на место и заплакал.

ЭФИРНЫЙ ТРАКТ

Проснувшись в пять часов утра в своей московской квартире, Фаддей Кириллович почувствовал раздражение. Непотушенный свет горел в комнате, и где-то визжали толстые крысы.

Сон больше не придет. Фаддей Кириллович одел жилетку и уселся, раскачивая очумелый мозг. Он лег в час, еле добравшись до постели, и не вовремя проснулся.

– Ну-с, Фаддей Кириллович, нажмем снова, – сказал он самому себе, – микробы усталости могут успокоиться: я им пощады все равно не дам!

Он воткнул перо в чернильницу, вытянул дохлую муху и рассмеялся: это же, понимаете, мухоловка! И у меня все так, желтые граждане, – перо тычет, а не скользит, чернила – вода, бумага – рогожа! Это удивительно, господа!..

Фаддей Кириллович всегда представлял свою комнату, населенную немыми, но внимательными собеседниками. Мало того, он тихие вещи безрассудно принимал за живые существа, и притом похожие на самого себя.

Раз, мрачно утомившись, он обмакнул в чернила перо, положил его на недописанный лист бумаги и сказал: заканчивай, заноза! А сам лег спать.

Одиночество, заглушенность души, сырость и полутьма квартиры превратили Фаддея Кирилловича в пожилого нерачительного субъекта с житейски неразвитым мозгом.

Работал Фаддей Кириллович всегда бормоча, вслух перебирая возможные варианты стиля и содержания излагаемого.

Крысы утихли, потому что Фаддей Кириллович действительно забормотал:

– Поспешим, Фаддей! Поспешим, сатана души моей!.. Несомненно одно, что... что как только почва даст вместо сорока пятьсот пудов на десятину и что... если железо начнет размножаться, то... эти, как их, женщины и ихние мужья сразу возьмут и нарожают столько людей, что не хватит опять ни хлеба, ни железа и настанет бедность... Довольно бормотать, ты мне мешаешь, дурак!..

Выругав этак себя, Фаддей Кириллович притих и усердно занялся работой, выводя аккуратные значки, как на уроке чистописания.

Москва проснулась и завизжала трамваями. Изредка вольтовы дуги озаряли туман, потому что токособиратели иногда отскакивали от провода.

– Идиоты! – не выдержал Фаддей Кириллович. – До сих пор не могут поставить рациональных токособирателей: жгут провод, тратят энергию и нервируют прохожих!..

Когда окончательно рассеялся туман и засиял неожиданный торжественный день, Фаддей Кириллович протер заслезившиеся глаза и начал в злостном исступлении драть ногтями поясницу:

– Какая-то стерва вторые сутки грызет! Только успокоишься, а уж какая-нибудь болячка появится! И вечно трудно человеку!..

В это время к Фаддею Кирилловичу постучали: Мокрида Захаровна, старушка, принесла Попову завтрак и пришла убирать комнату.

– Ну, как, Захаровна? Ничего там не случилось? Люди не вымерли? Светопреставление не началось еще? Погляди, спина у меня назади?..

– И что ты, батюшка, Фаддей Кириллович, говоришь? Опомнись, батюшка, – такого не бывает! Сидит-сидит, учится-учится – переучится, – и начинает ум за разуменье заходить! Поешь, голубчик, отдохни, ан и сердце отойдет, и дума утихнет...

– Да, Захаровна, да, Мокрида! Да, да, да! И трижды кряду – да! И еще раз – да!.. Ну, давай твою вкусную еду. Будем разводить гнилостные бактерии в двенадцатиперстной кишке, пускай живут в тесноте!.. А ты, старушка, ступай! Мне некогда, за кастрюлями придешь вечером, тогда и комнату уберешь. Вечером я уеду.

– Ох, батюшка, Фаддей Кириллович, дюже ты чуден да привередлив стал, замучил старуху!.. Когда ожидать-то вас?

– Не жди, ступай, считай меня усопшим!

Спешно поев, Фаддей Кириллович закурил и вдруг вскочил, – живой, стремительный и веселый.

– Ага, вот где ты пряталось, сучество, скотоложество и супрематия! Вылазь, божья куколка! Дыши, мое чучелко! Живи, моя дочка! Танцуй, Фаддей, крутись, Гаврила, колесо налево, оттормаживай историю! Эх, моя молодость! Да здравствуют дети, невесты и влажные красные жадные губы! Долой Мальтуса и госпланы деторождения! Да здравствует геометрическая и гомерическая прогрессия жизни!..

Тут Фаддей Кириллович остановился и сказал:

– Пожилой субъект ты, Фаддей, а дурак! Еле догадался, а уж благодетельствовать собираешься, самолюбивая сволочь! Садись к столу, сгною тебя работой, паршивый выродок!

Усевшись, Фаддей Кириллович, однако, почувствовал страшную пустоту в мозгу, будто там ливни работы смыли всю плодоносную почву и нечем было питаться зелени его творчества.

Тогда он начал писать частное письмо:

«Профессору Штауферу, Вена.

Знаменитый коллега! Вы уже, без сомнения, забыли меня, который был Вашим учеником двадцать один год тому назад. Помните ли Вы звонкую майскую венскую ночь, когда в самом чутком воздухе была жажда научного творчества, когда мир открывался перед нами, как молодость и загадка! Помните, мы шли вчетвером по Националштрассе – Вы, два венца и я, русский, рыжеватый любопытствующий молодой человек! Помните, Вы сказали, что жизнь, в физиологическом смысле, наиболее общий признак всей прощупываемой наукой вселенной. Я,

по молодости, попросил разъяснений. Вы охотно ответили: атом, как известно, колония электронов, а электрон есть не только физическая категория, но также и биологическая – электрон суть микроб, то есть живое тело, и пусть целая пучина отделяет его от такого животного, как человек: принципиально это одно и то же! Я не забыл Ваших слов. Да и Вы не забыли: я читал Ваш труд, вышедший в этом году в Берлине, «Система Менделеева как биологические категории альфа-существ». В этом блестящем труде Вы впервые, осторожно, истинно научно, но уверенно доказали, что электроны подарены жизнью, что они движутся, живут и размножаются, что их изучение отныне изъемлется из физики и передается биологической дисциплине. Коллега и учитель! Я не спал три ночи после чтения Вашего труда! У Вас есть в книге фраза: «Дело техников теперь разводить железо, золото и уголь, как скотоводы разводят свиней». Я не знаю, освоена ли кем эта мысль так, как она освоена мной! Позвольте же, коллега, попросить у Вас разрешения посвятить Вашему имени свой скромный труд, всецело основанный на Ваших блестящих теоретических изысканиях и гениальных экспериментах.

Д-р Фаддей Попов,
Москва, СССР».

Запечатав в конверт письмо и рукопись под несколько ненаучным названием «Сокрушитель адова дна», Фаддей Кириллович спешно утрамбовал чемодан книжками и отрывками рукописей, схематически бессознательно надел пальто и вышел на улицу.

В городе сиял электричеством ранний вечер. Круто замешанные людьми, веселые улицы дышали озабоченностью, трудным напряжением, сложной культурой и скрытым легкомыслием.

Фаддей Кириллович влез в таксомотор и объявил шоферу маршрут на далекий вокзал.

На вокзале Фаддей Кириллович купил билет до станции Ржавск. А утром он уже был на месте своего стремления.

От вокзала до города Ржавска было три версты. Фаддей Кириллович прошел их пешком: он любил русскую мертвую созерцательную природу, любил месяц октябрь, когда все неопределенно и странно, как в сочельник накануне всемирной геологической катастрофы.

Идя уже по улицам Ржавска, Фаддей Кириллович читал странные надписи на заборах и воротах, исполненные по трафарету: «Тара», «брутто», «Ю. З.», «болен», «на дорогу собств.», «тормоз не действ.». Оказывается, городок строился железнодорожниками из материалов, принесенных с работы.

Наконец Фаддей Кириллович увидел надпись «Новый Афон». Сначала он подумал, что это кусок обшивки классного вагона, потом увидел вырезанный из бумаги и наклеенный на окне чайник, заурядную личность в армяке, босиком вышедшую на двор по ясной нужде, и догадался, что это гостиница.

– Свободные номера есть? – спросил босого человека Фаддей Кириллович.

– В наличности, гражданин, в полной чистоплотности, в уюте и тепле!

– Цена?

– Рублик, рубль двадцать и пятьдесят копеек!

– Давай за полтинник!

– Пожалуйте наверх!

Проходя, Фаддей Кириллович заметил на том столе, где дежурил этот человек, книжку «Парь пар в мае – будешь с урожаем».

«Народ движется, – подумал Попов, – Петрушка у Гоголя Часослов читал, и то из любопытства, а не впрок».

* * *

В полдень Фаддей Кириллович пошел в окружной исполком. Он попросил у председателя свидания, причем переговорить желательно вдвоем.

Председатель его тотчас же принял. Это был молодой слесарь – обыкновенное лицо, любознательные глаза, острая жажда организации всего уездного человечества, за что ему слегка попадало от облисполкома. У председателя были замечательные руки – маленькие, несмотря на его бывшую профессию, с длинными умными пальцами, постоянно шевелящимися в нетерпении, тревоге и нервном зуде. Лицом он был спокоен всегда, но руки его отвечали на все внешние впечатления.

Узнав, что с ним желает говорить доктор физических наук, он удивился, потом обрадовался и велел секретарю сейчас же открыть дверь, досрочно выпроводив завземотделом, пришедшего с докладом о посеве какой-то клещевины.

Фаддей Кириллович показал председателю бумаги научных институтов и секций Госплана, рекомендующих его как научного работника, и приступил к делу:

– Мое дело просто и не нуждается в доказательствах. Моя просьба обоснована и убедительна и не может быть отвергнута. Пять лет назад в вашем округе производились большие изыскания на магнитную железную руду. Вам это известно. Она обнаружена на средней глубине двести метров. Руду с такой глубины добывать пока экономически невыгодно. Она поэтому оставлена в покое. Я приехал сюда произвести некоторые опыты. Мне не нужно ни сотрудников, ни денег. Я только ставлю вас в известность и прошу отвести мне двадцать десятин земли – можно и неудобной. Район я еще не выбрал – об этом после, когда я вернусь из поездки по округу. Далее – чтобы вы знали, что я приехал сюда не шутить, я скажу вам: работы мои имеют целью, так сказать, подкормить руду – для того, чтобы она разжирела и сама выперла на дневную поверхность земли, где мы ее можем схватить голыми руками. В исходе опытов я уверен, но пока прошу молчать. Через три дня я выберу район и вернусь к вам. Вы поняли меня и согласны мне помочь?

– Понял совершенно. Держите руку, работайте – мы вам помощники!

В тот же день Фаддей Кириллович на подводе выехал в поле – отыскать условную высотную отметку экспедиции академика Лазарева, в районе которой магнитный железняк высовывает язык и лежит на глубине ста семидесяти метров. На вторые сутки Попов нашел на бровке глухого дикого оврага чугунный столб с условной краткой надписью: «Э. М. А. 38, 24, 168, 46, 22».

* * *

Через неделю Фаддей Кириллович прибыл на это место с землемером, который должен отмежевать участок в двадцать десятин, и Михаилом Кирпичниковым.

Кирпичникова рекомендовал Фаддею Кирилловичу председатель окрисполкома как совершенно идеологически выдержанного человека, а Попов увидел, что без помощника ему не обойтись.

Через три дня Попов и Кирпичников привезли из деревни Тыновки, что в десяти верстах, разобранную хатку и собрали ее на новом месте.

– Сколько мы здесь проживем, Фаддей Кириллович? – спросил Кирпичников Попова.

– Не менее пяти лет, дорогой друг, а скорее – лет десять. Это тебя не касается. Вообще не спрашивай меня, можешь каждое воскресенье уходить и радоваться в своем клубе...

И пошли беспримерные дни. Кирпичников работал по двенадцати часов в сутки: покончив дела со сборкой дома, он начал рыть шахту на дне балки. Попов работал не меньше его и умело владел топором и лопатой, даром что доктор физических наук. Так, в глубине равнинной глухой страны, где жили пахари – потомки смелых бродяг земного шара, трудились два человека: один для ясной и точной цели, другой в поисках пропитания, постепенно стараясь узнать от ученого то, чего сам искал, – как случайную нечаянную жизнь человека превратить в вечное господство над чудом вселенной.

Попов молчал постоянно. Иногда он уходил на целый день в грязные ноябрьские поля. Раз Кирпичников слышал

вдали его голос – живой, поющий и полный веселой энергии. Но возвратился Попов мрачный.

В начале декабря Попов послал Кирпичникова в областной город – купить по списку книг и всяких электрических принадлежностей, приборов и инструментов.

Через неделю Кирпичников возвратился, и Фаддей Кириллович начал делать какой-то небольшой сложный прибор.

Один только раз, поздно ночью, когда Кирпичников доливал керосин в лампу, Попов обратился к нему:

– Слушай, мне скучно, Кирпичников! Скажи-ка мне, кто ты такой, есть у тебя невеста, цель жизни, тоска, что-нибудь такое? Или ты только антропоид?

Кирпичников сдержался:

– Нет, Фаддей Кириллович! Ничего у меня нет, а хочу понять дело, которое делаете вы, но вы не говорите: это зря, я бы еще лучше работал. Я пойму, Фаддей Кириллович, честное слово!

– Оставь, оставь, ничего ты не поймешь! Ну, довольно, наговорились, ложись спать, а я посижу еще...

* * *

Фаддей Кириллович отправился в свою очередную прогулку – теперь уже по замерзающим недышащим полям. Кирпичников тесал на дворе сруб для укрепления шахты и вошел в хату за спичкой – закурить.

Подойдя к столу, он прочитал несколько слов из того, что писал Попов ночью, и, не зажегши спички, потерял все окружающее и забыл свое имя и существование.

«Коллега и учитель! К 8-й главе той рукописи, которую я Вам выслал для просмотра, необходимо сделать добавление:

«Из всего сказанного о природе эфира следует сделать неизбежные выводы. – Если электрон есть микроб, то есть биологический феномен, то эфир (то, что я назвал выше «генеральным телом») есть кладбище электронов. Эфир есть механическая масса умерщвленных или умерших электронов. Эфир – это крошево трупов микробов-электронов. С другой стороны, эфир не только кладбище электронов, но также матерь их жизни, так как мертвые электроны служат единственной пищей электронам живым. Электроны едят трупы своих предков.

Несовпадение длительности жизни электрона и человека делает необычайно трудным наблюдение за жизнью этих, пользуясь Вашей терминологией, альфа-существ. Именно, время жизни электронов должно исчисляться цифрой пятьдесят – сто тысяч земных лет, то есть значительно продолжительней жизни человека. Между тем число физиологических процессов в теле электрона, как у более примитивного существа, значительно меньше, чем у человека – высокоорганизованного тела. Следовательно, каждый физиологический процесс в организме электрона протекает с такой ужасающей медленностью, что устраняет возможность непосредственного наблюдения этого процесса даже в самый чувствительный прибор. Это обстоятельство делает природу в глазах человека мертвой. Это страшное разнообразие времен жизни для различных категорий существ суть причина трагедии природы. Одно существо век чувствует как целую эру, другое – как миг.

Это «множество времен» – самая толстая и несокрушимая стена меж живыми, которую с трудом начинает разрушать тяжелая артиллерия человеческой науки. Наука объективно играет роль морального фактора: трагедию жизни она превращает в лирику, потому что сближает в братстве принципиального единства жизни такие существа, как человек и электрон.

Но все же можно ускорить жизнь электрона, если смягчить те явления, которые обусловили длительность его жизни. Необходимо предварительное разъяснение. Эфир, как установлено наукой, необычайно инертная, нереагирующая, лишенная основных свойств материи, сфера. Такая неощутимость и экспериментальная непознаваемость эфира объясняется тем, что «подобное познается подобным», а нет большего неподобия, чем человек и залежи трупов электронов, то есть эфир. Может быть, именно поэтому эфир «лишен» свойств материи, ибо между человеком и живым микробом-электроном – с одной стороны, и эфиром – с другой, есть принципиальное различие. Первые – живы, второй – мертв. Я хочу сказать, что «непознаваемость» эфира скорее психологическая, чем физическая задача.

Эфир, на правах «кладбища», не обладает никакой внутренней активностью. Поэтому те существа (микробы-электроны), которые им питаются, обречены на вечный голод. Питание их обеспечивается подгонкой свежих эфирных масс за счет посторонних случайных сил. В этом причина замедленности жизни электронов. Интенсивная жизнь для них невозможна: слишком замедлен приток питательных веществ. Это и вызвало замедление физиологических процессов в телах электронов.

Очевидно, ускорение подачи питания должно увеличить темп жизни электронов и вызвать их усиленное размножение. Существующая замедленность физиологических актов легко превратится, при благоприятных условиях питания, в бешеный темп, ибо электрон – существо примитивно организованное и биологические реформы в нем чрезвычайно легки.

Следовательно, одно изменение условий питания должно вызвать такую интенсивность всех жизненных отправлений электрона (в том числе и размножение), что жизнь этих существ станет легко наблюдаемой. Конечно, такая интенсивность жизни будет идти за счет сокращения продолжительности жизни электрона.

Вся загадка в том, чтобы уменьшить разницу во времени жизни человека и электрона. Тогда электрон начнет продуцировать с такой силой, что его сможет эксплуатировать человек.

Но как вызвать свободный и усиленный приток питательного эфира к электронам? Как технически создать эфирный тракт – дорогу эфиру?..

Решение просто – электромагнитное русло...»

На этом рукопись Попова обрывалась. Он ее еще не закончил. Кирпичников слова не все понял, но всю сокровенную идею Попова ухватил.

Фаддей Кириллович вернулся поздно. Тотчас же он лег спать, чего никогда не было. Кирпичников посидел еще немного, почитал книжку – «Об устройстве шахтных колодцев» – и ничего в ней не понял.

Есть мысли, которые сами собой ведут человека и командуют его головой, хочет он этого или нет – все едино.

Спать еще не хотелось. Было душно и тревожно. Попов храпел и стонал во сне.

Кирпичников вынул из сундучка свой старый дневник – самодельно сшитую тетрадь, открыл и вчитался: «Март. 20. 9 часов вечера. Мать и дети спят на полу на старой одежде. Нечем даже укрыться. У матери оголилась худая нога – и мне жалко, стыдно и мучительно. Захарушке 11 месяцев, его отняли от груди и питают одной моченой булкой. Какая сволочь жизнь! А может, это я сволочь, что до сих пор не свернул скулу такой подлой жизни? Зачем я позволяю ей так мучать детей и мать... Надо жить для тех, кто делает будущее, кто томится сейчас тяжестью грузных мыслей, кто сам весь будущее, темп и устремление. Таких мало, они затеряны, таких, может быть, нет. Но я для них живу и буду жить, а не для тех, кто гасит жизнь в себе чувственной страстью и душу держит на нуле».

Кирпичников вышел на двор, ухватил бревно и зашвырнул его в лог, как палку. Потом заскрипел зубами, застонал, вонзил топор в порог и улыбнулся. На дворе стояло одно дерево – лоза. Кирпичников подошел, обнял дерево – и их закачало обоих ночным ветром.

* * *

Когда ели утром жареный картофель, Фаддей Кириллович вдруг бросил есть и встал, веселый, полный надежды и хищной радости.

– Эх, земля! Не будь мне домом – несись кораблем небес!

В смертном исступлении крикнул Попов эти неожиданные слова и сам оторопел.

– Кирпичников! – обратился Фаддей Кириллович, – скажи: ты вошь, ублюдок или – мореплаватель? Ответь, обыватель, на корабле мы или в хате? Ага, на корабле – тогда держи руль свинцовыми руками, и не плачь на завалинке! Замолчи, сверчок! Мне известен курс и местоположение... Жуй и на вахту!..

Кирпичников молчал. Попов болел малярией, бормотал во сне несбыточное, днем лютая злость в нем мгновенно переходила в смех. Работа головы высасывала из него всю кровь, и его истощенное тело вышло из равновесия и легко колебалось настроениями. Кирпичников это знал и смутно беспокоился за него.

Одиночество, затерянность в несчетных полях и устремленность к одной цели еще более расшатало душевный порядок Попова, и с ним было тяжело работать. У Фаддея Кирилловича явилась еще страшная и неутомимая тоска по матери, хотя она умерла пятнадцать лет назад. Он ходил по комнате, вспоминал ее обувь в гробу, запах подола и молока, нежность глаз и всю милую детскую родину ее тела... Кирпичников догадывался, что это особая болезнь Попова, но поделать ничего не мог и молчал.

Так прошел месяц или два. Фаддей Кириллович работал все меньше и меньше, наконец, 25 января он совсем не поднялся утром и только сказал:

– Кирпичников! Вычисти хату и убирайся вон – я задумался!

Устроив домашние дела, Кирпичников вышел.

Степь пылила снегом – шла вьюга.

Кирпичников спустился в овраг и закрыл люк над шахтой, где Попов уже начал делать установку приборов.

Вьюга свирепела – и на дворе от нее шевелился инвентарь. Деваться было некуда, и Кирпичников залез на тесный захламленный чердак. Снег свиристел и метался по крыше, и вдруг Кирпичникову послышалась тихая, странная, грустная музыка, которую он слышал где-то очень давно. Отвлеченное плачущее чувство томилось и разрасталось от музыки до гибели человека. И будто эта растущая тоска и воспоминания были единственным утешением человека. Кирпичников прилег и занемог от этого нового робкого чувства, которого в нем никогда не было. Он забыл про стужу и, дрожа, нечаянно заснул. Музыка продолжалась и переходила в сновидение. Кирпичников почувствовал вдруг холодную тяжелую медленную волну, и в нем начало закатываться сознание, борясь и пробуждаясь, уставая от ужаса и собственной тесноты.

Проснулся Кирпичников сразу, будто кто ему крикнул на ухо или земля на что наткнулась и вдруг застопорила. Кирпичников вскочил, стукнулся о крышу и спустился во двор. Буран тряс землю, и, когда он разрывал атмосферу и показывал горизонт, были видны голые почерневшие поля. Снег сдувало в овраги и в глухие долины. Тут Кирпичников заметил, что дверь в хату открыта и туда мело снегом. Когда он вошел в комнату, то заметил бугор снега, и прямо на нем, а не на кровати, лежал мертвый Фаддей Кириллович Попов – бородой кверху, в знакомой жилетке, прильнувшей к старому телу, с печальным пространством на белом лбу. Снег его заметал все глубже, и ноги уже укрыло совсем.

Кирпичников, в полном спокойствии, схватил его под мышки и потащил на кровать. У Фаддея Кирилловича от-

валилась нижняя губа, и он сам повернулся на бок на кровати и поник головой, ища места ближе к центру земли. Кирпичников затворил дверь и разгреб снег на полу. Он нашел пузырек с недопитым розовым ядом. Кирпичников вылил остаток яда на снег – и снег зашипел, исчез газом, и яд начал проедать пол.

На столе, утвержденная чернильницей, лежала неоконченная рукопись: «Решение просто – электромагнитное русло...»

* * *

– Вы коммунист, товарищ Кирпичников? – спросил председатель окружного исполкома.

– Кандидат.

– Все равно. Расскажите, как это случилось? Вы понимаете, что это очень скверная история – не потому, что придется отвечать, а потому, что погиб очень ценный и редкий человек. Записки никакой не нашли?

– Нет.

– Ну, рассказывайте.

Кирпичников рассказал. В кабинете сидели, кроме председателя, еще секретарь комитета партии и уполномоченный ГПУ.

Кирпичникова слушали внимательно. Он рассказал все, даже содержание неоконченной рукописи, вьюгу, распахнутую дверь и странный косой наклон головы Попова, какого не бывает у живого. И еще, что Попов не очень отличался от живого, как будто смерть обыкновенна для него, как и жизнь.

Кирпичников кончил.

– Замечательная история! – сказал секретарь парткома. – Попов несомненный упадочник. Совершенно разложившийся субъект. В нем действовал, конечно, гений, но эпоха, родившая Попова, обрекла его на раннюю гибель, и гений его не нашел себе практического приложения. Растрепанные нервы, декадентская душа, метафизическая философия – все это жило в противоречии с научным гением Попова, и вот – какой конец.

– Да, – сказал председатель исполкома. – Прямо агитация фактами. Наука могущественна, а носители ее – выродки и ублюдки. Действительно, срочно необходимы свежие люди с твердой внутренней установкой...

– А ты только сейчас в этом убедился? – спросил уполномоченный ГПУ. – Чудород ты, брат! Наше дело, по-моему, теперь оформить следствие и затем, если не будет ничего противоречить словам Кирпичникова, назначить его хранителем научной базы Попова. Ну, надо немножко Кирпичникову платить за это. Ты, – обратился он к председателю, – из местного бюджета это устроишь! Затем, надо сообщить в тот научный институт, который командировал сюда Попова, чтобы выслали другого ученого для продолжения дела... А сохранить все надо в целости! Я пошлю сотрудника составить опись. Ведь там есть ценные приборы, рукописи Попова, кой-какой инвентарь и имущество...

– Верно, – сказал председатель. – Давайте на этом кончим. Я проведу все дело через президиум, и тогда зафиксируем наше постановление.

Через неделю закончили следствие, труп Попова от-

правили в Москву, а Кирпичникова назначили сторожем в научную усадьбу Попова, с окладом жалования пятнадцать рублей в месяц.

Кирпичникову вручили копию описи, и он остался один.

Начиналась ранняя заунывная весна – время инерции зимы и мужественного напора солнца.

Заместитель Попова никак не ехал. Кирпичников усердно читал и перечитывал книги и рукописи Попова, рассматривал приборы, построенные здесь же самим Поповым, – и перед ним открывался могучий мир знания, власти и жажды неутомимой жестокой жизни. Кирпичников начал ощущать вкус жизни и увидел ее дикую пучину, где скрыто удовлетворение всех желаний и находятся конечные пункты всех целей.

«Эх, хорошо! – думал Кирпичников. – Зря умер Попов: сам это писал и сам же не понимал. А стоит только понять – и всякому захочется жить...»

Наступило лето. Шло одно и то же. Новый ученый на место Попова не приезжал. Кирпичников начал переписывать рукописи Фаддея Кирилловича начисто, не зная сам для чего, – но так лучше ему понималось.

Наконец в июле приехали двое московских ученых и забрали все наследство Попова – и рукописи, и аппараты.

Кирпичников вернулся работать в черепичную мастерскую, и все кругом для него затихло. Но открывшееся ему чудо человеческой головы сбило его с такта жизни. Он увидел, что существует вещь, посредством которой можно преобразовать и звездный путь, и собственное беспокойное сердце – и дать всем хлеб в рот, счастье в грудь и мудрость

в мозг. И вся жизнь предстала ему как каменное сопротивление его лучшему желанию, но он знал, что это сопротивление может стать полем его победы, если воспитать в себе жажду знания, как кровную страсть.

Кирпичников пошел к председателю исполкома и заявил, что хочет учиться – пусть его отправят на рабфак.

– По следам Попова, сударь, желаете идти? Что же, путь приличный, валяйте! – и дал ему записку, куда следовало ее дать.

Через неделю Кирпичников шел в областной город – полтораста верст на рабфак.

Стоял август. Поля шумели земледельцами, пылили стада по большаку, изумительное молодое солнце улыбалось разродившейся измученной земле.

Рыба играла на речных плесах, деревья чуть-чуть трогались желтой сединой, земля лежала голубым пространством в ту страну и в тот век, куда шел Кирпичников, где его ждало время, роскошное, как песнь.

* * *

Прошло восемь лет – срок, достаточный для полного преображения мира, срок, в который человек перерождается начисто, вплоть до спинного мозга.

Михаил Еремеевич Кирпичников – инженер-электрик, научный сотрудник при кафедре биологии электронов, учрежденной после смерти Попова на основе его трудов.

Кирпичников женат и имеет детей – двух мальчиков. Его жена – бывшая сельская учительница, такая же сторонница немедленного физического преобразования мира,

как и ее муж. Счастливая убежденность в победе любимой науки на всемирном плацдарме и помогла им пережить убийственные годы ученья, нужды, издевательства обывателей и дала смелость родить двух детей. Они верили, что наступает время, когда хлеба будет столько же, сколько воздуха. Кирпичников мозгом ощущал приближение этой раскованной эпохи, когда у человека освободятся руки от труда и душа от угнетения и он сможет перелепить мир.

Голодная и счастливая пребывала эта семья. Шел век социализма и индустриализации, шло страшное напряжение всех материальных сил общества, а благоденствие откладывалось на завтра.

Освоившись с научной работой, Кирпичников не занял кафедры, а пошел, для тренировки, на практическую работу. Кроме высшего образования, Кирпичников имел стаж живой общественной работы и был твердым и искренним коммунистом. Как умный и честный человек, как выходец из черепичной мастерской, он знал, что вне социализма невозможна научная работа и техническая революция. В его время это подразумевалось само собой, как подразумевается, но не сознается биение сердца в живом человеке.

Десять лет прошло со дня смерти Попова. Это сказать легко, но еще легче десять раз погибнуть в эти десять лет. Попробуйте описать эти десять лет во всем их крохоборстве борьбы, строительства, отчаяния и редкого покоя. Невозможно – состаришься, умрешь, а не исчерпаешь темы. Попробуйте в этом диком лесе человечества остаться свежим, мудрым и прямым! Невозможно. Поэтому и Кирпичников, которому был всего тридцать один год, густо поседел на висках и исполосовался морщинами.

В ответ на просьбу практической строительной работы Кирпичникова отправили в Нижнеколымскую тундру – производителем работ по постройке вертикального туннеля. Целью сооружения была добыча внутренней тепловой энергии земли.

Семью Кирпичников оставил в Москве, а сам отправился. Термический вертикальный туннель был опытной работой советского правительства Якутии. В случае успеха работ предполагалось весь край Азиатского материка за Полярным кругом покрыть целой сетью таких туннелей, затем блокировать их энергию посредством единой электропередачи, и на конце электрического провода продвигать культуру, промышленность и население к Ледовитому океану.

Но главная причина туннельных работ была в том, что в равнинах тундры были изысканы остатки неведомых великолепных стран и культур. Почва и подпочва тундры были не материнского, древнегеологического происхождения, а представляли собой наносы. Причем эти наносы покрыли погребальным покровом целую серию древнейших человеческих культур. А благодаря тому, что этот смертный покров над трупами таинственных цивилизаций представлял пленку вечной мерзлоты, погребенные люди и сооружения хранились, как консервы в банке, – целыми, свежими и невредимыми.

Уже то немногое, что случайно найдено учеными в провалах рельефа тундры, представляло неслыханный интерес и вечную ценность. Найдены были трупы четырех мужчин и двух женщин. У женщин сохранились розовые щеки и тонкий аромат легкой гигиеничной одежды. У од-

ного мужчины в кармане найдена книга – маленькая, испещренная изящным шрифтом; ее предполагаемое содержание: изложение принципов личного бессмертия в свете точных наук; в книге описывались опыты по устранению смерти какого-то небольшого животного, срок жизни которого – четверо суток; сфера жизни этого животного (пища, атмосфера, тело и проч.) подвергалась беспрестанному воздействию целого комплекса электромагнитных волн; причем каждый вид волны был рассчитан на убийство отдельного рода губительных микробов в теле животного; так, держа жизнь подопытного животного в поле электромагнитной стерилизации, удалось добиться увеличения срока его жизни в сто раз.

Затем была найдена пирамидальная колонна из дикого камня. Совершенная форма ее напоминала работу токарного станка, но колонна была сорок метров высоты и десять метров в основании.

Трупы людей имели смуглые лица, розовые губы, низкий, но широкий лоб, небольшой рост, широкую грудную клетку и спокойную, мирную, почти улыбающуюся гримасу. Очевидно, или смерть застала их внезапно, или, что вероятнее, смерть была у них совсем другим чувством и другим событием, чем у нас.

Эти открытия разожгли научные страсти всего мира, и общественное мнение форсировало работы по культивированию тундры, с целью полной реставрации древнего мира, залегающего под почвой мерзлого пространства и, быть может, уходящего на дно ледовитого океана.

Страсть к знанию стала новым органическим чувством человека, таким же нетерпеливым, острым и богатым, как

зрение или любовь. Этим чувством иногда подменялись даже непреложные экономические законы и стремление к материальному благополучию общества.

Такова была истинная причина сооружения первого вертикального термического туннеля в тундре.

Система таких туннелей должна стать фундаментом культуры и экономики тундры, а затем ключом в подземные ворота – в мир неизвестной гармонической страны, нахождение которой ценнее изобретения паровой машины и открытия радиевого Монблана.

Ученые думали, что тот отрезок науки, культуры и промышленности, который нам предстоит пройти в течение ближайших ста – двухсот лет, содержится готовым в недрах тундры. Достаточно снять мерзлую почву – и история сделает скачок на век или на два века вперед, а затем снова пойдет своим темпом. Зато какая экономия труда и времени произойдет от такой получки задаром двух будущих веков! С этим не сравнится никакое историческое благодеяние человечества в прошлом! Ради этого стоило сделать дырку в земле, глубиной в два километра.

Кирпичников поехал, сжимая от радости кулаки, чувствуя цель, которую он должен выполнить, как всемирную победу и обручение древнейшей эры с сегодняшним днем.

Не просто была построена знаменитая скважина в тундре – человек мучается, мучит, ошибается и влечет ошибки других, гибнет и возрождается, – потому что он все-таки движется и лезет на стену истории и природы.

Но все же туннель был построен. Вот документ инженера Кирпичникова.

«Центральному Совету Труда.
Управлению работ по сооружению Вертикального Термического Туннеля в Нижнеколымской тундре на 67 параллели.

ОБЩИЙ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДОКЛАД ЗА 1934 ГОД

Термический Вертикальный Туннель (№ 1) окончен 2 декабря этого года. Туннель, как было задано, предназначается для утилизации теплоты нашей планеты, находящейся в ее недрах; эта теплота, превращенная в электрический ток, должна обслуживать район под именем Тао-Лунь, площадью 1100 кв. километров, предназначенный для заселения, с целью работ по сплошному снятию почвенного и подпочвенного покрова с тундровского массива.

Туннель имеет форму усеченного конуса, обращенного усечением внутрь тела земли. Ось его наклонена к плоскости экваториального сечения в 62°. Длина оси туннеля 2080 метров. Диаметр широкого основания на дневной поверхности земли равен 42 метрам, усеченной вершины внутри земли – 5 метрам.

Достигнутая температура на дне туннеля – 184°С (в том месте, где установлены термоэлектрические батареи).

Согласно проекту, утвержденному Советом Труда, работы начались 1 января 1934 года, окончены 2 декабря того же года.

Формовка туннеля достигнута не взрывным методом, как указано было в проекте, а электромагнитными волна-

ми, отрегулированными соответственно микрофизической электронной структуре недр. Электромагнитные волны вибратора были настроены на такую длину и частоту, которые точно совпадали с естественными колебаниями электронов в атомах периферии земли; поэтому, от действия внешней дополнительной силы, увеличивался их размах и получался разрыв атомных орбит, вследствие чего наступала реконструкция ядра атома – его превращение в другие элементы – разрушение.

Мы поставили на поверхности мощные, и в больших пределах регулируемые, резонаторы; нашли экспериментально среднюю волну каждой встречной породы недр, подлежащей разрушению (точнее, распылению, размягчению), – итак, разжевали ствол туннеля во всех поперечных сечениях.

Затем металлическими пятитонными ковшами, скреперного типа, на стальных тросах, мы выели получившуюся туннельную кашу. Впрочем, ее осталось немного после электромагнитной операции: большинство составных частей почвы и недр превратились в газы и улетучились. Одинаково были мягкою пылью и газом – глина, вода, гранит, железная руда.

Всего извлечено твердыми остатками 400 тыс. куб. метров, 640 тыс. куб. метров ушло газами.

Образованное коническое жерло (не совсем точное) открыло 7 горизонтов грунтовых вод, 5-й был с морской водой, а 6-й и 7-й с материнскими геологическими сжатыми водами, сильно газированными, с резкими целительными качествами.

Для откачки этой воды было образовано (взрывным

способом, требовался точный профиль) 7 круглых террас внутри туннеля и установлены насосы-камероны с электрическими приводами. В общей сложности они подавали 120 тыс. куб. метров воды в час. Очистка туннеля от воды – главного препятствия работам – получалась довольно полная, вследствие равновесия между фильтрацией и откачкой воды.

После этого было приступлено (в августе месяце) к проектной формовке туннеля. Благодаря высокой температуре люди опускались только до 1000-го метра; глубже работа производилась на тросах: посредством их устанавливались насосы, рылись кюветы и водосборные бассейны в террасах и управлялись землечерпательные ковши на формовке склонов. Дно и ствол туннеля покрыты терроизолитом сплошь, начальной толщиной слоя (у поверхности земли) в 2 сантиметра и конечной в 1,25 метра.

После сооружения туннеля собранные наверху термоэлектрические батареи вместе с проводами были опущены на тросах на дно туннеля и установлены батарея над батареей – в двенадцать этажей.

Батареи после месячной контрольной работы показали способность непрерывной отдачи по 172800 тыс. киловатт-часов в год, иначе говоря, мощность батареи равна 28000 лошадиных сил.

Концы проводов закреплены на выводящих кронштейнах у поверхности земли, и ток в них ждет своего потребителя.

Энергия пока пущена в почву тундры – тундра тает; тает в первый раз после того, как был ею накрыт и сохранен для нас тот странный и чудесный мир, ради которого, по

распоряжению Центрального Совета Труда, была добыта внутренняя теплота земного шара.

Глав. инж. Верт. Термтуннеля
Вл. Крохов.
Производитель работ
инженер М. Кирпичников.
№ 2/А, 4 ноября 1934».

Вернулся к семье Кирпичников только в апреле месяце, пробыв в отсутствии восемнадцать месяцев.

Он чувствовал себя переутомленным и собирался поехать с женой и мальчишками куда-нибудь в деревню.

Есть люди, бессознательно живущие в такт с природой; если природа делает усилие, то такие люди стараются помочь ей внутренним напряжением и сочувствием.

Может быть, это остаток того чувства единства, когда природа и человек были сплошным телом и жили заодно.

Так бывало у Кирпичникова. Если разгоралось время весны, таял снег и ручьям подпевали южные птицы с неба, Кирпичников был доволен. Когда же неожиданно возвращался снег, заморозки и мрачное молчаливое зимнее небо, Кирпичников печалился и напрягался.

Двадцать восьмого апреля Кирпичниковы поехали в Волошино – дальнюю деревню Воронежской губернии, где когда-то учительствовала Мария Кирпичникова, жена Михаила.

У Марии там были девичьи воспоминания, одинокие годы, милые дни прозревающей души, впервые боровшиеся за идею своей жизни. В оправе скудных волошинских полей лежала душевная родина Марии Кирпичниковой.

Михаила Кирпичникова влекла в Волошино любовь к жене и ее тихому прошлому, а еще то, что около Волошина, в соседнем селе Кочубарове, жил Исаак Матиссен, инженер-агроном, знакомый Кирпичникова. Когда-то, в годы ученья в институте, Кирпичников встречался с ним, и они говорили на близкие им технические темы. Матиссен ушел со второго курса электротехнического института и поступил в сельскохозяйственную академию. В Матиссене Кирпичникова интересовала его теория техники без машин, техники, где универсальным инструментом был сам человек. Матиссен, человек чести, единой идеи и несокрушимого характера, поставил целью своей жизни осуществление своей мысли.

Теперь он был заведующим Кочубаровской опытно-мелиоративной станцией. Кирпичников не видел его шесть лет – чего он добился, неизвестно, но что он старался добиться всего, в этом Кирпичников был уверен.

Уезжая в Волошино, Кирпичников заранее радовался встрече с Матиссеном.

От того Михаила Кирпичникова, который жил когда-то в Гробовске, работал в черепичной мастерской, искал истину и мечтал, осталось немного. Мечты превратились в теории – теории превратились в волю и постепенно осуществлялись. Истина стала не сердечным покоем, а практическим завоеванием мира.

Но одно тревожило Кирпичникова и толкало его на беспокойные изыскания всюду – среди книг, среди людей и чужих научных работ. Это – жажда закончить труд погибшего Попова об искусственном размножении электронов-микробов и технически исполнить эфирный тракт

Попова, чтобы по нем прилить эфирную пищу к пасти микроба и вызвать в нем бешеный темп жизни.

– «...Решение просто – электромагнитное русло...» – бормотал время от времени Кирпичников последние слова неоконченной работы Попова и тщетно искал того явления или чужой мысли, которые бы навели его на разгадку «эфирного тракта». Кирпичников знал, что может дать людям этот эфирный тракт: можно вырастить любое тело природы до любых размеров за счет эфира. Например, взять кусочек железа в один куб. сантиметр, подвести к нему эфирный тракт, и этот кусочек железа на глазах начнет расти и вырастет в гору Арарат, потому что в железе начнут размножаться электроны.

Несмотря на усердие и привязанность к одной проклятой мысли, решение эфирного тракта не давалось Кирпичникову уже много лет. Работая в тундре на термическом туннеле, Кирпичников думал всю долгую, беспокойную, тревожащую полярную ночь все об одном и том же. Его путала еще одна загадка, не решенная в трудах Попова: что такое положительно заряженное ядро атома, в котором присутствует материя?

Если чистые отрицательные электроны и есть микробы и живые тела, то что такое материальное ядрышко атома, к тому же положительно заряженное?

Этого никто не знал. На это были смутные указания и сотни гипотез в научных работах, но ни одно из них не удовлетворяло Кирпичникова. Он искал практического решения, объективной истины, а не субъективного удовлетворения первой попавшейся догадкой, – может быть, и блестящей, но не отвечающей строению природы.

В Волошино Кирпичников поехал на своем автомобиле, который в его время стал орудием каждого человека. Хотя от Москвы до Волошина лежала линия в девятьсот километров, Кирпичников решил ехать на автомобиле, а не в купе вагона. Его с женой влек к себе мало известный путь, ночевки в поселках, скромная природа равнинной северной страны, мягкий ветер в лицо – вся прелесть живого мира и постепенное утопание в безвестности и задумчивом одиночестве.

Они поехали. Машина «алгонда-09» работала бесшумно: бензиновый мотор погиб пять лет назад, сокрушенный кристаллическим аккумулятором ленинградского академика Иоффе. Автомобиль шел на электрической аккумуляторной тяге и только тихо шипел покрышками по асбестоцементному шоссе. Запас энергии «алгонда» имела на десять тысяч километров пути, при весе аккумуляторов в десять килограммов.

И вот развернулась перед путешественниками чудесная натура вселенной, глубину которой десятки веков старались постигнуть мудрецы всех стран и культур, идя дорогой мысленного созерцания. Будда, составители вед, десятки египтян и арабов, Сократ, Платон, Аристотель, Спиноза, Кант, наконец, Бергсон и Шпенглер – все силились догадаться про существо вселенной. А вся суть в том, что догадаться об истине нельзя, до нее можно доработаться: вот когда весь мир протечет сквозь пальцы работающего человека, преображаясь в полезное тело, тогда можно будет говорить о полном завоевании истины. В этом была философия революции, случившаяся восемнадцать лет назад и не совсем оконченная и сейчас.

Понять – это значит прочувствовать, прощупать и преобразить, – в эту философию революции Кирпичников верил всей кровью, она ему питала душу и делала волю боеспособным инструментом.

Кирпичников вел «алгонду», улыбался и наблюдал. Мир был уже не таким, каким его видел Кирпичников в детстве – в глухом Гробовске. Поля гудели машинами; за первые двести километров пути он встретил шесть раз линию электропередачи высокого напряжения от мощных централей. Деревня резко изменила свое лицо – вместо соломы, плетней, навоза, кривых и тонких бревен в строительство вошли черепица, железо, кирпич, толь, террезит, цемент, наконец, дерево, но пропитанное особым составом, делающим его несгораемым. Народ заметно потолстел и подобрел характером. История стала практическим применением диалектического материализма. Искусственное орошение получило распространение до московской параллели. Дождевательные машины встречались так же часто, как пахотные орудия. На север от Москвы дождеватели исчезали, и появлялись дренажные осушительные механизмы. И дождеватели и осушители напоминали по внешнему виду тракторы.

Жена Кирпичникова показывала детям эту живую экономическую географию социалистической страны, и сам Кирпичников с удовольствием ее слушал. Трудная личная жизнь как-то погасила в нем эту простую радость видеть, удивляться и чувствовать наслаждение от удовлетворения любознательности.

Только на пятый день они приехали в Волошино.

В доме, где остановились Кирпичниковы, был вишне-

вый сад, который уже набух почками, но еще не оделся в свой белый неописуемый трогательный наряд.

Стояло тепло. Дни сияли так мирно и счастливо, как будто они были утром тысячелетнего блаженства человечества.

Через день Кирпичников поехал к Матиссену.

Исаак совсем не удивился его приезду.

– Я каждый день наблюдаю гораздо более новые и оригинальные явления, – пояснил Матиссен Кирпичникову, поняв его недоумение равнодушным приемом.

Через час Матиссен немного отмяк.

– Женатый, черт! Привык к сентиментальности. А я, брат, почитаю работу более прочным наследством, чем дети!.. – И Матиссен засмеялся, но так ужасно, что у него пошли морщины по лысому черепу. Видно, что смех его столь же част, как затмение солнца.

– Ну, рассказывай и показывай, чем живешь, что делаешь, кого любишь! – улыбнулся Кирпичников.

– Ага, любопытствуешь! Одобряю и приветствую!.. Но слушай, – я тебе покажу только главную свою работу, потому что считаю ее законченной. Про другие говорить не буду – и не спрашивай!..

– Послушай, Исаак! – сказал Кирпичников, – меня бы интересовала твоя работа над темой техники без машины, помнишь? Или ты уже забыл эту проблему и разочаровался в ней?

Матиссен пожмурился, хотел сострить и удивить приятеля, но, позабыв все эти вещи, тщетно вздохнул, сморщил лицо, привыкшее к неподвижности, и просто ответил:

– Как раз это я тебе и покажу, коллега Кирпичников!

Они прошли плантации, сошли в узкую долину небольшой речки и остановились. Матиссен выпрямился, приподнял лицо к горизонту, как будто обозревая миллионную аудиторию на склоне холма, и заявил Кирпичникову:

– Я скажу тебе кратко, но ты поймешь: ты электрик, и это касается твоей области! Только не перебивай: мы оба спешим – ты к жене (Матиссен повторил свой смех – лысина заволновалась морщинами и челюсти разошлись, в остальном лицо не двигалось), а я – к почве.

Кирпичников промолчал и предложил свой вопрос:

– Матиссен, а где же приборы? Ведь мне хотелось бы не лекцию прослушать, а увидеть твои эксперименты!

– И то и другое, Кирпичников, и то и другое! А все приборы налицо! Если ты их не видишь, значит, ты ничего и не услышишь и не поймешь!

– Я слушаю, Матиссен! – кратко поторопил его Кирпичников.

– Ага, ты слушаешь! Тогда я говорю. – Матиссен поднял камешек, изо всех сил запустил его на другую сторону речки и начал: – Видно даже очам, что всякое тело излучает из себя электромагнитную энергию, если это тело подвергается какой-нибудь судороге или изменению. Верно ведь? И каждому изменению – точно, неповторимо, индивидуально – соответствует излучение целого комплекса электромагнитных волн такой-то длины и таких-то периодов. Словом, излучение, радиация, если хочешь, зависит от степени изменения, перестройки подопытного тела. Дальше. Мысль, будучи процессом, перестраивающим мозг, заставляет мозг излучать в пространство электромагнитные волны.

Но мысль зависит от того, что человек конкретно подумал, – от этого же зависит, как и насколько изменится строение мозга. А от изменения строения или состояния мозга уже зависят волны: какие они будут. Мыслящий, разрушающий мозг творит электромагнитные волны, и творит их в каждом случае по-разному: смотря какая мысль перестраивала мозг. Тебе все ясно, Кирпичников?

– Да, – подтвердил Кирпичников, – дальше!

Матиссен сел на кочку, потер усталые глаза и продолжал:

– Опытным путем я нашел, что каждому роду волны соответствует одна строго определенная мысль. Я, понятно, несколько обобщаю и схематизирую, чтобы ты лучше понял. На самом деле все гораздо сложнее. Так вот. Я построил универсальный приемник-резонатор, который улавливает и фиксирует волны всякой длины и всякого периода. Но скажу тебе, что даже одной, самой незначительной и короткой мыслью вызывается целая сложнейшая система волн.

Но все же мысли, скажем, «окаянная сила» (помнишь этот дореволюционный термин?) соответствует уже известная, экспериментально установленная система волн. От другого человека она будет лишь с маленькой разницей.

И вот, свой приемник–резонатор я соединил с системой реле и исполнительных аппаратов и механизмов, сложных по технике, но простых и единых по замыслу. Но эту систему надо еще более усложнить и продумать. А затем распространить по всей земле для всеобщего употребления. Пока же я действую на незначительном участке и для определенного цикла мыслей.

Теперь гляди! Видишь, на том берегу у меня посажена капустная рассада. Видишь, она уже засохла от бездождия. Теперь следи: я четко думаю и даже выговариваю, хотя последнее не обязательно: о-р-о-с-и-т-ь! Гляди на другой берег, голова!..

Кирпичников всмотрелся на противоположный берег речонки и только сейчас заметил полузакрытую кустом небольшую установку насосного орошения и какой-то компактный прибор. Вероятно, приемник-резонатор, догадался Кирпичников.

После слова Матиссена – оросить – насосная установка заработала, насос стал сосать из речки воду, и по всему капустному участку из форсунок-дождевателей забили маленькие фонтанчики, разбрызгивающие мельчайшие капельки. В фонтанчиках заиграла радуга солнца, и весь участок зашумел и ожил: жужжал насос, шипела влага, насыщалась почва и свежели молодые растеньица.

Матиссен и Кирпичников молча стояли в двадцати метрах от этого странного самостоятельного мира и наблюдали.

Матиссен ехидно посмотрел на Кирпичникова и сказал:

– Видишь, чем стала мысль человека? Ударом разумной воли! Не правда ли?

И Матиссен уныло улыбнулся своим омертвевшим лицом.

Кирпичников почувствовал горячую жгущую струю в сердце и в мозгу такую же, какая ударила его в тот момент, когда он встретил свою будущую жену. И еще Кирпичников сознал в себе какой-то тайный стыд и тихую робость – чувства, которые присущи каждому убийце, даже тогда,

когда убийство совершено в интересах целого мира. На глазах Кирпичникова Матиссен явно насиловал природу. И преступление было в том, что ни сам Матиссен, ни все человечество еще не представляли из себя драгоценностей дороже природы. Напротив, природа все еще была глубже, больше, мудрее и разноцветней всех человеков.

Матиссен разъяснил:

– Вся штука чрезвычайно проста! Человек, то есть я, в данном случае находится в сфере исполнительных механизмов, и его мысль (например, «оросить») есть в плане возможности исполнительных машин: они так построены. Мысль – оросить – воспринимается резонатором. Этой мысли соответствует строгая неповторимая система волн. Именно только волнами такой-то длины и таких-то периодов, какие эквивалентны мысли «оросить», замыкаются те реле, которые управляют в исполнительных механизмах орошением. То есть там прямо замыкается ток и начинает действовать агрегат электромотор-насос. Поэтому через миг после мысли человека – оросить – под корнями капусты уже блестит вода.

Такая высшая техника имеет целью освободить человека от мускульной работы. Достаточно будет подумать, что надо, чтобы звезда переменила путь... Но я хочу добиться, чтобы обойтись без исполнительных механизмов и без всяких посредников, а действовать на природу прямо и непосредственно голой пертурбацией мозга. Я уверен в успехе техники без машин. Я знаю, что достаточно одного контакта между человеком и природой – мысли, – чтобы управлять всем веществом мира! Понял?.. Я поясню. Видишь, в каждом теле есть такое место, такое сердечко, что

если дать по нем щелчком – все тело твое: делай с ним что хочешь! А если язвить тело как нужно и где нужно, то оно будет само делать то, что его заставишь! Вот я считаю, что той электромагнитной силы, которая испускается мозгом человека при всяком помышлении, вполне достаточно, чтобы так уязвлять природу, что эта Маша станет нашей!..

Кирпичников на прощанье сжал руку Матиссену, а потом обнял его и сказал с горячим чувством и полной искренностью:

– Спасибо, Исаак! Спасибо, друг! Знаешь, только одна еще есть проблема, которая равна твоей! Но она еще не решена, а твоя почти готова... Прощай! Еще раз спасибо тебе! Надо всем работать, как ты – с резким разумом и охлажденным сердцем! До свиданья!

– Прощай! – ответил Матиссен и полез вброд, не разуваясь, на ту сторону своей маловодной речонки.

* * *

Пока Кирпичников отдыхал в Волошине, мир сотрясала сенсация. В Большеозерской тундре экспедицией профессора Гомонова откопаны два трупа: мужчина и женщина лежали обнявшись на сохранившемся ковре. Ковер был голубого цвета, без рисунка, покрытый тонким мехом неизвестного животного. Люди лежали одетыми в плотные сплошные ткани темного цвета, покрытые изображениями изящных высоких растений, кончавшихся вверху цветком в два лепестка. Мужчина был стар, женщина молода. Вероятно, отец и дочь. Лица и тела были того же строения, что и люди, обнаруженные в Нижнеколымской тундре. То же

выражение спокойных лиц: полуулыбка, полусожаление, полуразмышление, – будто воин завоевал мраморный неприступный город, но среди статуй, зданий и неизвестных сооружений упал и умер, усталый и удивленный.

Мужчина крепко сжимал женщину, как бы защищая ее покой и целомудрие для смерти. Под ковром, на котором лежали эти мертвые обитатели древней тундры, были найдены две книги, – одна была напечатана тем же шрифтом, что и книжка, найденная в Нижнеколымской тундре, другая имела иные знаки. Эти знаки были не буквами, а некоторой символикой, однако с очень точным соответствием каждому символу отдельного понятия. Символов было чрезвычайное множество, поэтому ушло целых пять месяцев на их расшифровку. После этого книга была переведена и издана под наблюдением Академии филологических наук. Часть текста найденной книги осталась неразгаданной: какой-то химический состав, вероятно находившийся в ковре, безвозвратно погубил драгоценные страницы – они стали черными, и никакая реакция не выявляла на них символических значков.

Содержание найденного произведения было отвлеченно-философское, отчасти историко-социологическое. Все же сочинение представляло такой глубокий интерес как по теме, так и по блестящему стилю, что книжка в течение двух месяцев вышла в одиннадцати изданиях подряд.

Кирпичников выписал книгу. Везде и всюду он искал одного – помощи для разгадки эфирного тракта.

Когда он посетил Матиссена, на обратном пути что-то зацепилось в его голове, он обрадовался, но потом снова все распалось – и Кирпичников увидел, что работы Ма-

тиссена имеют лишь отдаленное родство с его мучительной проблемой.

Получив книгу. Кирпичников углубился в нее, томимый одною мыслью, ища между строк неясного намека на решение своей мечты. Несмотря на дикость, на безумие искать поддержки в открытии эфирного тракта у большеозерской культуры, Кирпичников с затаенным дыханием прочел сочинение мертвого философа.

Сочинение не имело имени автора, называлось оно «Песни Аюны». Прочитав его, Кирпичников ничему не удивился – ничего замечательного в сочинении не содержалось.

– Как скучно! – сказал Кирпичников. – И в тундре ничего путного не думали! Все любовь, да творчество, да душа, а где же хлеб и железо?..

* * *

Кирпичников сильно затосковал, потому что он был человеком, а человек обязательно иногда тоскует. Ему случилось уже тридцать пять лет. Построенные им приборы для создания эфирного тракта молчали и подчеркивали заблуждение Кирпичникова. Фразу Попова – «Решение просто электромагнитное русло» – Кирпичников всячески толковал посредством экспериментов, но выходили одни фокусы, а эфирного пищепровода к электронам не получалось.

– Так-с! – в злобном исступлении сказал себе Кирпичников. Следовательно, надо заняться другим! – Тут Кирпичников прислушался к дыханию жены и детей (была

ночь и сон), закурил, прислушался к шуму Тверской за окном и сразу зачеркнул все. – Тогда тебе надо пуститься пешему по земле, ты гниешь на корню, инженер Кирпичников! Семья? Что ж жена красива, новый муж к ней сам прибежит, дети здоровы, страна богата прокормит и вырастит! Это единственный выход, другой – смерть на снежном бугре у распахнутой двери: выход Фаддей Кирилловича!.. Да-с, Кирпичников, таковы дела!

Кирпичников вздохнул с чрезвычайной сентиментальностью, а на самом деле искренне и мучительно.

– Ну что я сделал? – продолжал он шепотом ночную беседу с самим собой. – Ничего. Туннель? Чепуха: сделали бы и без меня. Крохов был талантливее меня. Вон Матиссен – действительно работник! Машины пускает мыслью! А я... а я обнял жизнь, жму ее, ласкаю, а никак не оплодотворю... Будто женился человек, а сам только с виду мужчина и обманул жену...

Кирпичников тут спохватился:

– Философствуете, сударь? В отчаяние впали? Стоп! Это, брат, нервы у меня расшились: простая физиологическая механика, субъективно не имеющая страдания... Так зачем же ты страдаешь?

Зазвонил неожиданно и не вовремя телефон:

– У телефона Крохов. Здорово, Кирпичников!

– Здравствуй, что скажешь?

– Я, брат, получил назначение. Еду на Фейссуловскую атлантическую верфь: первое компрессорно-волновое судно строить. Знаешь эту новую конструкцию: судно идет за счет силы волн самого океана! Проект инженера Флювельберга.

– Ну, слыхал, а я-то при чем тут?

– Что ты бурчишь? У тебя изжога, наверно! Чудак, я еду главным инженером верфи, а тебя вот зову своим заместителем! Я ведь корабельщик по образованию – справимся как-нибудь, и сам Флювельберг будет у нас! Ну как, едем?

– Нет, не поеду, – ответил Кирпичников.

– Почему? – спросил пораженный Крохов. – Ты где работаешь-то?

– Нигде.

– Ну, смотри, парень! Пройдет изжога, пожалеешь! Я подожду неделю.

– Не жди, не поеду!

– Ну, как хочешь!

– Прощай.

– Спокойной ночи.

Кирпичников прошел в спальню. Постоял молча в дверях, потом надел старое пальто, шляпу, взял мешок и ушел из дому навсегда. Он ни о чем не сожалел и питался своей глухою тревогой. Он знал одно: устройство эфирного тракта поможет ему опытным путем открыть эфир, как генеральное тело мира, все из себя производящее и все в себя воспринимающее. Он тогда технически, то есть единственно истинно, разъяснит и завоюет всю сферу вселенной и даст себе и людям горячий ведущий смысл жизни. Это старинное дело, но мучительны старые раны. Только людские ублюдки кричат: нет и не может быть смысла жизни – питайся, трудись и молчи. Ну, а если мозг уже вырос и так же страстно ищет своего пропитания, как ищет его тело? Тогда как? Тогда труба, выкручивайся сам, в этом мало люди помогают.

Вот именно! Найдите вы человека, который живет не евши! Кирпичников же вошел в ту эпоху, когда мозг неотложно требовал своего питания, и это стало такой же горячей воющей жаждой, как голод желудка, как страсть пола!

Может быть, человек, незаметно для себя, рождал из своих недр новое великолепное существо, командующим чувством которого было интеллектуальное сознание, и ничто иное! Наверное, так. И первым мучеником и представителем этого существа – был Кирпичников.

Кирпичников пошел пешком на вокзал, сел в поезд и поехал на свою забытую, заросшую забвением родину – Гробовск. Там он не был двенадцать лет. Ясной цели у Кирпичникова не было. Он влекся тоскою своего мозга и поисками того рефлекса, который наведет его мысль на открытие эфирного тракта. Он питался бессмысленной надеждой обнаружить неизвестный рефлекс в пустынном провинциальном мире.

Очутившись в вагоне, Кирпичников сразу почувствовал себя не инженером, а молодым мужичком с глухого хутора и повел беседу с соседями на живом деревенском языке.

* * *

Русское овражистое поле в шесть часов октябрьского утра – это апокалипсическое явление, кто читал древнюю книгу – Апокалипсис. Идет смутное столпотворение гор сырого воздуха, шуршит робкая влага в балках, в десяти саженях движутся стены туманов, и ум пешехода волнует скучная злость. В такую погоду, в такой стране, если ляжешь спать в деревне, может присниться жуткий сон.

И действительно, по дороге, выспавшись в ближней деревне, шел человек. Кто знает, кем он был. Бывают такие раскольники, бывают рыбаки с верхнего Дона, бывает прочий похожий народ. Пешеход был не мужик, а, пожалуй, парень. Он поспешал, сбивался с такта и чесал сырые худые руки. В овраге стоял пруд, человек сполз туда по глинистому склону и попил водицы. Это было ни к чему – в такую погоду, в сырость, в такое прохладное октябрьское время не пьется даже бегуну. А путник пил много, со вкусом и жадностью, будто утоляя не желудок, а смазывая и охлаждая перегретое сердце.

Очнувшись, человек зашагал сызнова, глядя как напуганный.

Прошло часа два; пешеход, одолевая великие грязи, выбился из сил и ждал какую-нибудь нечаянную деревушку на своей осенней дороге.

Началась равнина, овраги перемежились и исчезли, запутавшись в своей глуши и заброшенности.

Но шло время, а никакого сельца на дороге не случалось. Тогда парень сел на обдутый ветрами бугорок и вздохнул. Видимо, это был хороший молчаливый человек и у него была терпеливая душа.

По-прежнему пространство было безлюдно, но туман уползал в вышину, обнажались поздние поля с безжизненными остьями подсолнухов, и понемногу наливался светом скромный день.

Парень посмотрел на камешек, кинутый во впадину, и подумал с сожалением об его одиночестве и вечной прикованности к этому невеселому месту. Тотчас же он встал и опять пошел, сожалея об участи разных безымянных вещей в грязных полях.

Скоро местность снизилась, и обнаружилось небольшое село – дворов пятнадцать.

Пеший человек подошел к первой хате и постучал. Никто ему не ответил. Тогда он самовольно вошел внутрь помещения.

В хате сидел нестарый крестьянин, бороды и усов у него не росло, лицо был утомлено трудом или подвигом. Этот человек как будто сам только вошел в это жилье и не мог двинуться от усталости, оттого он и не ответил на стук вошедшего.

Парень, житель Гробовского округа, вгляделся в лицо нахмуренного сидельца и сказал:

– Феодосий! Нюжли возвратился?

Человек поднял голову, засиял хитрыми умными глазами и ответил:

– Садись, Михаил! Воротился, нигде нет благочестия – тело наружи, а душа внутри. Да и шут ее знает – кто ее щупал – душу свою...

– Што ж, хорошо на Афоне? – спросил Михаил Кирпичников.

– Конечно, там земля разнообразней, а человек – стервец, – разъяснял Феодосий.

– Что ж теперь делать думаешь, Феодосий?

– Так чохом не скажешь! Погляжу пока, – шесть лет ушло зря, теперь бегом надо жить! А ты куда уходишь, Михаил?

– В Америку. А сейчас иду в Ригу на морской пароход!

– Далече. Стало быть, дело какое имеешь знаменитое?

– А то как же!

– Стало быть, дело твое сурьезное?

– А то как же! Бедовать иду, всего лишился!

– Видать, туго задумал ты свое дело?

– Знамо, не слабо. Без харчей иду, придорожным приработком кормлюсь!

– Дело твое крупное, Михайла...

Пустая хата пахла не по-людски. Мутные окна глядели равнодушно и разуверяли человека: оставайся, не ходи никуда, живи молча в укромном месте!

Михаил и Феодосий разулись, развесили мокрые портянки и закурили, уставившись на стол рассеянными глазами.

– Что-то дует! Михайла, захлобысни дверь! – сказал Феодосий.

Устроив это, Михаил спросил:

– Небось тепло теперь в Афонском монастыре! Небось покойно живется там. Чего сбежал из монахов?

– Оставь, Михаил, мне нужна была истина, а не чужеродные харчи. Я хотел с Афона в Месопотамию уйти – говорят, там есть остатки рая, а потом передумал. Года ушли, уж ничего не нужно стало. Только вспомнишь детей, и как-то жалко станет. Помнишь, трое детей умерло у меня в одно лето?.. Уж двадцать годов прошло, небось кость да волос остались в могиле... Эх, жутко мне чего-то, Михаил!.. Оставайся ночевать, может, дорога к утру заквокнет...

– И то, останусь, Феодосий. Этак до Риги не дойдешь!

– Вари картохи! Жрать с горя тянет...

Уснувши спозаранок, Феодосий и Михаил проснулись ночью. Огня в хате не было; за окном стояла нерушимая и безысходная тишина. Как будто и поля проснулись, но был час ночи, до утра далеко, и они лежали и скучали, как люди.

Почуяв, что Михаил не спит, Феодосий спросил:

– Из Америки-то думаешь возвращаться?

– Затем и еду, чтоб вернуться.

– Едва ли: дюже далеко!

– Ничего, обучусь нужному делу и ворочусь!

– Мудрому делу скоро не обучишься.

– Это верно, дело мое богатое, скоро не ухватишь!

– Насчет чего же дело твое?

– Пыточный ты человек, Феодосий, был на Афоне и в иностранных державах, рай искал, а насущного ничего не узнал...

– Это истинно, кому что!

– Мужикам одно нужно – достаток! У нас ржи – хоть топи ей, а все не богато живем и туго идем на поправку. В этом году рожь до двугривенного доходила – вот тебе и урожай!

– А чего же ты задумал?

– Слыхал про розовое масло? – неожиданно для себя выпалил Кирпичников, смутно вспомнив какую-то старую, давно слышанную историю. И это его спасло, потому что ясного ответа – на вопрос о своем странствии он не имел даже для себя.

– Слыхал – гречанки тело мажут им для прелести.

– Это што! Это для духовитости. Из розового масла знаменитые лекарства делают – человек не стареет, кровь ободряют, волос выращивают я по книжке изучал. Я ее с собой несу. В Америке половина земли розами засажена – по тыще рублей в год чистого прибытка десятина дает! Вот где, Феодосий, мужицкое счастье...

Михаил говорил зажмурившись, в избытке благород-

ного чувства, но думая совсем о другом. Открыв глаза, он заметил, что в окне посерело, он слез с печки и стал собираться в Америку, не стравливая зря времени.

– Куда ты? – спросил Феодосий.

– Пора уходить, мне еще далече идти. Отдохнул – и в ход, а то я томиться начинаю, когда задерживаюсь!

– Рано еще, наварим кулешу, поешь и пойдешь.

– Нет, пойду, день и так короток!

– Ну, как хочешь... Ты, стало быть, в Америке хочешь узнать, как розовое масло делается?

– Догадался? А ты думал, я свечки там делать буду? Наша земля сотворена для розы! На нашем черноземе только розе и расти! Ты погляди, Феодосий, благоухание какое будет – все болезни пропадут!..

– Да, дело твое лепное! Ну, ступай, чудотворец, поглядим – подышим! Много тогда рассады, должно, потребуется! Скорей только ворочайся и в морях не утопни!

Кирпичников вышел и пропал в полях. Он был доволен ночевкой, Феодосием – восемнадцать лет пропадавшим где-то в поисках праведной земли и увидевшим в нем только черепичного мастера – и своей хорошей беседой с ним. Но в этой беседе была и правда – Кирпичников на самом деле собрался в Америку, ища там невиданных новостей жизни, заранее им радуясь, чувствуя в себе необъяснимое освобождение.

Пройдя сквозь европейский кусок СССР, Михаил достиг Риги. Он шел четыре месяца. Задерживала его не столько дальность дороги, сколько заработки по хуторам, где он поденно батрачил. Как только он зарабатывал пищи на неделю, он бросал хозяина с его заботами и уходил в направлении Балтийского моря.

В Риге в Михаиле Кирпичникове проснулся инженер. Его поразила прочность домов – ни ветер, ни вода такие постройки не возьмет, – одно землетрясение может поразить такие монументы. Сразу почуял в Риге Михаил всю тщету, непрочность и страх сельской жизни. В Москве он почему-то про это не думал. Еще удивил Михаила этот город стройной задумчивой торжественностью зданий и крепкими спокойными людьми. Несмотря на образование и жизнь в Москве, в Кирпичникове сохранилась первобытность и способность удивляться простым вещам. Михаил нечаянно для себя подумал, что действительно нежное масло душных и пьяных роз способно построить вечные здания в древних балках его родины и в этих зданиях поселятся довольные вежливые мужики.

Так, незаметно, голова Кирпичникова переводилась на другую идею, чтобы дать отдых первой.

По ровным цементным дорогам побегут чистоплотные автомобили, шурша узорной резиной, развозя мужиков в гости к кумовьям верст за двести и далее. Феодосий, наверное, тогда женится, купит сто пудов бензину и поедет в Месопотамию смотреть остатки обители умершего бога.

Хорошо будет. Встанешь утром, воткнул рычаги, повернул кнопки жарится завтрак, греется чай, насос пыль из комнаты высасывает, в руках находится умная книга. Женщину не за что терзать, и ей нечего мучиться, борясь с неуютностью жизни, – и женщина тогда порозовеет щеками, потому что в поле будут расти розы, а не рожь. Женщина тогда станет настоящей матерью могучих людей, которые народятся в мир и дадут ему здоровье и покойную силу. Будущие женщины станут похожими на своих сестер, откопанных в тундре.

Михаил ходил по Риге и улыбался от удовольствия видеть такой город и иметь в себе верную мысль всеобщего богатства и здоровья. Ходил он столько дней, пока у него не вышли харчи; тогда он пошел в порт.

Кирпичников окончательно убедился, что розы – верная мысль и надежный источник народного обогащения. Еще далеко не все богаты были, даже в Советской стране.

Голландский пароход «Индонезия», сгрузив индиго, чай и какао, грузился лесом, деревообделочными машинами, пенькой и разными изделиями советской индустрии. Из Риги он должен идти в Амстердам, там он произведет текущий ремонт машин, а затем уйдет в Сан-Франциско, в Америку.

Михаила Кирпичникова взяли на него помощником кочегара – подкидчиком угля, потому что Кирпичников согласился работать за половинную цену.

Через десять дней «Индонезия» тронулась, и перед Михаилом открылся новый могучий мир пространства и бешеной влаги, о котором он никогда особенно не думал.

Океан неописуем. Редкий человек переживает его по-настоящему, тем чувством, какого он достоин. Океан похож на тот великий звук, который не слышит наше ухо, потому что у этого звука слишком высок тон. Есть такие чудеса в мире, которые не вмещают наши чувства, именно потому, что наши чувства их не могут вынести, а если бы попробовали, то человек разрушился бы.

Вид океана снова убедил Михаила в необходимости достигнуть богатой жизни и отыскать эфирный тракт, а вечная работа воды заряжала его энергией и упорством.

Эфир уже сочетался с розой в сознании Кирпичникова,

и, экономя образ, он иногда воображал себе розу, опущенную в синий дух эфира.

В Сан-Франциско Кирпичникову посоветовали идти в Калифорнию – там есть округ Риверсайда, где много лимонных садов и цветоводов. Там именно и занимаются выгонкой розового масла, и имеется для этого большой завод.

И Кирпичников двинулся вдоль Америки.

У одного фермера, где Кирпичников нанялся на прочистку сада, была дочь. Михаилу она очень понравилась, до того она была ласковая и миловидная. Ее звали Руфью. Руфь была прилежна в работе, имела твердые руки и смело водила «форд». Она же заведовала всеми машинами и орудиями на ферме и была за машиниста на водокачке, которая подавала воду на орошение сада. Руфь была русая, голубоглазая и по характеру, по сердечности и серьезности напоминала русскую.

И Кирпичников захотел остаться на ферме. Отец Руфи ценил прилежание Михаила, относился к нему хорошо и, наверное, оставил бы Михаила на неопределенное время. Тем более на ферме не было ни слесаря, ни кузнеца, а Михаил знал это дело.

Но раз ночью Михаил проснулся. На колодце чвакал двигатель, нагнетая воду в сад. Хутор спал, и Михаил почувствовал тоску и тревогу. Он вспомнил розы, Россию, Феодосия, Попова, эфирный тракт, работающий океан – и стал одеваться. Деньги у него были, двадцать долларов, и он вышел в прохладную ночь. Была за фермой тьма, какой-то город сиял ночным чудом на далеком холме – и Михаил молча пошел дальше на Калифорнию, в лимонный округ Риверсайда.

* * *

Десять лет прошло, как ушел Михаил из Ржавска, успев кончить рабфак и электротехнический институт и попасть в Америку в научную командировку. Всюду он искал решение задачи мертвого Попова. В свежее утро раннего лета, среди молодых розовых гор Калифорнии, шагал Михаил к далеким лимонным рощам и цветочным полям Риверсайда.

Кирпичников чувствовал в себе сердце, в сердце был напор крови, а в крови – надежда на будущее, – на сотни счастливых советских лет, напоенных благотворным газом роз и накормленных эфирным железом.

И Михаил спешил среди ферм, обгоняя мощные стада, сквозь веселый белый бред весенних вишневых садов. Калифорния немного напоминала Украину, где Кирпичников бывал мальчиком, но народ был сплошь здоровый, рослый и румяный, а коричневые обнажения древних горных пород напоминали Кирпичникову, что родина его далеко и что там сейчас, наверное, грустно.

И, свирепея, отчаиваясь, завидуя, упираясь в твердые ноги, Кирпичников почти бежал, спеша достигнуть таинственный Риверсайд, где сотни десятин под розами, где из нежного тела беззащитного цветка выгоняется тончайшая драгоценная влага и где, быть может, работает возбудитель того рефлекса, который выведет его на эфирный тракт: в Риверсайде находилась тогда знаменитая лаборатория по физике эфира, принадлежащая Американскому электрическому униону.

Четверо суток шел Михаил. Он немного заблудился и дал круг километров в пятьдесят.

Наконец он достиг города Риверсайда. В городе было всего домов с тысячу; но улицы, электричество, газ, вода – все было удобно обдумано и устроено, как в лучшей столице.

У околицы города висела вывеска:

«Путник, только у Глэн-Бабкока, в гостинице «Четырех стран света», высосут пыль из твоей одежды (вакуум-пюпитры), предложат влагу лучших источников Риверсайда, накормят стерилизованной пищей, почти не дающей несваренных остатков, и уложат в постель с электрическими грелками и рентгенокомпрессором, изгоняющим тяжелые сновидения».

Кирпичников немного понимал по-английски и теперь развлекался этими надписями.

«Американцы! В Вашингтоне – ваша мудрость! В Нью-Йорке – слава! В Чикаго – кухня! В Риверсайде – ваша красота! Американцы, вы должны быть настолько красивы, насколько энергичны и богаты: заказывайте тоннами пудру «Ривергрэн»!»

«В Фриско наши корабли, в Риверсайде – наши женщины! Американки, объясните мужьям – нашей стране нужны не только броненосцы, но и цветы! Американки, записывайтесь в Добровольную Ассоциацию Поощрения Национального Цветоводства: Риверсайд, 1, А/34».

«Масло розы – основа богатства нашего округа! Масло розы – основа здоровья нации! Американцы, уснащайте ваши мужественные тела эссенцией розы – и вы не потеряете мужества до ста лет!»

«В Азии – Месопотамия, но без рая! В Америке – Риверсайд, но в раю!»

«Элементы нашего национального рая, суть:

Пища – Жилище – Влага: Глэн-Бабкок;

Одежда – Красота – Мораль: Кацманзон;

Искусство – Рассуждение – Религия – Пути Поведения – Вечная Слава: универсальное блок-предприятие Звездного треста;

Вечный покой: Анонимная Компания «Урна»;

Эксплуатация времени в целях смеха и развлечения: изолированная обитель «Древо Евы»;

Препараты «Антисексус»: Беркман, Шотлуа и Смит.».

«Ходят только в башмаках Скрэга, в остальной обуви ползают!»

«Приведи в действие тормоз опасности! Стоп! Дальше – конец света! Зайди в наш дом «Сотворение мира»!»

«Джентльмены! Танец творит человека – творите себя: танцзала напротив! Маэстро Майнрити: стаж 50 лет в странах Европы».

«Помолись! Каждый обречен на смерть! Встреча с Богом неминуема! Что ты скажешь ему? Зайди в Дом Абсолютной Религии! Вход бесплатный. Хор юных девушек зафиксированного целомудрия! Оживленная Статуя Истинного Бога! Мистические процедуры, стихи, музыка нерожденных душ, ароматное помещение! Кино религиозными методами иллюстрирует современность, пастор Фокс доказывает соответствие Истории и Библии! Посетившему гарантируется стерилизация души и возвращение перводушевности!»

«Звездное Знамя есть Знамя Небесного Бога! Аллилуйя!»

«Наклони голову: тебя ждут обувные автоматы и препараты против пота!»

«Главное в жизни – Пища! И – наоборот! Усовершенствованные экскрементарии в каждом квартале Риверсайда ждут тебя! Осознай желудок!»

«Аэропланы в розницу с бесплатной упаковкой: Эптон Гаген».

Кирпичников хохотал. Он читал где-то, что американцы по развитию мозга – двенадцатилетние мальчики. Судя по Риверсайду, это была точная правда.

Работу себе нашел Кирпичников через четыре дня: машинистом на насосной станции, поднимающей воду из реки Квебека в лимонные сады. На заводе розовых масел работы не было и не предвиделось. Кирпичников решил обождать.

Прошел монотонный месяц. Кругом жили глупые люди: работа, еда, сон, ежевечернее развлечение, абсолютная вера в бога и в мировое первенство своего народа! Очень любопытно! Кирпичников наблюдал, молчал и терпел, друзей никаких не имел.

Адреса своего Кирпичников дома не оставил, записки тоже, однако то, что он отправился в Америку, на родине было известно. Кирпичников, как всегда, внимательно читал газеты, и однажды увидел в «Чикагском ораторе» следующее объявление:

«Мария Кирпичникова просит своего бывшего мужа Михаила Кирпичникова вернуться на родину, если ему дорога жизнь жены. Через три месяца Кирпичников жену в живых не застанет. Это не угроза, а просьба и предупреждение».

Кирпичников вскочил, бросился к машине и закрыл клапан паропровода. Машина остановилась.

Сейчас же зазвонил телефон:

– Алло! В чем дело, механик?

– Посылайте смену до срока! Ухожу!

– Алло! В чем дело? Куда уходите? Что за шутки дьявола? Пустите сейчас же насос, иначе взыщем убытки! Алло, вы слушаете? Достаточно ли у вас долларов для уплаты штрафа? Я звоню полиции!

– Убирайся к черту, двенадцатилетний дурак! Я предупредил – я ухожу без расчета!

Кирпичников выбежал по мостику с плавучего понтона, на котором помещалась установка, и пустился по долине Квебека на запад, не успевая думать. Солнце жалило зноем, горизонт закрыт горами, подошвы которых устланы тучными плантациями, и жаль было, что великолепные плоды земли превращались в конечном счете в темную глупость и бессмысленное наслаждение человека.

* * *

Снова пошли дни, мучительные поиски заработка, тысячи затруднений и приключений. Описание даже обычного дня человека заняло бы целый том, описание дня Кирпичникова – четыре тома. Жизнь – в работе молекул; никто еще не уяснил себе, ценою каких трагедий и катастроф согласуется бытие молекул в теле человека и создается симфония дыхания, сердцебиения и размышления. Это неизвестно. Потребуется изобретение нового научного метода, чтобы его заостренным инструментом просверлить скважины в пучинах нутра человека и посмотреть, какая там страшная работа.

Снова океан. Но Кирпичников уже не кочегар на судне, а пассажир. В Нью-Йорке он попал в мертвую хватку голода. Работы не было, и он вышел из бедствия лишь случайно. Еще в студенческие годы он изобрел однажды точный регулятор напряжения электрического тока. После недельной сплошной голодовки он начал обходить тресты и предприятия с предложением своего изобретения.

Наконец Западная индустриальная компания купила у него проект регулятора. Однако его заставили изготовить рабочие чертежи всех деталей. Кирпичников просидел над этим делом два месяца и получил всего двести долларов. Это его спасло.

Вез его океанский пароход «Гамбург – Америка линии» со средней скоростью шестьдесят километров в час. Кирпичников знал свою жену и был уверен, что если он не поспеет к сроку домой – она будет мертвой. Самоубийства он не допускал, но что же это будет? Он слышал, что в старину люди умирали от любви. Теперь это достойно лишь улыбки. Неужели его твердая, смелая, радующаяся всякой чепухе жизни Мария способна умереть от любви? От старинной традиции не умирают, тогда отчего же она погибнет?

Размышляя и томясь, Кирпичников блуждал по палубе. Он заметил прожектор далекого встречного корабля и остановился.

Вдруг сразу похолодало на палубе – начал бить страшный северный ветер, потом на судно нахлобучилась водяная глыба и в один миг сшибла с палуб и людей, и вещи, и судовые принадлежности. Судно дало крен почти в 45° к зеркалу океана. Кирпичников уцелел случайно, попав ногой в люк.

Воздух и вода гремели и выли, густо перемешавшись, разрушая судно, атмосферу и океан.

Стоял шум гибели и жалкий визг предсмертного отчаяния. Женщины хватали ноги мужчин и молили о помощи. Мужчины их били кулаками по голове и спасались сами.

Катастрофа наступила мгновенно, и, несмотря на высокую дисциплину и мужество команды, ничего существенного по спасению людей и судна сделать было нельзя.

Кирпичникова сразу поразила не сама буря и мертвая стена воды, а мгновенность их нашествия. За полминуты до них океан имел штиль и все горизонты были открыты. Пароход заревел всеми гудками, радио заискрило тревогу, началось спасение смытых пассажиров. Но вдруг буря затихла, и судно мирно закачалось, нащупывая равновесие.

Горизонт открылся, в километре шел европейский пароход, сияя прожекторами и спеша на помощь.

Мокрый Кирпичников суетился у катера, налаживая отказывающийся работать мотор. Он не вполне сознавал, как попал к катеру. Но катер необходимо спустить немедленно: в воде захлебывались сотни людей. Через минуту мотор заработал: Кирпичников зачистил его окислившиеся контакты – в этом была вся причина.

Кирпичников влез в кабинку катера и крикнул: отдавай блоки!

В эту минуту непроницаемый едкий газ затянул все судно, и Кирпичников не мог увидеть своей руки. И сейчас же он увидел падающее, одичалое, нестерпимо сияющее солнце и сквозь треск своего рвущегося мозга услышал на мгновенье неясную, как звон Млечного Пути, песню и пожалел о краткости ее.

* * *

Правительственное сообщение, помещенное в газете «Нью-Йорк таймс», было передано из-за границы Телеграфным агентством СССР:

«В 11 часов 15 мин. 24/IX с/г под 35° 11' сев. шир. и 62° 4' вост. долготы затонули американское пассажирское судно «Калифорния» (8 485 человек, считая команду) и германское судно «Клара» (6 841 чел. с командой), шедшее на помощь первому. Точные причины не выяснены. Надлежащее следствие ведется обоими правительствами. Спасенных и свидетелей катастрофы нет. Однако главную причину гибели обоих судов следует считать точно установленной: на «Калифорнию» вертикально упал болид гигантских размеров. Этот болид увлек корабль на дно океана; образовавшаяся воронка засосала также и «Клару».

По мере хода следствия и подводных изысканий, публика будет своевременно и полностью информирована».

Сообщение было перепечатано во всех газетах мира. Наибольшее страдание оно доставило не сиротам, не невестам, не женам и родственникам погибших, а Исааку Матиссену, директору Кочубаровской опытно-мелиоративной станции, близ поселения Волошино, Воронежского округа, Центрально-Черноземной области.

– Ну что, голова! Достиг вселенской мощи – наслаждайся теперь победой! – шептал Матиссен самому себе с тем полным спокойствием, которое соответствует смертельному страданию. И только пальцами он зря крошил хлеб, скатывал ядрышки и сшибал их щелчками со стола на пол.

– Ведь, по сути и справедливости, я ничего и не достиг. Я только испытал новый способ управления миром и совсем не знал, что случится! Матиссен встал, вышел на ночной двор и крикнул собаку: – Волчок! Эх ты, тварь кобелястая! – Матиссен погладил подбежавшую собаку. – Верно, Волчок, что сердце наше – это болезнь? А? Верно, ведь, что сентиментальность гибель мысли? Ну, конечно, так! Разрубим это противоречие в пользу головы и пойдем спать!

Матиссен закричал через забор в открытое поле, пугая невидимых, но возможных врагов. Волчок заскулил – и оба разошлись спать.

Хутор затих. Тихо шептала речонка в долине, подвигая свои воды к далекому океану, и в Кочубарове-селе отсекал исходящий газ двигатель электростанции. Там люди глубоко спали, не имея родственников ни на «Калифорнии», ни на «Кларе».

Матиссен тоже спал – с помертвелым лицом, оловянным утихшим сердцем и распахнутым зловонным ртом. Он никогда не заботился ни о гигиене, ни о здоровье своей личности.

Проснулся Матиссен на заре. В Кочубарове чуть слышно пели петухи. Он почувствовал, что ему ничего не жалко: значит, окончательно умерло сердце. И в ту же минуту он понял, что ему ничто не интересно и то, чего он добился – не нужно ему самому. Он узнал, что сила сердца питает мозг, а мертвое сердце умерщвляет ум.

В дверь постучался ранний гость. Вошел знакомый крестьянин Петропавлушкин.

– Я к вам от нашей коммуны пришел, Исаак Григорь-

евич! Вы не обижайтесь, я сам по званию и по науке помощник агронома и суеверия не имею!..

– Говори короче, в чем твое дело? – подогнал его Матиссен.

– Наше дело в том, что вы слово особое знаете и им пользу большую можете делать. Мы же знаем, как от вашей думы машины начинают работать...

– Ну, и что же?

– Нельзя ли, чтобы вы такую думу подумали, чтоб поля круче хлеб рожали...

– Не могу, – перебил Матиссен, – но, может быть, открою, тогда помогу вам. Вот камень с неба могу бросить на твою голову!..

– Это ни к чему, Исаак Григорьевич! А ежели камень можете, то почва ближе неба...

– Дело не в том, что почва ближе...

– Исаак Григорьевич, а я вот читал, корабли в океане утонули, тоже от небесного камня. Это не вы американцев удружили?

– Я, товарищ Петропавлушкин! – ответил Матиссен, не придавая ничему значения.

– Напрасно, Исаак Григорьевич! Дело не мое, а полагаю, что напрасно!

– Сам знаю, что напрасно, Петропавлушкин! Да что же делать-то? Были цари, генералы, помещики, буржуи были, помнишь? А теперь новая власть объявилась – ученые. Злое место пустым не бывает!

– А я того не скажу, Исаак Григорьевич! Если ученье со смыслом да с добросердечностью сложить, то, я полагаю, и в пустыне цветы засияют, а злая наука и живые нивы песком закидает!

– Нет, Петропавлушкин, чем больше наука, тем больше ее надо испытывать. А чтоб мою науку проверить, нужно целый мир замучить. Вот где злая сила знания! Сначала уродую, а потом лечу. А может быть, лучше не уродовать, тогда и лекарства не нужно будет...

– Да разве одна наука уродует, Исаак Григорьевич? Это пустое. Жизнь глупая увечит людей, а наука лечит!

– Ну, хотя бы так, Петропавлушкин! – оживился Матиссен. – Пускай так! А я вот знаю, как камни с неба на землю валить, знаю еще кое-что, похуже этого! Так что же меня заставит не делать этого? Я весь мир могу запугать, а потом овладею им и воссяду всемирным императором! А не то – всех перекрошу и пущу газом!

– А совесть, Исаак Григорьевич, а общественный инстинкт? А ум ваш где же? Без людей вы тоже далеко не уплывете, да и в науке вам все люди помогали! Не сами же вы родились и разузнали сразу все!

– Э, Петропавлушкин, на это можно высморкаться! А ежели я такой злой человек?

– Злые умными не бывают, Исаак Григорьевич!

– А по-моему, весь ум – зло! Весь труд – зло! И ум и труд требуют действия и ненависти, а от добра жалеть да плакать хочется...

– Несправедливо вы говорите, Исаак Григорьевич! Я так непривычен, у меня аж в голове шумит!.. Так наша коммуна просит помощи, Исаак Григорьевич! Очень земля истощена, никакой фосфат уже не утучняет. Вам думу почве передать не трудно, а нам жизнь от этого! Уж вы, пожалуйста, Исаак Григорьевич! Вон как прелестно у вас: подошел, подумал что следует и машина воду сама погна-

ла! Так бы и нам материнство в почву дать! До свиданья, пока!

– Ладно. Прощай! – ответил Исаак Григорьевич.

«А этот человек умен, – подумал Матиссен, – он почти убедил меня, что я выродок!»

Затем Матиссен окончательно оделся и перешел в другую комнату. В ней стоял плоский и низкий стол размером 4х3 метра. На столе помещались приборы. Матиссен подошел к самому маленькому аппарату. Он включил в него ток от аккумуляторов и лег на пол. Сейчас же он потерял ясное сознание, и его начали терзать гибельные кошмары почти смертельной мощи и почти физически разрушающие мозг. Кровь переполнялась ядами и зачерняла сосуды; все здоровье Матиссена, все скрытые силы организма, все средства его самозащиты были мобилизованы и боролись с ядами, приносимыми кровью, обращающейся в мозгу. А сам мозг лежал почти беззащитным под ударами электромагнитных волн, бьющих из аппарата на столе.

Эти волны возбуждали особые мысли в мозгу Матиссена, а мысли стреляли в космос особыми сферическими электромагнитными бомбами. Они попадали где-то, может быть в глуши Млечного Пути, в сердце планет и расстраивали их пульс, – и планеты сворачивали с орбит и гибли, падая и забываясь, как пьяные бродяги.

Мозг Матиссена был таинственной машиной, которая пучинам космоса давала новый монтаж, а аппарат на столе приводил этот мозг в действие. Обычные мысли человека, обычное движение мозга бессильны влиять на мир, для этого нужны вихри мозговых частиц, – тогда мировое вещество сотрясает буря.

Матиссен не знал, когда начинал опыт, что случится на земле или на небе от его нового штурма. Тем чудесным и неповторимым строением электромагнитной волны, которую испускал его мозг, он еще не научился управлять. А именно в особом строении волны и был весь секрет ее могущества; именно это било мировую материю по самому нежному месту, и от боли она сдавалась. И такие сложные волны мог давать только живой мозг человека лишь при содействии мертвого аппарата.

Через час особые часы должны прервать ток, питающий мозговозбудительный аппарат на столе, и опыт прекратится.

Но часы остановились: их забыл завести Матиссен перед началом опыта. Ток неутомимо питал аппарат, и аппарат тихо гудел в своем труде.

Прошло два часа. Тело Матиссена таяло пропорционально квадрату количества времени. Кровь из мозга поступала сплошной лавой трупов красных шариков. Равновесие в теле нарушилось. Разрушение брало верх над восстановлением. Последний неимоверный кошмар вонзился в еще живую ткань мозга Матиссена, и милосердная кровь погасила последний образ и последнее страдание. Черная кровь бурей ворвалась в мозг через разорванную вену и затормозила пульсирующее боевое сердце. Но последний образ Матиссена был полон человечности: перед ним встала живая измученная мать, из глаз ее лилась кровь, и она жаловалась сыну на свое мучение.

В девять часов утра Матиссен лежал мертвым – с открытыми белыми глазами, с руками, въевшимися ногтями в пол в борющемся исступлении.

Аппарат усердно гудел и остановился только к вечеру, когда иссякла энергия в аккумуляторе.

Весь день мимо дома Матиссена бежали упряжки лошадей и полуторатонные грузовики – возить отаву с лугов, заготовлять впрок корм скоту.

Петропавлушкин водил автомобиль – грузовичок, улыбался мировому пространству в полях и успокоительно думал о пользе добросердечной науки, коей он сам немалый соучастник.

* * *

Через два дня «Известия» в отделе «Со всего света» напечатали информацию Главной астрономической обсерватории.

«В созвездии Гончих Псов при ясном небе вторые сутки не обнаруживается альфа-звезда.

В Млечном Пути на 4-й дистанции (9-й сектор) образовалось пустое пространство – разрыв. Его земной угол = 4° 71'. Созвездие Геркулеса несколько смещено, вследствие чего вся солнечная система должна изменить направление своего полета. Столь странные явления, нарушившие вековое строение неба, указывают на относительную хрупкость и непрочность самого космоса. Обсерваторией ведутся усиленные наблюдения, направленные к отысканию причин этих аномалий».

В дополнение к этому обещалась беседа в ближайшем номере с академиком Ветманом. Из других телеграмм с одной четвертой земного шара (тогдашние размеры СССР) не явствовало, чтобы Земля потерпела что-либо суще-

ственное от звездных катастроф, исключая петитную информацию с Камчатки:

«На горы село небольшое небесное тело, около 10 километров в поперечнике. Строение его неизвестно. Форма – сфероид. Тело прилетело с небольшой скоростью и плавно приземлилось к вершинам гор. В бинокли видны огромные кристаллы на его поверхности. Местным Обществом Любителей Природоведения снаряжена экспедиция для предварительного изучения опустившегося тела. Но экспедиция не может дать быстрых результатов: горы почти неприступны. Из Владивостока затребованы аэропланы. Сегодня в направлении небесного тела пролетела небольшая эскадрилья японских аэропланов».

На следующий день эта заметка превратилась в сенсацию и странному событию была посвящена статья в триста строк академика Ветмана.

В тот же день «Беднота» сообщила о смерти инженера-агронома Матиссена, известного в кругах специалистов работника по оптимальному режиму влаги в почве.

И только помощнику агронома в Кочубарове Петропавлушкину, выписывавшему и «Известия» и «Бедноту», пришла в голову нечаянная мысль о связи трех заметок: Матиссен умер – на Камчатские горы села планетка, одна звезда пропала и лопнул Млечный Путь. Но кто поверит такому деревенскому бреду?

Хоронили Матиссена торжественно. Почти вся Кочубаровская сельскохозяйственная коммуна шла за его трупом. Земледелец издревле любит странников и чудородных людей. А молчаливый одинокий Матиссен был из таких – это явно чувствовали в нем все. Последний ободок волос на

лысом черепе Матиссена осыпался, когда гроб резко толкнули неловкие руки. Это удивило всех крестьян, и к мертвому Матиссену прониклись еще большей жалостью и уважением.

Похороны Матиссена совпали с концом работ подводной экспедиции, отправленной правительствами Америки и Германии для отыскания затонувших «Калифорнии» и «Клары».

Снимаясь с места катастрофы, экспедиция отправила радио в Нью-Йорк и Берлин:

«Считать установленным точной разведкой – живая сила болида была титанически велика: «Калифорния» и «Клара» загнаны болидом глубоко в дно океана и сам болид утонул в недрах океанического ложа. В месте катастрофы образовалась впадина диаметром в сорок километров, с наибольшей глубиной, считая от прежнего уровня дна, в 2,55 километра. Только подводное бурение может указать глубину залегания всех трех тел – «Калифорнии», «Клары» и самого болида. Надо ожидать сильной деформации изыскиваемых предметов».

В ответ на это оба правительства телеграфировали:

«Бурите дно океана. Соответствующие кредиты открыты».

Экспедиция послала одно из своих судов за добавочным оборудованием для буровых подводных работ, а через две недели начала бурение.

Петропавлушкин был селькором «Бедноты». Наука держала мир в панике сенсаций. Каждый день манифесты ее открытий занимали половину ежедневной прессы. Было время: веселился воин, потом торжествовал богач, а теперь

настало время ученого героя и ликующего знания. В науке поместилось ведущее начало Истории.

В стороне от науки стоять не было терпения, и Петропавлушкин написал в «Бедноту» корреспонденцию, которая должна дать ему внутреннее удовлетворение соучастника всемирной науки.

Девять дней его терзала догадка, потом она превратилась в теплое убеждение, греющее мозг.

Корреспонденция называлась «Битва человека со всем миром»:

«Ученый инженер и агроном Исаак Григорьевич Матиссен, что умер на днях, как то известно читателям, изобрел такие мысли, что они сами по себе могли кидать метеоры на землю. Перед смертью, когда тело его было горячо, Исаак Григорьевич говорил мне, что он и не то будет еще делать. Американский корабль утонул тоже по его власти. А я ему отсоветовал так отягощаться бедой. Но он насмеялся над здравым смыслом полунаучного человека (я имею степень помощника агронома по полеводству). И вот я уверился, что Млечный Путь лопнул от мыслей Исаака Григорьевича. Смешно говорить, но он умер от такого усилия. У него жилы лопнули в голове и произошло кровоизлияние. Кроме Млечного Пути, Исаак Григорьевич навеки испортил одну звезду и совлек Солнце с Землею с их спокойного гладкого пути. От этого же, я так думаю, и какая-то планета отчего-то прилетела на Камчатские полуострова.

Но дело прошлое. Теперь Исаак Григорьевич умер и только зря поломал мировое благонадежное устройство. А мог бы он и добро делать, только не захотел отчего-то и умер.

Я освещаю этот мировой факт и требую к нему доверия, потому что я очевидец всему. Доказательство тому – мой предварительный разговор с Исааком Григорьевичем перед его уединенной смертью.

Разгадка теперь дана всем малосведущим, и факт стал фактом во всеуслышание.

Долой злые тайны и да здравствует сердечная наука!

Селькор и помощник участкового агронома по полеводственной дисциплине Петропавлушкин».

В редакции «Бедноты» посмеялись над таким доносом на мертвого и написали товарищу Петропавлушкину теплое письмо, полное разубеждения, пообещав прислать ему такие книги, которые его сразу вылечат от идеалистического сумбура.

Петропавлушкин обиделся и перестал писать корреспонденции. Потом одумался, разозлился и написал открытку:

«Граждане! Редакторы-издатели! Полуученый человек сообщил вам факт, а вы не поверили, будто я совсем не ученый. Прошу опомниться и поверить хоть на сутки, что мысль не идеализм, а твердое могучее вещество. А все мироздания с виду прочны, а сами на волосках держатся. Никто волоски не рвет, они и целы. А вещество мысли толкнуло, все и порвалось. Так о чем же речь и насмеяние фактов? Вселенский мир это вам не бумажная газета. Остаюсь с упреком – быв. селькор Петропавлушкин».

* * *

Мария Александровна Кирпичникова прочитала в списке погибших на «Калифорнии» имя своего мужа. Она

знала, что он к ней вернется, теперь узнала, что его нет на свете.

Она его не видела двенадцать месяцев, а теперь не увидит никогда.

– Кончена жизнь! – вслух сказала она и подошла к окну.

– Что, мама? – спросил пятилетний сын, возившийся с кошкой.

– Лето кончается, сынок! Видишь, падают листья на улице!

– А отчего ты плачешь? Папа не приедет?

– Приедет, милый!..

– Тебе жалко его? Ты ему большую книжку купила?

– А ты забыл свое стихотворение? Ну-ка, повтори!

Мальчик поднялся с пола и единым духом выговорил, боясь остановиться и забыть:

Рыжий шофер очень важен,
Ахтобузик он ведет.
Ехать быстро очень страшно;
Дядя денежки берет...

Мальчик говорил важно и про себя думал, что он шофер. Мать его начала обнимать и уговаривать лечь поспать, чтобы не быть вечером дохлым. Мальчик сопротивлялся и сам ласкал мать, жадно и сознательно, как взрослый.

– Ляжь, поспи, мальчик! Папа скорей приедет!

– Не ври, мамка! Сколько раз спал, а он все не едет!

– Ну ты так ляжь – полежи! А то к бабушке отправлю, как Левочку, скучать по мне будешь! Поедешь к бабушке?

– Не поеду я!

– Почему?

– Мне там скучно будет, а без меня папа приедет!

И все же мальчик улегся спать – мать знает, как это сделать. Мария Александровна посмотрела на ребенка – лицо его стало мирным и необыкновенным, вызывающим жалость и новые силы любви. Кажется, пусть только проснется он – и все станет новым, и мать его никогда не обидит. Но это был только милый обман образа спящего беззащитного ребенка: просыпался мальчик снова маленьким бандитом и изувером, и даже мебель от него уставала.

Оставшись в покое, Мария Александровна решила неуклонно жить. Но она понимала, что теперь всю энергию своего сознания она должна бросить на то, чтобы урегулировать свое плачущее любящее сердце. И только тогда она устоит на ногах, иначе можно умереть во сне.

Спать она боялась ложиться: отдыхающий беззащитный мозг могут растерзать дикие образы ее неутомимого несчастья. Она знала, что в спящем человеке разводятся страшные образы, как сорняки в некультурных заброшенных полях.

И грядущая ночь ей была непостижимо страшна.

Как женщина, как человек, она хотела бы иметь горсть пепла от праха своего мужа. Отвлеченная могила под дном океана не давала веры в настоящую смерть, но темным инстинктом она была убеждена, что Михаил уже не дышит воздухом земли.

Спящий Егорушка до привидения напоминал ей мужа. Отсутствовали только морщины и складки утомления у рта.

Мария Александровна не совсем понимала мужа: ей непонятна была цель его ухода из дома. Она не верила, что живой человек теплое достоверное счастье может променять на пустынный холод отвлеченной одинокой идеи. Она думала, что человек ищет только человека, и не знала, что путь к человеку может лежать через стужу дикого пространства. Мария Александровна предполагала, что людей разделяют лишь несколько шагов.

Но ушел Михаил, а потом умер в далеком плавании, ища драгоценность своей затаенной мысли. Мария Александровна, конечно, знала, чего ищет ее муж. Она понимала смысл изобретения размножения материи. И в этой области хотела помочь мужу. Она купила ему десять экземпляров большого труда – перевод символов только что найденной в тундре книги, изданной под именем «Генерального сочинения». В Аюнии, вероятно, сильно было развито чтение: этому способствовала тьма восьмимесячной ночи и уединенность жизни аюнитов.

При строительстве второго вертикального термического туннеля, когда Кирпичников уже пропал, строители обнаружили четыре гранитных плиты с символами на них, исполненные крупным рельефом. Символы были того же начертания, что и в ранее найденной книге «Песни Аюны», поэтому легко поддались переложению на современный язык.

Плиты-писанцы, вероятно, были памятником и завещанием философа-аюнита, но в них содержались мысли на сокровенное содержание природы. Мария Александровна исчитала всю книгу и нашла ясные намеки на то, что искал ее муж по всей пустой земле. Далекий мертвый человек

давал помощь ее мужу, ученому и бродяге, давал помощь счастью женщины и матери.

И вот тогда Мария Александровна дала объявления в пять американских газет.

Она изучила на память нужные места в «Генеральном сочинении», боясь утратить как-нибудь книги и не встретить Михаила с наилучшей для него радостью.

«Лишь живое познается живым, – писал аюнит, – мертвое непостижимо. Неимоверное нельзя измерить достоверным. Именно посему мы познали отчетливо такое далекое, как аэны (соответствует электронам. – *Примеч. переводчиков и излагателей.*), и нам осталось мало известным такое близкое, как мамарва (соответствует материи. – *Примеч. переводчиков и излагателей.*). Это потому, что первое живет, как ты живешь, а второе мертво, как Муйя (неизвестный образ. – *Примеч. перевод. и излагателей.*). Когда аэны шевелились в пройе (соответств. атому. – *Прим. пер. и изл.*), сначала мы видели в этом механическую силу, а потом с радостью открыли в аэнах жизнь. Но центр пройи, полный мамарвы, был веками загадкой, пока мой сын достоверно не показал, что центр пройи состоит из тех же аэнов, только мертвых. И, мертвые, они служат пищей живым. Стоило сыну моему извлечь из пройи ее середину, как все живые аэны погибли от голода. Так вышло, что центр пройи есть амбар пищи для живых аэнов, пасущихся вокруг этой обители трупов своих предков, чтобы пожирать их. Так просто и сияюще истинно была открыта природа всей мамарвы. Вечная память моему сыну. Вечная скорбь его имени! Вечное почитание его утомленному образу!»

Это Мария Александровна знала наизусть, как ее сын стихотворение про рыжего важного шофера.

Остальная часть «Генерального сочинения» содержала учение об истории аюнитов – о ее начале и близком конце, когда аюниты найдут свой зенит во времени и в природе, когда все три силы – народ аюнитов, время и природа придут в гармоническое соотношение и их бытие втроем зазвучит как симфония.

Это Марию Александровну мало интересовало. Она искала равновесие своего личного счастья и не вполне осваивала откровения неведомого аюнита.

И только последние страницы книги заставили ее вздрогнуть и забыться в удивленном внимании.

«...Ныне это так же стало возможным, как было в эпоху детства моей родины. Тогда возмутились пучины Материнского океана (Северного Ледовитого. – *Примеч. редактора*), и океан начал заливать нашу землю жесткой мерзлой водой, перемешанной с глыбами льда. Вода ушла, а льды остались. Они долго ползли по холмам нашей просторной земли, пока не стерли их и наша родина не превратилась в бесплодную равнину. Лучшие плодородные почвы на холмах были срезаны льдом, и народ остался в голодном поле. Но беда лучший наставник, а катастрофа народа – организатор его, если еще не обеспложена его кровь долгой жизнью на земле. Так и тогда: льды разрушили плодоносную землю, лишили наших предков питания и размножения, и гибель опустилась над головою народа. Горячий поток в океане, отапливавший страну, начал удаляться на север, и стужа завыла над той землей, где цвели сумрачные аргоны. На севере нас сторожил хаос

мертвых льдов, на юге лес, набитый темною тучей мощных зверей, наполненный свистом мрачных гадов и пересеченный целыми реками яда зундры (испражнения гигантских змей. – *Прим. редак.*). Народ аюны, народ мужества и чувства уважения к своей судьбе, начал себя умерщвлять, закапывая свои книги высший дар аюны – в землю, оковав их золотом, пропитав листы составом веньи, дабы они могли уцелеть вечность и не сгнить.

Когда половина народа была покорена смертью и лежала трупами, явился Эйя – хранитель книг – и пошел бродить по опустевшим дорогам и замолкающим жилищам. Он говорил: у нас отнято материнство почвы, погасает теплота воздуха, лед скребет нашу родину и горе тушит мудрость ума и мужество. У нас остался только свет солнца. Я сделал аппарат – вот он! Страдание научило меня терпению, и дикие годы отчаяния народа я сумел плодотворно использовать. Свет – сила терзаемой мамарвы (изменяющейся материи. – *Прим. редак.*), свет – стихия аэнов; мощь аэнов сокрушительна. Мой аппарат превращает потоки солнечных аэнов в тепло. И не только свет солнца, но и луны и звезд я могу своей простой машиной превратить в тепло. Я могу получить огромное количество тепла, которым можно расплавить горы. Нам теперь не нужен теплый поток океана, чтобы греть нашу землю!

Так Эйя стал водителем жизни и началом новой истории аюны. Его аппарат, состоявший из сложных зеркал, преобразующих свет неба в тепло и в живую силу металла (вероятно, электричество. – *Прим. редак.*), и поныне служит источником народной жизни и довольства.

Равнины родины расцвели, и родились новые дети.

Прошел эн (очень длительный промежуток времени. – *Прим. редак.*).

Организм человека был исчерпан. Даже молодой мужчина не мог производить семени, даже сильнейший разум перестал рождать мысль. Долины родины покрылись сумраком последнего отчаяния – человек дошел до предела в самом себе – аюна, солнце нашего сердца, закатывалась навсегда. Перед этим льды были ничто, холод – ничто, смерть – ничто. Человек питался одним презрением к себе. Он не мог ни любить, ни мыслить и даже не мог страдать. Источники жизни иссякли в недрах тела, потому что они были выпиты. У нас были горы пищи, дворцы уюта и кристаллические книгохранилища. Но не было больше судьбы, не стало живости и жара в теле, и затмились надежды. Человек – рудник, но руда была выработана вся, остались пустынные шахты.

Хорошо погибнуть на крепком корабле в диком океане, но плохо насмерть захлебнуться пищей.

Так было долго. Целое поколение не познало молодости.

Тогда мой сын Рийго нашел исход. Чего не могло дать естество, то дало искусство. Он сохранил остатки живого мозга в себе и сказал нам, что судьба наша кончается, но еще можно открыть ей двери, – нас ждет ясный день. Решение было просто: электромагнитное русло. (В подлиннике: труба для живой силы металла. – *Прим. редак.*). Рийго провел из пространства пищепровод к аэнам нашего мрачного тела, пустил по этому пищепроводу потоки мертвых аэнов (соответствует эфиру. – *Прим. редак.*), и аэны нашего тела, получив избыток пищи, ожили. Так

были воскрешены наш мозг, наше сердце, наша любовь к женщине и наша аюна. Но больше того: дети росли скорее в два раза и жизнь в них пульсировала, как сильнейшая машина. Все остальное – сознание, чувство и любовь – выросло в страшные стихии и напугало отцов. История перестала шествовать и начала мчаться. И ветер судьбы бил нас в незащищенное лицо великими новостями мысли и поступков.

Изобретение моего сына, как все замечательное, имеет серое лицо. Рийго взял два центра пройи, наполненные трупами аэнов, и поместил в одну пройю. Тогда живые аэны пройи стали быстро размножаться, и вся пройя выросла в пять раз в десять дней. Причина видна и невзрачна: аэны стали больше питаться, потому что запас их пищи увеличился в два раза.

Так Рийго развел целые колонии сытых, быстрорастущих, неимоверно множащихся аэнов. Тогда он взял обыкновенное тело – кусок железа – и мимо него, лишь касаясь железа, начал излучать в направлении звезд поток сытых аэнов, разведенных в колониях. Сытые аэны не перехватывали для пищи трупы своих предков (то есть эфир. – *Прим. редак.*), и они свободно текли к куску железа, где их ждали голодные аэны. И железо начало расти на глазах людей, как растение из земли, как ребенок в животе матери.

Так искусство моего сына оживило человека и начало выращивать вещество.

Но победа всегда подготовляет поражение.

Искусственно откормленные аэны, имея более сильное тело, стали нападать на живых, но естественных аэнов и пожирать их. А так как при всяком превращении вещества

есть неустранимые потери, то пожранный маленький аэн не увеличивал тела большого аэна настолько, сколько имел сам, когда был живой. Так вещество то там, то здесь – всюду, куда попадали откормленные аэны (электроны – дальше пользуемся этим современным термином. – *Прим. редак.*), – начало уменьшаться. Искусство Рийго не смогло сделать пищепровод для всей земли, и вещество таяло. Только там, куда был проложен тракт для потока трупов электронов (эфирный тракт. – *Прим. редак.*), вещество росло. Эфирными трактами были снабжены люди, почва и главнейшие вещества для нашей жизни. Все остальное уменьшилось в своих размерах, вещество сгорало, мы жили за счет разрушения планеты.

Рийго исчез из дома. В Материнском океане начала пропадать вода. Рийго знал причину исчезновения влаги и вышел встречать противника. Однажды откормленное и воспитанное им племя электронов, работой времени и естественным отбором, достигло того, что каждый электрон равнялся облаку, по объему тела.

В неистовой свирепости шли тучи электронов из недров Материнского океана, колыхаясь, как горы при землетрясении, дыша, как могучие ветры. Аюна будет выпита ими, как обычная вода!

Рийго пал. Нельзя вытерпеть взгляд электрона. Гнусна будет смерть от ужаса, но нет спасения больше аюне. Рийго давно пал в безвестности, как камень в колодезь. Слишком медленно идут эти космические звери. Но слишком быстро прошли они путь от частички пройи до живой горы. Я думаю, они тонут в земле, как в твороге, потому что тело их тяжелее свинца. Наверно, Рийго пал не зря, а имея решение

и способ победить неизвестные элементарные тела. В быстром росте, в бешеном действии естественного отбора – сила электрона. В этом и слабость их, потому что ясно указывает на предельную простоту их психики и физиологической организации, а стало быть, обнаруживает беззащитное уязвимое место. Рийго постиг эту очевидность, но убит лапой электрона, тяжелой, как пласт платины...»

Мария Александровна поникла над книгой, Егорушка спал, часы пробили двенадцать ночи – самый страшный час одиночества, когда спят все счастливые.

– Неужели так труден корм человеку? – громко сказала Мария Александровна. – Неужели всегда победа – предвестник поражения?

Тишина в Москве. Последние трамваи спешат в парк, искря контактами.

– Тогда какой победой возместится мрачная смерть моего мужа? Какая душа мне заменит его сумрачную потерянную любовь?

И она загорелась кипящей скорбью и заплакала слезами, убивающими тело скорее, чем льющаяся кровь. Ее мысль металась в кошмаре: гул живых мрачных электронов терзал мудрую беззащитную Аюну, реки зеленого яда зундры заливали цветущую тундру, и в зеленой влаге плыл, томясь и захлебываясь, Михаил Кирпичников, ее единственный друг, утраченный на веки веков.

* * *

В Серебряном бору, близ крематория, стояло здание нежного архитектурного стиля. Оно исполнено было как

сфероид – образ космического тела, но не касалось земли, удерживаемое пятью мощными колоннами. От высшей точки сфероида уходила в небо телескопическая колонна – в знак и в угрозу мрачному стихийному миру, отнимающему живых у живущих, любимых у любящих, – в надежду, что мертвые будут отняты у вселенной силою восходящей науки, воскрешены и возвратятся к живым.

Это был Дом воспоминаний, где стояли урны с пеплом погибших людей.

Седая, и от старости прекрасная, женщина вошла с юношей в Дом.

Тихо прошли они в дальний конец огромного зала, освещенного тихим синим светом памяти и тоски.

Урны стояли в ряд, как некие светильники с потухшим светом, освещавшие некогда неизвестную дорогу.

На урнах были прикреплены мемориальные доски.

«Андрей Вогулов. Пропал без вести в экспедиции по подводному исследованию Атлантиды.

В урне нет праха – лежит платок, смоченный его кровью во время ранения на работах на дне Тихого океана. Платок доставлен его спутницей».

«Петер Крейцкопф, строитель первого снаряда для достижения Луны. Улетел в своем снаряде на Луну и не возвратился. Праха в урне нет. Сохраняется его детское платье. Честь великому технику и мужественной воле!»

Седая женщина, сияющая удивительным лицом, прошла с юношей дальше.

Они остановились у крайней урны.

«Михаил Кирпичников, исследователь способа размножения материи, сотрудник доктора физики Ф. К. По-

пова, инженер. Погиб на «Калифорнии» под упавшим болидом. В урне нет праха. Хранится его работа по искусственному кормлению и выращиванию электронов и прядь волос».

Внизу висела вторая малая доска:

«Чтобы найти пищу электронам, он потерял свою жизнь и душу своей подруги. Сын погибшего осуществит дело отца и возвратит матери сердце, растраченное отцом. Память и любовь великому искателю!»

Бывает старость как юность: ожидающая спасения в чудесной опоздавшей жизни.

Мария Александровна Кирпичникова утратила молодость напрасно, теперь ее любовь к мужу превратилась в чувство страстного материнства к старшему сыну Егору, которому шел уже двадцать пятый год. Младший сын Лев учился, был общителен, очень красив, но не возбуждал в матери того резкого чувства нежности, бережности и надежды, как Егор.

Егор лицом напоминал отца – серое, обычное, но необычайно влекущее скрытой значительностью и бессознательной силой.

Мария Александровна взяла Егора за руку, как мальчика, и пошла к выходу.

В вестибюле Дома воспоминаний висела квадратная золотая доска с серыми платиновыми буквами:

«Смерть присутствует там, где отсутствует достаточное знание физиологических стихий, действующих в организме и разрушающих его».

Над входом в Дом висела арка со словами:

«Вспоминай с нежностью, но без страдания: наука воскресит мертвых и утешит твое сердце».

Женщина и юноша вышли на воздух. Летнее солнце ликовало над полнокровной землей, и взорам двух людей предстала новая Москва – чудесный город могущественной культуры, упрямого труда и умного счастья.

Солнце спешило работать, люди смеялись от избытка сил и жадничали в труде и в любви.

Всем их обеспечивало солнце над головой, – то самое солнце, которое когда-то освещало дорогу Михаилу Кирпичникову в лимонном округе Риверсайда, – старое солнце, которое сияет тревожной страстной радостью, как мировая катастрофа и зачатие вселенной.

* * *

Егор Кирпичников кончил Институт имени Ломоносова и стал инженером-электриком.

Дипломный проект он сдавал на тему:

«Лунные возмущения электросферы земли».

Егору мать передала все книги и рукописи отца, в том числе труд Ф. К. Попова, который начисто переписал Михаил Кирпичников после смерти Попова.

Егор познакомился с работами Попова, редкой литературой аюнитов и всеми современными гипотезами по выкармливанию и воспитанию электронов. Что электроны были живыми существами – отпали все сомнения. Область электронов уже твердо определилась, как микробиологическая дисциплина.

Егор избрал темой своей жизни конечную разгадку вселенной, и он не напрасно, подобно своему отцу, искал первичное чрево мира в межзвездном пространстве – в таинственной жизни электронов, составляющих эфир.

Егор верил, что, кроме биологического, существует электротехнический способ искусственного размножения вещества, и искал его со всею свежестью и страстью молодости, не тронутой женской любовью.

В это лето Егор рано кончил свою работу в лаборатории профессора Маранда, которому он ассистировал по кафедре Строения Эфира.

Маранд в мае уехал в Австралию к своему другу, астрофизику Товту, и Егор наслаждался отдыхом, летом и собственными нечаянными мыслями.

Отдых – лучшее творчество, – писал когда-то в письме Марии Александровне отец Егора, бродя по тундре вокруг вертикального термического туннеля, где он служил некоторое время производителем работ.

Егор уходил из дому утром. Его нес метрополитен под Красными воротами, под площадью Пяти Вокзалов и выносил далеко за город, за Новые Сокольники, в кислородные рощи. Там шествовал Егор, чувствуя давление крови, свободную вибрацию мозга и острую тоску приближающейся любви.

И раз было так. Егор проснулся – на дворе стоял уже великий торжественный летний день. Мать спала, зачитавшись накануне до глубокой ночи. Егор оделся, прочитал утреннюю газету, прислушался к звенящему напряжению удивительного города и решил куда-нибудь уйти. От отца или давних предков в нем сохранилась страсть к движению, странствованию и к утолению чувства зрения. Быть может, его далекие деды ходили когда-то с сумочками и палочками на богомолье из Воронежа в Киев, не столько ради спасения души, сколько из любопытства к новым

местам; может быть, еще что – неизвестно. И Егор посильно удовлетворял свое тревожное чувство бродяги в районе узкого радиуса.

Подземка вынесла Егора за Останкино и там оставила одного. Егор вышел на глухую полевую дорогу, снял шляпу и пробормотал забытое стихотворение, вычитанное в книгах матери:

Среди людей, мне близких и чужих,
Скитаюсь я без цели, без желанья.

Дальше он вспомнить слов не мог, но вспомнил другое:

Любимый твой умер далеко,
Как камень в колодезь упал.
В урне лежит его локон,
А голову он потерял.

Эту песню иногда пела мать Егора, когда ее схватывала тоска о муже и она искала от нее защиты у детей и у простой песенки.

– Так, – сказал себе Егор, – но что же производит эфир? – И лег в траву: – А черт его знает что!

Солнце гладило землю против шерсти – и земля вздымалась травами, лесами, ветрами, землетрясениями и северными сияниями.

Егор небрежно посмотрел на солнце – и сразу горячая волна прошла в его горле и остановилась в голове.

Он поднялся и ничего не мог сообразить.

Как будто его обняла сзади внезапно утраченная любимая женщина и сразу скрылась.

Как в женщину, вонзилась в его сознание сияющая догадка и прополосовала мозг, как падающая звезда. Это было так же странно и безумно, как ребенок хватает сосцы матери, как момент зачатия в девственном теле. Он ощутил страсть и успокоение, как цвет, сбросивший плодотворную пыль в материнское пространство.

Утратив нечаянную мысль, Егор крикнул от досады и пошел прочь со случайного места.

Но потом к нему не спеша возвратились все неясные мысли, как дети со двора, наигравшись и слабо сопротивляясь матери.

* * *

Четвертого января в газете «Интеллектуальный труженик» была напечатана заметка:

«ЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ ЖИЗНИ.

Молодым инженером Г. Кирпичниковым в лаборатории эфира проф. Маранда производятся в течение ряда месяцев интересные опыты над искусственным производством эфира. В идее работа инженера Кирпичникова заключается в том, что электромагнитное поле высокой частоты перемен убивает в материи живые электроны; мертвые же электроны, как известно, составляют тело эфира. Высоту технического искусства инженера Кирпичникова можно понять из того, что для убиения электронов нужно переменное поле не менее 102 периодов в секунду.

Высокочастотную машину Кирпичникова представляет само солнце, свет которого разлагается сложной системой интерферирующих поверхностей на составные энергетические элементы: механическую энергию давления, химическую энергию, электрическую и т. д.

Кирпичникову нужна, собственно, одна электрическая энергия, которую он, посредством особого прибора из призм и дефлекторов, концентрирует в очень ограниченном пространстве и достигает нужной частотности.

Электромагнитное поле, по существу, есть колония электронов. Заставляя быстро пульсировать это поле, Кирпичников добился, что живые электроны, составляющие то, что называется полем, погибали; электромагнитное поле превращалось по этой причине в эфир – механическую массу тел мертвых электронов.

Получая некоторые эфирные пространства, Кирпичников опускал в них какое-либо обыкновенное тело (например, самопис Ваттермана), и это тело за трое суток увеличивалось в два раза по своему объему.

В веществе самописа происходил следующий процесс: живые электроны, существующие в веществе самописа, получали усиленное питание за счет окружающих трупов электронов и быстро размножались, увеличиваясь также в своем объеме. Это вызывало рост всего вещества самописа. По мере поглощения эфира живыми электронами рост и размножение их прекращались.

Кирпичниковым, на основании своих работ, установлено, что в массиве солнца зарождаются в неимоверных количествах исключительно живые электроны; но именно средоточие их гигантского количества в относительно

тесном месте вызывает такую страшную борьбу между ними за источники питания, что почти все электроны погибают нацело. Борьба электронов за питание обусловливает высокую пульсацию солнца. Физическая энергия солнца имеет, так сказать, социальную причину – взаимную конкуренцию электронов. Электроны в солнечном массиве живут всего несколько миллионных долей секунды, будучи истребляемы более сильными противниками, которые, в свою очередь, погибают под ударами еще более мощных конкурентов и т. д. Еле успев пожрать труп врага, электрон уже гибнет – и очередной победитель поедает его вместе с непереваренными клочьями тела ранее убитого электрона.

Движения электронов в солнце настолько стремительны, что огромное количество их вытесняется за пределы солнца и улетает в мировое пространство со скоростью трехсот тысяч километров в секунду, производя эффект светового луча. Но на солнце идет настолько грозная и опустошительная борьба, что все электроны, покинувшие солнце, бывают мертвы и летят за счет либо инерции движения, когда они были живы, либо от удара противника.

Однако Кирпичников убежден, что бывают редчайшие исключения – раз в зоне времен, – когда электрон может живым оторваться от солнца. Тогда, имея вокруг себя эфир – обильную питательную среду, – он служит отцом новой планеты. В дальнейшем инж. Кирпичников предполагает производить эфир в больших количествах, преимущественно из высоких слоев атмосферы, пограничных с эфиром. Электроны там менее активны, и на истребление их потребуется меньше энергии.

Кирпичников заканчивает свой новый метод искусственного производства эфира; новый способ заключается в электромагнитном русле, где действует высокая частота для умерщвления электронов. Электромагнитное высокочастотное русло направляется от земли к небу, и в нем, как в трубе, образуется поток мертвых электронов, подгоняемый давлением солнечного света к земной поверхности.

У земной поверхности эфир собирается, аккумулируется в особые сосуды и затем идет на питание тех веществ, объем которых желают увеличить.

Инж. Кирпичников произвел и обратные опыты. Действуя высокочастотным полем на какой-либо предмет, он достигал как бы угасания предмета и полного его исчезновения. Очевидно, убивая электроны в веществе предмета, Кирпичников уничтожал самую сокровенную природу вещества, ибо только живой электрон – частица материи, мертвый же принадлежит эфиру. Несколько предметов таким способом Кирпичников начисто превратил в эфир, в том числе и самопис Ваттермана, который он сначала «откормил».

Совокупность всех работ Кирпичникова указывает, какую титаническую силу созидания и истребления получило человечество в его изобретении.

По мнению Кирпичникова, благодаря постоянному снабжению земного шара эфиром, текущим из солнца, земля в целом постоянно увеличивается в своих размерах и в удельном весе своего вещества. Это обеспечивает прогресс человечества и подводит физический базис под исторический оптимизм.

Кирпичников говорит, что он в своем изобретении

всецело скопировал деятельность солнца по отношению к земле и лишь ускорил его работу.

В связи с этими поражающими открытиями невольно приходит на память имя Ф. К. Попова, оставившего нам свой изумительный труд, и, наконец, отца изобретателя, странно и трагически погибшего инженера Михаила Кирпичникова».

* * *

Как музыка, лилась работа у Кирпичникова, как любовь, он ощущал в себе страсть к неуловимому нежному телу – эфиру. Когда он писал пояснительную записку «О возможности и нормах дополнительного питания электронов», то чувствовал аппетит, и его полные юношеские губы бессознательно смачивались слюной.

Корреспондентов газет он не принимал, обещая скоро выпустить небольшой труд информационного характера и публично продемонстрировать свои опыты.

Однажды Егор Кирпичников заснул у стола, но сразу проснулся. Была ночь – глубокая и неизвестная, как все ночи над живой землей. Тот напряженный и тревожный час, когда по стихам забытого поэта:

И по хребту электроволн
Плывущее внимание,
Как ночь в бульварном, мировом
Таинственном романе.

В это время, когда человеку надо либо творчество, либо

зачатье новой жизни, в дверь Егора постучали. Значит, пришел кто-то близкий или важный, кого впустила даже мать Егора, жестоко хранившая рабочий и трудный покой своего сына.

– Да! – сказал Егор и полуобернулся.

Вошла редкая гостья – Валентина Крохова, дочь инженера Крохова, друга и сотрудника отца Егора по работе в тундре на вертикальном туннеле. Валентине было двадцать лет – возраст, когда выносится решение: что же делать – полюбить ли одного человека или любовную силу обратить в страсть познания мира? Или, если жизнь в тебе так обильна, объять то и другое?

Нам это не понятно, но тогда будет так. Наука стала жизненной физиологической страстью, такой же неизбежной у человека, как пол.

И эта раздвоенность неясного решения была выражена на лице Валентины Кроховой. Ищущая юность, жадные глаза, эластичная душа, не нашедшая центра своего тяготения и заключенная в оболочку пульсирующих мышц и бьющейся крови, – вот красота Валентины Кроховой. Нерешенность, бродяжничество мысли и неверные черты доверчивого лица – удивительная красота молодости человека.

– Ну, что скажешь мне, Валя? – спросил Егор.

– Да так кое-что! Ты все занят ведь? – ответила Валентина.

– Нет, не особенно: и занят, и нет! Живу как в бреду; сам еще не знаю, что у меня выйдет!

– Да уж вышло, Егор! Будет тебе скромничать!

– Не совсем, Валя, не совсем! Я открыл еще нечто такое, что сердце останавливается...

– Что это такое? Про эфирный тракт все?

– Нет, это другое совсем. Эфирный тракт – пустяки!.. Как вселенная, Валя, родилась и рождается, как вещество начинает дышать в недрах хаоса, свободы и узкой неизбежности мира! Вот, Валя, где хорошо! Но я только чувствую, а ничего не знаю... Ну, ладно! А где твой отец?

– Отец на Камчатке...

– Что, все эту несчастную планетку бурят? Черт, даже мне она надоела! Сколько лет ведь прошло, как она села с неба, еще отец был жив!..

– Да, все бурят, Егорушка!

– Ну, а что они там находят – отец не пишет?

– Пишет, что находят сплавы разных металлов, но все эти металлы известны людям.

– Так, а еще что пишет?

– Еще пишет, что нашли какой-то круглый предмет...

– Ну, какой? Говори скорее!..

– И этот шар ничему не поддается – никакая механическая обработка его не берет, и ни на какой химический реактив он не отвечает. Полный нейтралитет!

– Ого! Ведь ты химик, Валя, что это, как ты думаешь?

– Ну, куда мне, Егор, что ты? Я тебя хотела спросить.

– А черт его знает что это такое! Мало ли чего нет в этой пучине, откуда к нам свет идет и метеоры летят!

– А когда, Егор, ты покажешь свой эфирный тракт?

– Да вот как-нибудь покажу. Сначала книжку напишу.

– Кому ты ее посвятишь?

– Отцу, конечно, – инженеру Михаилу Кирпичникову, страннику и электротехнику.

– Это очень хорошо, Егор! Чудесно, как в сказке, – страннику и электротехнику!

– Да, Валя. Я забыл лицо отца, помню, что он был молчаливый и рано вставал. Как странно он умер, ведь он почти открыл эфирный тракт!

– Да, Егор! И мать твоя старушкой стала!.. Может, ты проводишь меня немного? А то поздно, а ночь хороша – я нарочно тихонько шла сюда.

– Провожу, Валя. Только недалеко, я хочу выспаться. Надо через два дня книжку в печать отдавать, а я только половину написал – не люблю писать, люблю что-нибудь существенное делать...

Они вышли в вестибюль, спустились на лифте и очутились на воздухе, в котором бродили усталые ночные теченья.

Тихо двигалась по небу луна. Быть может, там сейчас лежало оледенелое тело инженера Крейцкопфа, навеки одинокое.

Егор и Валя шли под руку. В голове Егора струились неясные мысли, угасая, как ветры в диком и темном поле, зажигаясь от контакта с милой девушкой, такой человечной и женственной. Но Кирпичников изобретал не одной головой, а также сердцем и кровью, поэтому Валентина в нем возбуждала только легкое чувство тоски. Силы его сердца были мобилизованы на другое.

Москва засыпала. Невнятно и смутно шумели какие-то далекие машины. Бессонно стояла луна, маня человека к полету, странствию и глубокому вздоху в межпланетной бездне.

Егор пожал руку Вале, хотел ей что-то сказать, – какое-то медленное и девственное слово, которое каждый человек говорит по разу в жизни, но ничего не сказал и молча пошел домой.

Мать его спала, и чертежный стол томился по нем.

Сняв башмаки и потушив свет, Егор вдруг вспомнил про находку Крохова на камчатском болиде – молчаливый шар, который нельзя ни разрубить, ни разъесть кислотами.

– Спрессованный эфир! – вслух сказал Егор. – Трупы электронов, втиснутые один в другой! Да – их действительно ничем не возьмешь – смерть примитивная и абсолютная!

Егор укрылся одеялом и уже сквозь сон подумал: «А что спрессовало эфир?» – и заснул.

Во сне он увидел огромную роскошную книгу, а себя – семилетним мальчиком. В книге он прочел середину страницы:

«Жизнь – порочный факт, каждое существо норовит сделать такое, чего никогда не было и не будет, поэтому многие явления живой природы необъяснимы и не имеют подобия во вселенной. Так умирающий электрон, ища в эфире труп своей невесты, может стянуть к себе весь космос, сплотить его в камень чудовищного удельного веса, а сам погибнет в его каменном центре от отчаяния, масштаб которого подобен расстоянию от Земли до Млечного Пути. Пусть тогда догадается ученый о тайне небесного мертвого камня!.. Пусть родится мозг, могущий вместить чудовищную сложность и страшную порочную красоту вселенной!»

Проснувшись, Егор забыл свой сон навсегда, на всю жизнь.

* * *

Двадцатого марта не так велики дни и кратки ночи, чтобы утренняя заря загорелась в час пополуночи. Так еще не бывало никогда, даже старики не помнят.

А однажды случилось так. Московские люди расходились по домам – кто из театра, кто с ночной работы на заводе, кто просто с затянувшейся беседы у друга.

В этот вечер в Большом зале Филармонии был концерт знаменитого пианиста Шахтмайера, родом из Вены. Его глубокая подводная музыка, полная того величественного и странного чувства, которое нельзя назвать ни скорбью, ни экстазом, – потрясла его слушателей. Молчаливо расходились люди из Филармонии, ужасаясь и радуясь новым и неизвестным недрам и высотам жизни, о которых рассказал Шахтмайер стихийным языком музыки.

В Политехническом музее в половине первого кончился доклад Макса Валира, возвратившегося с полдороги на Луну. В ракете его конструкции обнаружился просчет; кроме того, среда между Землей и Луной оказалась совсем иной, чем о ней предполагали с Земли, поэтому Валир вернулся обратно. Аудитория была взволнована до крайней степени докладом Валира и, заряженная волей и энтузиазмом великой попытки, со страшным шумом, лавой растекалась по Москве. В этом отношении слушатели Валира и Шахтмайера резко отличались друг от друга.

А высоко над площадью Свердлова в этот миг засветилась синяя точка. Она в секунду удесятерилась в размерах и затем стала излучать из себя синюю спираль, тихо вращаясь и как будто разматывая клубок синего вязкого потока. Один луч медленно влекся к земле, и было видно его содрогающееся движение, как будто он встречал упорные встречные силы и, пронзая их, тормозил свой путь. Наконец столб синего немерцающего мертвого огня установился между землей и бесконечностью, а синяя заря

охватила все небо. И сразу ужаснуло всех, что исчезли все тени: все предметы поверхности земли были окунуты в какую-то немую, но все пронзающую влагу – и не было ни от чего тени.

В первый раз с постройки города в Москве замолчали: кто говорил, тот оборвал свое слово, кто молчал, тот ничего не воскликнул. Всякое движение остановилось; кто ехал, тот забыл продолжать путь, кто стоял на месте, тот не вспомнил о цели, куда его влекло.

Тишина и синее мудрое сияние стояли одни над землею, обнявшись.

И было так безмолвно, что, казалось, звучала эта странная заря монотонно и ласково, как пели сверчки в нашем детстве.

В весеннем воздухе каждый голос звонок и молод – пронзительно и удивленно крикнул женский голос под колоннами Большого театра: чья-то душа не выдержала напряжения и сделала резкое движение, чтобы укрыться от этого очарования.

И сразу тронулась вся ночная Москва: шоферы нажали кнопки стартеров, пешеходы сделали по первому шагу, говорившие закричали, спящие проснулись и бросились на улицу, каждый взор обратился навзничь к небу, каждый мозг забился от возбуждения.

Но синяя заря начала угасать. Темнота заливала горизонты, спираль свертывалась, забираясь в глубину Млечного Пути, затем осталась яркая вращающаяся звезда, но и она таяла на живых глазах – и все исчезло, как беспамятное сновидение. Но каждый глаз, глядевший на небо, еще долго видел там синюю кружащуюся звезду, – а ее уже не было, и по небу шел обычный звездный поток.

И всем стало отчего-то скучно, хотя никто почти не знал, в чем дело.

* * *

Утром в «Известиях» было помещено интервью с инженером Кирпичниковым.

«ОБЪЯСНЕНИЕ НОЧНОЙ ЗАРИ НАД МИРОМ.

С большим трудом наш корреспондент проник в Микробиологическую лабораторию имени проф. Маранда. Это произошло в четыре часа ночи, непосредственно после оптического явления в эфире. В лаборатории корреспондент застал спящего Г. М. Кирпичникова – известного инженера, конструктора приборов для размножения материи, открывшего так называемый «эфирный тракт».

Наш корреспондент не осмелился будить усталого изобретателя, однако обстановка лаборатории позволила увидеть все результаты ночного эксперимента.

Кроме приборов, необходимых для производства эфирного тракта и аккумуляции мертвых электронов, на столе изобретателя лежала старая, желтая рукопись. На открытой странице ее было написано: «Дело техников теперь разводить железо, золото и уголь, как скотоводы разводят свиней». Кому принадлежат эти слова, корреспондентом пока не установлено.

Половину экспериментальной залы занимало блестящее тело. По рассмотрении это оказалось железом. Форма железного тела – почти правильный куб, размером 10x10x10 метров. Непонятно, каким образом такое тело

могло попасть в залу, так как существующие в ней окна и двери позволяют внести тело размером не больше половины указанных. Остается одно предположение – железо в залу ниоткуда не вносилось, а выращено в самой зале. Эта достоверность подтверждена журналом экспериментов, лежавшим на том же столе, где и рукопись. Рукою Г. М. Кирпичникова там записаны размеры подопытного тела: «Мягкое железо, размером 10х10х10 сантиметров – 1 ч. 25 мин., оптимальный вольтаж». Дальнейших записей в журнале не имеется. Таким образом, в течение 2 – 3 часов железо в объеме увеличилось в 100 раз. Такова сила эфирного питания электронов.

В зале стоял какой-то ровный и постоянный шум, на который наш корреспондент вначале не обратил внимания. Осветив залу, наш сотрудник обнаружил некое чудовище, сидящее на полу близ железной массы. Рядом с неизвестным существом лежали сложные части разрушенного прибора, как бы пережженные вольтовой дугой. Животное издавало ровный стон. Корреспондент его сфотографировал (см. ниже). Наибольшая высота животного – метр. Наибольшая ширина – около половины метра. Цвет его тела – красно-желтый. Общая форма – овал. Органов зрения и слуха – не обнаружено. Кверху поднята огромная пасть с черными зубами, длиною каждый по 5 – 4 сантиметра. Имеются четыре короткие (1/4 метра) мощные лапы с налившимися мускулами; в обхвате лапа имеет не менее полуметра; кончается лапа одним могущественным пальцем, в форме эластичного сверкающего копья. Животное стоит на толстом сильном хвосте, конец которого шевелится, сверкая тремя зубьями. Зубы в отверзтой пасти

имеют нарезку и вращаются в своих гнездах. Это странное и ужасное существо очень прочно сложено и производит впечатление живого куска металла.

Шум в лаборатории производил гул этого гада: вероятно, животное голодно. Это, несомненно, искусственно откормленный и выращенный Кирпичниковым электрон.

В заключение редакция поздравляет читателей и страну с новой победой научного гения и радуется, что эта победа выпала на долю молодого советского инженера.

Искусственное выращивание железа и вообще размножение вещества даст Советскому Союзу такие экономические и военные преимущества перед остальной, капиталистической частью мира, что если бы капитализм имел чувство эпохи и разум истории, он бы сдался социализму теперь же и без всяких условий. Но, к сожалению, империализм никогда не обладал такими ценными качествами.

Реввоенсоветом и ВСНХ Союза уже приняты соответствующие меры для обеспечения монопольного пользования государством изобретениями Г. М. Кирпичникова.

Г. М. Кирпичников – член партии и Исполбюро КИМа, и от него еще несколько месяцев назад правительством получено согласие на передачу всех своих открытий и конструкций в пользу государства, и притом безвозмездно. Правительство, конечно, целиком и полностью обеспечит Г. М. Кирпичникову возможность дальнейшей работы.

Сегодня в 1 час дня Г. М. Кирпичников будет иметь свидание с предсовнаркома Союза т. Чаплиным».

Вся Москва – этот новый Париж социалистического

мира – пришла в исступление от такой заметки. Живой, страстный, общественный город весь очутился на улицах, в клубах, на лекциях – везде, где пахло хотя бы маленькими новыми сведениями о работах Кирпичникова.

День родился солнечным, снег подтаивал, и неимоверная надежда разрасталась в человеческой груди. По мере движения солнца к полуденному зениту все яснее в мозгу человека освещалось будущее, как радуга, как завоевание вселенной и как синяя бездна великой души, обнявшей стихию мира, как невесту.

Люди не находили слов от радости технической победы, и каждый в этот день был благороден.

Что может быть счастливее и тревожнее того дня, который служит кануном технической революции и неслыханного обогащения общества?

В «Вечерней Москве» появилось описание рабочего собрания завода «Генератор», где Егор Кирпичников отбывал свою двухлетнюю студенческую практику.

На собрание прибыли предсовнаркома Чаплин и Кирпичников. Их встретили восемь тысяч мастеровых и специалистов, стоя на ногах.

Кирпичников сделал доклад об открытии эфирного тракта и его промышленной эксплуатации в ближайшем будущем. Он начал с работ аюнитов в этом направлении, подробно остановился на трудах Ф. К. Попова, которого и следует считать изобретателем эфирного тракта, затем изложил историю поисков своего отца и закончил кратким указанием на свою работу, завершающую труд всех предшественников.

Тов. Чаплин доложил о том, что намерено сделать

правительство, чтобы изобретение Кирпичникова принесло наибольшую пользу обществу.

Мастеровые подняли на руки Кирпичникова и Чаплина и пронесли их между моторами и станками до автомобилей.

Чаплин поехал в Кремль, а Кирпичников – к матери на Большой Златоустинский.

* * *

Как в старину, женщины теперь носили накидки и длинные платья, закрывающие ноги и плечи. Любовь была редким чувством, но считалась признаком высокого интеллекта.

Девственность женщин и мужчин стала социальной моралью, и литература того времени создала образцы нового человека, которому незнаком брак, но присуще высшее напряжение любви, утоляемое, однако, не сожительством, а либо научным творчеством, либо социальным зодчеством.

Времена полового порока угасли в круге человечества, занятого устроением общества и природы.

Наступило новое лето. Егор Кирпичников устал от эфирного тракта и беспомощно затосковал по далеким и смутным явлениям, как это с ним бывало не раз.

Он снова убивал дни, скитаясь и наслаждаясь одиночеством – то в Останкино, то в Серебряном бору, то уезжая на Ладожское озеро, которое он так любил.

– Тебе, Егор, влюбиться надо! – говорили ему друзья. – Эх, напустить бы на тебя хорошую русскую девушку, у которой коса травою пахнет!..

– Оставьте, – отвечал Егор. – Я сам себя не знаю куда деть! Знаете, я никак не могу устать, – работаю до утра, а слышу, что мозг скрежещет и спать не хочет!

– А ты женись! – советовали все-таки ему.

– Нет, когда полюблю прочно, в первый раз и на всю жизнь, тогда...

– Что тогда?

– Тогда... уйду странствовать, и думать о любимой.

– Странный ты человек, Егор! От тебя каким-то старьем и романтизмом пахнет... Инженер, коммунист, а мечтает!..

В мае был день рождения Валентины Кроховой Валентина весь день читала Пушкина и плакала: ей сравнялось двадцать лет. Вечером она надела серое платье, поцеловала перстень на пальце – подарок отца – и стал ждать Егора с матерью и еще двух подруг. Она убрала стол, в комнате пахло жимолостью, полем и чистым телом человека.

Огромное окно было распахнуто, но видно в него одно небо и шевелящийся воздух на страшной высоте.

Пробило семь часов. Валентина села за рояль и сыграла несколько этюдов Шахтмайера и Метнера. Она не могла отделаться от своей сердечной тревоги и не знала, что ей делать – расплакаться или сжать зубы и не надеяться.

Весенняя природа волновалась страстью размножения и жаждала забвения жизни в любви. И в круг этих простых сил была включена Валентина Крохова и не могла от них отбиться. Ни разум, ни чужое страдание в поэмах и в музыке – ничто не помогло горю ее молодости. Ей нужен был поцелуй, а не философия и даже не красота. Она привыкла честно мыслить и понимала это.

В восемь часов к ней постучали. Принесли телеграмму от Егора. В ней стояли странные, шутливые и жестокие слова, и притом в стихах, к которым Егор питал влечение с детства:

Дарю тебе луну на небе
И всю живую траву на земле,
Я одинок и очень беден,
Но для тебя – мне нечего жалеть.

Валентина не поняла, но к ней вошли веселые подруги.

В одиннадцать часов Валентина выпроводила подруг и пошла к Егору, зажженная темным отчаянием.

Ее встретила Мария Александровна. Егора дома не было, уже вторые сутки. Валентина посмотрела на бланк телеграммы: она была подана из Петрозаводска.

– А я думала, он у вас будет сегодня вечером! – сказала Мария Александровна.

– Нет, его у меня не было!

И обе женщины молча сели, ревнуя друг к другу утраченного и томясь одинаковым горем.

* * *

В августе Мария Александровна получила письмо от Егора из Токио.

«Мама. Я счастлив и кое-что постиг. Конец моей работы близок. Только бродя по земле, под разными лучами солнца и над разными недрами, я способен думать. Я те-

перь понял отца. Нужны внешние силы для возбуждения мыслей. Эти силы рассеяны по земным дорогам, их надо искать и под них подставлять голову и тело, как под ливни. Ты знаешь, что я делаю и ищу корень мира, почву вселенной, откуда она выросла. Из древних философских мечтаний это стало научной задачей дня. Надо же кому-нибудь это делать, и я взялся. Кроме того, ты знаешь мои живые мускулы, они требуют напряжения и усталости, иначе я бы затомился и убил себя. У отца тоже было это чувство; быть может, это болезнь, быть может, это дурная наследственность от предков – пеших бродяг и киевских богомольцев. Не ищи меня и не тоскуй, – сделаю задуманное, тогда вернусь. Я думаю о тебе, ночую в стогах сена и в куренях рыбаков. Я тоскую о тебе, но меня гонят вперед мои беспокойные ноги и моя тревожная голова. Быть может, верно, жизнь – порочный факт, и каждое дышащее существо – чудо и исключение. Тогда я удивляюсь, и мне хорошо думать о своей милой матери и неотомщенном отце.

Егор».

* * *

Тридцать первого декабря в Москве было получено известие о смерти Егора Кирпичникова в Буэнос-Айресе, в тюрьме. Он был арестован вместе с бандитами, грабившими скорые поезда. В тюрьме он заболел тропической малярией. Вся шайка была приговорена к повешению. Так как Кирпичников не мог идти на виселицу, валяясь в предсмертном бреду, то ему дали яду, и он, не помня уже ничего о жизни, скончался.

Труп его, наравне с повешенными бандитами, был брошен в илистые воды Амазонки и смыт в Тихий океан. Виселицы стояли на самом берегу Амазонки; их также после казни бросили в реку, и они поплыли, таща трупы в своих мертвых петлях.

На запросы советского правительства о такой расправе с человеком, который не мог быть преступником и попал в шайку по неизвестному случаю, бразильское правительство ответило, что оно не знало, что в его руках Кирпичников; при аресте же он отказался назвать себя, а потом заболел и ни разу не приходил в сознание во время следствия.

* * *

Мария Александровна поставила новую урну в Доме воспоминаний в Серебряном бору, рядом с урной своего мужа.

На ней значилось:

«Егор Кирпичников. Погиб 29 лет. Изобретатель эфирного тракта, последователь Ф. К. Попова и своего отца. Вечная слава и скорбная память зодчему новой природы».

ГОРОД ГРАДОВ

Мое сочинение скучно и терпеливо, как жизнь, из которой оно сделано.

Ив. Шаронов, писатель конца XIX века

1

От татарских князей и мурз, в летописях прозванных мордовскими князьями, произошло столбовое градовское дворянство, – все эти князья Енгалычевы, Тенишевы и Кугушевы, которых до сих пор помнит градовское крестьянство.

Градов от Москвы лежит в пятистах верстах, но революция шла сюда пешим шагом. Древлевотчинная Градовская губерния долго не сдавалась ей: лишь в марте 1918 года установилась Советская власть в губгороде, а в уездах – к концу осени.

Оно и понятно: в редких пунктах Российской империи было столько черносотенцев, как в Градове. Одних мощей Градов имел трое: Евфимий ветхопещерник, Петр – женоненавистник и Прохор – византиец; кроме того, здесь находились четыре целебных колодца с соленой водой и две лежащих старушки-прорицательницы, живьем легшие в удобные гробы и кормившиеся там одной сметаной. В голодные годы эти старушки вылезли из гробов и стали мешочницами, а что они святые – все позабыли, до того суетливо жилось тогда.

Проезжий ученый говорил властям, что Градов лежит на приречной террасе, о чем и был издан циркуляр для сведения.

Город орошала речка Жмаевка – так учили детей в школе первой ступени. Но летом на улицах было сухо, и дети не видели, что Жмаевка орошает Градов, и не понимали урока.

Вокруг города жили слободы: исконные градовцы называли слобожан нахальщиками, ибо слобожане бросали пахотное дело и стремились стать служилами-чиновниками, а в междуцарствие свое – пока им должностей не выходило – занимались чинкой сапог, смолокурством, перепродажей ржаного зерна и прочим незнатным занятием. Но в том была подоплека всей жизни Градова: слобожане наседали и отнимали у градовцев хлебные места в учреждениях, а градовцы обижались и отбивались от деревенских охальников. Поэтому три раза в год – на троицу, в николин день и на крещенье – между городом и слободами происходили кулачные бои. Слобожане, кормленные густой пищей, всегда побивали градовцев, исчахших на казенных харчах.

Если подъезжать к Градову не по железной дороге, а по грунту, то въедешь в город незаметно: все будут поля, потом пойдут хаты, сделанные из глины, соломы и плетня, потом предстанут храмы и уже впоследствии откроется площадь. Посреди площади стоит собор, а против него двухэтажный дом.

– А где же город? – спросит приезжий человек.

– А вот он, город, и есть! – ответит ему возчик и укажет на тот же двухэтажный дом старинной стройки. На доме том висит вывеска:

«Градовский уисполком».

На краю базарной площади стоят еще несколько домов

казенного вечного образца – там тоже необходимые губернии учреждения.

Есть в Градове жилища и поприличней хат. Крыты они железом, на дворе имеют нужники, а с уличной стороны палисадники. У иных есть и садики, где растут вишня и яблоня. Вишня идет в настойку, а яблоко в мочку.

Живут в таких домах служащие люди и хлебные скупщики.

В летние вечера город наполняется плавающим колокольным звоном и трубным дымом поставленных самоваров.

Народ в городе существовал без спешки и не беспокоился о якобы лучшей жизни. Служил с усердием, держа порядок в губернии, но ярости в труде не знал. Торговали по малости, без риска, но прочно сбивая хлеб насущный.

Героев город не имел, безропотно и единогласно принимая резолюции по мировым вопросам.

А может, и были в Градове герои, только их перевела точная законность и надлежащие мероприятия.

Отсюда пошло то, что сколько ни давали денег этой ветхой, растрепанной бандитами и заросшей лопухами губернии, ничего замечательного не выходило.

В Москве руководители губернии говорили правительству, что хотя нельзя сказать точно, на что истрачены пять миллионов, отпущенные в прошлом году на сельское хозяйство, но толк от этих миллионов должен быть: все-таки деньги истрачены в Градовской губернии, а не в чужом месте и как-нибудь скажутся.

– Может, пройдет десять годов, – говорил председатель Градовского губисполкома, – а у нас рожь начнет расти с

оглоблю, а картошка в колесо. Вот тогда и видно будет, куда ушло пять миллионов рублей!

А было дело так. Случился в Градовской губернии голод от засухи. На прокормление крестьян и на особые гидротехнические работы отпустили пять миллионов рублей.

Восемь раз заседал президиум Градовского губисполкома: что делать с этими деньгами? Четыре месяца шло обсуждение серьезного вопроса.

В основу отбора голодающих крестьян от сытых был положен классовый принцип: помощь оказывать только тем крестьянам, у которых нет ни коровы, ни лошади, а наличный скот – не свыше двух овец и двадцати кур, включая петуха; остальным крестьянам, имеющим корову или лошадь, давать хлеб порциями, когда в теле есть научные признаки голода.

Научное определение голода было возложено на ветеринаров и на сельский педагогический персонал. Затем Градовским губисполкомом была детально разработана «Ведомость учета крестьянских хозяйств, на восстановление, укрепление и развитие коих может в некоторой степени повлиять частичный недород некоторых районов губернии».

Сверх натуральной кормежки решено было начать гидротехнические работы. Создана была особая комиссия по набору техников. Но она ни одного техника не приняла, так как оказалось: чтобы построить деревенский колодезь, техник должен знать всего Карла Маркса.

Комиссия решила, что технического персонала на рынке республики нет, и по одному доброму совету при-

няла, что эти работы надо поручить бывшим солдатам-военнопленным, а также сельским самоучкам, которые даже часы могут чинить, а не только насыпь сделать или яму для воды выкопать. Один член этой приемочной комиссии вслух прочитал книгу, где говорится, как холоп Микишка сделал аэроплан и летал на нем перед Иваном Грозным, – чем убедил окончательно комиссию в скрытых силах пролетариата и трудового крестьянства. Следовательно, решила комиссия, средства, отпущенные губернии на борьбу с недородом, помогут «выявить, использовать, учесть и в дальнейшем снова использовать внутренние умственные силы пролетариата и беднейших крестьян, тем самым гидротехнические работы в нашей губернии будут иметь косвенный культурный эффект».

Было построено шестьсот плотин и четыреста колодцев. Техников совсем не было, а может, было человека два. Не достояв до осени, плотины были смыты летними легкими дождями, а колодцы почти все стояли сухими.

Кроме того, одна сельскохозяйственная коммуна, под названием «Импорт», начала строить железную дорогу длиною в десять верст. Железная дорога должна соединить «Импорт» с другой коммуной – «Вера, Надежда, Любовь». Денег «Импорт» имел пять тысяч рублей, и даны они были на орошение сада. Но железная дорога осталась недостроенной: коммуна «Вера, Надежда, Любовь» была ликвидирована губернией за свое название, а член правления «Импорта», посланный в Москву купить за двести рублей паровоз, почему-то не вернулся.

Сверх того, на те же деньги десятниками самочинно были построены восемь планеров для почтовой службы и

перевозки сена и один вечный двигатель, действующий моченым песком.

2

В Градов Иван Федотович Шмаков ехал с четким заданием – врасти в губернские дела и освежить их здравым смыслом. Шмакову было тридцать пять лет, и славился он совестливостью перед законом и административным инстинктом, за что и был одобрен высоким госорганом и послан на ответственный пост.

Думал Шмаков как раз про то, что было ему известно про Градов. А известно ему было одно, что Градов – оскуделый город и люди живут там настолько бестолково, что даже чернозем травы не родит.

За два часа до Градова Шмаков вышел на попутную станцию и, оглянувшись по сторонам, испуганно и наспех выпил водочки в буфете, зная, что советская власть не любит водки. Особое чувство скуки и беспокойства охватило Шмакова, когда он шел по мрачным и бесприютным залам вокзала. В третьем классе сидели безработные и ели дешевую мокрую колбасу. Плакали дети, увеличивая чувство тревоги и беспомощной жалости. Уныло гудели маломощные паровозы, готовясь к одолению скучных осенних пространств, полных редкой и убогой жизни.

Проезжие люди жили так, как будто они ехали по чужой планете, а не по отечественной стране; каждый ел укромкой и соседу пищи не давал, но все-таки люди жались друг к другу, ища защиты на страшных путях сообщения.

Шмаков вошел в вагон и закурил. Поезд тронулся.

Наспех выскочила баба с яблоками, запутавшись в сдаче пассажиру с гривенника.

Шмаков плюнул, раздражаясь от длительности пути, и сел. За окном проскакивали хижины какого-то городка и не спеша помахивала мельница ветхими крыльями, тяжело меля грубое зерно.

Некий старичок рассказывал соседям хитроумную притчу, и люди смеялись, торопя старика:

– А мордвин што?

– А мордвин богатый человек, – говорил старик, – мордвин угостил русского подобру и честь честью. Только русский говорит мордвину: «Я беден, и когда разбогатею, тогда тебя тоже в гости позову».

– А мордвин ему што?

– А мордвин ждет! Прошел год, еще год, а потом сразу два. Русский все не богатеет, а мордвин все ждет – когда его русский к себе в гости позовет? Четыре года томился мордвин, а потом вспомнил про русского и пошел к нему в гости. Вот приходит в хату...

– К русскому?

– К русскому, то видно по рассказу. Русский схватил шапку с мордвина – то на один гвоздь ее повесит, то на другой, то на третий. «Што ты?» спрашивает его мордвин. «Места тебе не найду», – говорит русский. «Почет, значит?» – «Ну, почет, конечно». Сел мордвин за порожний стол и глядит, чего бы ухватить ему из пищи. Глядь, русский кувшин тащит. «Пей», говорит. Мордвин ухватился, думал – влага какая, а там вода. Попил мордвин. «Будя», – говорит. «Пей, – говорит русский, – не обижай, пожалуйста!» Мордвин, конечно, человек уважительный, – пьет. Не

успел выпить этого кувшина, хозяйка ведро принесла, а хозяин доливает кувшин и потчует гостя. «Не обидь, – говорит, – угощайся, ради бога!» Выпил мордвин три ведра воды и пошел домой. «Хорошо угостил тебя русский?» – спрашивает мордвина жена. «Хорошо, – говорит мордвин, – спасибо, что вода была, а от водки я бы помер – три ведра выпил...»

Шмаков задремал от плавного хода поезда и сбился с рассказа старика. Увидев во сне кошмарное видение, что рельсы лежат не на земле, а на диаграмме и означают пунктир, то есть косвенное подчинение, Шмаков пробормотал что-то и проснулся. Старичок исчез, взяв свой мешок с продуктами, а на его месте сидел комсомолец и проповедовал:

– Религия должна караться по закону!

– Это через почему ж такое по закону-то? – злобно допытывался неизвестный человек, ранее рассказывавший о ценах на пшено в Саратове и Раненбурге.

– А вот почему! – говорил парень, равнодушно и старчески улыбаясь и явно жалея собеседников. – Я расскажу все последовательно! Потому что религия есть злоупотребление природой! Поняли? Дело ведь просто: солнце начинает нагревать навоз, сначала вонь идет, а потом оттуда трава вырастает. Так и вся жизнь на земле произошла – очень просто...

– А я у вас извинения попрошу, товарищ коммунист, – робко выговорил все тот же неизвестный человек, что на пшено цену знал, – ежели ты навоз, допустим, на загнетку положишь, а печку затопишь, чтоб тепло и свет шли, то, по-вашему, вырастет трава из навоза аль нет?

– Ну да, вырастет! – ответил знающий парень. – Все равно – что печка, что солнце...

– И на лежанке можно? – хитрил неизвестный человек.

– Ясно, можно! – подтвердил комсомолец.

– А вы вот что нам скажите, гражданин коммунист, – хрипло обратился человек, ехавший в Козлов на мясохладобойню, – правда, что Днепр перегородить хотят и Польшу затопить?

Комсомольский знаток разгорелся и сразу рассказал о Днепрострое все, что известно и неизвестно.

– Сурьезное дело! – дал свое заключение о Днепрострое козловский человек. – Только воду в Днепре не удержать!

– Это почему ж такое? – вступился тут Шмаков.

Козловец сумрачно поглядел на Шмакова: дескать, это еще что за моль тут встряла в разговор?

– А потому, – сказал он, – что вода – дело тяжкое, камень точит и железо скоблит, а советский материал – мягкая вещь!

«Он прав, сволочь! – подумал Шмаков. – У меня тоже пуговицы от новых штанов оторвались, а в Москве покупал!»

Дальше Шмаков не слушал, заскорбев от дум и недоброкачественности жизни. Поезд гремел на крутом уклоне и скрежетал бессильными тормозами.

Печальный, молчаливый сентябрь стоял в прохладном пустопорожнем поле, где не было теперь никакого промысла. Одно окно в вагоне было открыто, и какие-то пешие люди кричали в поезд:

– Эй, сволочи!

Иногда встречные пастушонки просили:

– Брось газету! – Газета им требовалась на цигарки.

Комсомолец, раздобрев от своей осведомленности, побросал им всю наличную бумагу, и пастушонки ловили ее, не допуская до земли. Но Шмаков своей газеты не дал – в чужом городе всякий клок дорог.

– Градов! Кому до Градова? Первая остановка! – сказал проводник и начал выметать сор. – Насорили, идолы, как в поле! Штрафовать вас надо, да денег у вас нету! Бабка, прими ноги!

Шмаков сошел в Градове, и его охватила некоторая жуть.

«Вот оно, мое поселение», – подумал Шмаков и оглядывал тихий вокзал и скромных людей, спешащих попасть в вагоны.

Несмотря на то, что этот пункт был связан рельсами со всем миром – с Афинами и Апеннинским полуостровом, а также с берегом Тихого океана, никто туда не ездил: не было надобности. А если б кто поехал, то запутался бы в маршруте: народ тут жил бестолковый.

3

Вселился Шмаков в дом № 46 по Коркиной улице; дом был невелик, и жила в нем одна старушка, караульщица своего недвижимого имущества. Получала она за мужа пенсию одиннадцать рублей двадцать пять копеек в месяц и комнату сдавала за восемь рублей с ее топкой.

Сел за голый стол Иван Федотыч, поглядел на двор, где травы умирали, и ему сделалось скучно. Посидев, Иван Федотыч лег, а полежавши, встал и пошел еды купить.

Еще не закатилось сентябрьское солнце, а Иван Федотыч вернулся в пустоту своего жилища. Старушка вздыхала на кухне от перемены власти и трещала лучинками к самовару.

Иван Федотыч поел колбасы, а затем сел вырабатывать форму своей подписи на будущих бумагах. «Шмаков», – написал Иван Федотыч. «Нет, не твердо», – подумал он и вновь написал «Шмаков», но уже более бесхитростно и как бы невзначай копируя по простоте начертания подпись Ленина.

Затем долго раздумывал Иван Федотыч – ставить ему перед своей фамилией «Ив» – Иван или не надо. Наконец решил поставить: могут обознаться и спутать с инородным человеком; хотя фамилия «Шмаков» достаточно редкостная.

В восемь часов старушка перестала вздыхать и тихо засопела – уснула, стало быть. Потом проснулась и долго бормотала славянские молитвы.

Иван Федотыч задернул занавесочки, понюхал больной цветок на подоконнике и извлек из чемодана кожаную тетрадь. На коже было вырезано перочинным ножом заглавие рукописного труда:

«ЗАПИСКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЧЕЛОВЕКА».

Открыв рукопись на сорок девятой странице, Иван Федотыч подчитал конец и, разогнавшись мыслью, начал продолжать:

«...Я тайно веду свой труд. Но когда-нибудь он сделается мировым юридическим сочинением, а именно: я говорю, чиновник и прочее всякое должностное лицо – это ценнейший агент социалистической истории, это живая шпала под рельсами в социализм.

Служение социалистическому отечеству – это новая религия человека, ощущающего в своем сердце чувство революционного долга.

Воистину в 1917 году в России впервые отпраздновал свою победу гармонический разум порядка!

Современная борьба с бюрократией основана отчасти на непонимании вещей.

Бюро есть конторка. А конторский стол суть непременная принадлежность всякого государственного аппарата.

Бюрократия имеет заслуги перед революцией: она склеила расползавшиеся части народа, пронизала их волей к порядку и приучила к однообразному пониманию обычных вещей.

Бюрократ должен быть раздавлен и выжат из Советского государства, как кислота из лимона. Но не останется ли тогда в лимоне одно ветхое дерьмо, не дающее вкусу никакого достоинства...»

– Гады! – заорал кто-то у окна. – Испотрошу всяку сволочь, всяку баптистскую ересь...

И вдруг голос смилостивился и зазвучал милосердно:

– Друг, скажи по-матерному, по-церковнославянски! Ага, нельзя!.. Эх ты, гниденыш!

Шаги удалились, и пустынно застучал колотушечник, предупреждая грабеж.

Шмаков сначала насторожился, а потом поник в удручении от многочисленности хамства.

Одолев нравственную тревогу, он продолжал:

«Что нам дают вместо бюрократизма? Нам дают – доверие вместо документального порядка, то есть дают хищничество, ахинею и поэзию.

Нет! Нам нужно, чтобы человек стал святым и нравственным, потому что иначе ему деться некуда. Всюду должен быть документ и надлежащий общий порядок.

Бумага лишь символ жизни, но она и тень истины, а не хамская выдумка чиновника.

Бумага, изложенная по существу и надлежаще оформленная, есть продукт высочайшей цивилизации. Она предучитывает порочную породу людей и фактирует их действия в интересах общества.

Более того, бумага приучает людей к социальной нравственности, ибо ничто не может быть скрыто от канцелярии».

Часто бывало, что мысль Ивана Федотыча увлекалась сторонними соображениями во вред пользе. Вот и сейчас, пренебрегая временем, он задумался о сравнительной административной силе предуика[1] и исправника. Затем он подумал о воде земного шара и решил, что лучше спустить все океаны и реки в подземные недра, чтобы была сухая территория. Тогда не будет беспокойства от дождей, а народ можно расселить просторнее. Воду будут сосать из глубины насосы, облака исчезнут, а в небе станет вечно гореть солнце, как видимый административный центр.

«Самый худший враг порядка и гармонии, – думал Шмаков, – это природа. Всегда в ней что-нибудь случается...

А что, если учредить для природы судебную власть и карать ее за бесчинство? Например, драть растения за недород. Конечно, не просто пороть, а как-нибудь похитрее – химически, так сказать!

---

[1] Председателя уездного исполкома.

Не согласятся, – вздохнул Шмаков, – беззаконники везде сидят!»

Потом он очнулся и продолжал работать:

«И как идеал зиждется перед моим истомленным взором то общество, где деловая официальная бумага проела и проконтролировала людей настолько, что, будучи по существу порочными, они стали нравственными. Ибо бумага и отношение следовали за поступками людей неотступно, грозили им законными карами, и нравственность сделалась их привычкой.

Канцелярия является главной силой, преобразующей мир порочных стихий в мир закона и благородства.

Подумать надо над этим – и крепко подумать. Я кончаю сегодняшнюю очередную запись, чтобы крепко подумать о бюрократии».

Тут Иван Федотыч встал и действительно задумался.

Так думал он о бюрократии долго, пока его не перебил собачий лай на ночной улице, и тогда он уснул, зря не потушив лампы.

На другой день Шмаков явился на службу – в губернское земельное управление, куда он назначен был заведовать подотделом.

Явившись, он молча сел и начал листовать разумные бумаги. Сослуживцы дико смотрели на новое молчаливое начальство и, вздыхая, не спеша чертили какие-то длинные скрижали.

Иван Федотыч постепенно входил в самое средоточие дел, но сразу усмотрел ущерб стройности и делопроизводственной логике.

Вечером, лежа на кровати, он раздумывал о своей новой

службе. Круг обязанностей каждого сотрудника очерчен недостаточно четко, служащие суетятся с малой пользой, в бумагах запор смысла и скользкая бесплановая логика, в толчее и подотдельской тесноте сотрудники утратили самую цель своих трудов и исторический смысл своей службы.

Поев вчерашней колбасы, Шмаков сел писать доклад начальнику земуправления.

«О соподчинении служащих внутри вверенного мне подотдела в целях рационализации руководимой мною области сельскохозяйственных мероприятий».

Трактат свой Иван Федотыч кончил поздней ночью – за полночь.

Утром хозяйка сжалилась над одиноким человеком и дала Ивану Федотычу бесплатно чай. Ночью она слышала, как у спящего Шмакова рычала и резко трескалась сухая жирная пища в животе.

Иван Федотыч принял чай без всякого одобрения и без интереса прослушал хозяйкин рассказ об их глухой стороне.

Оказалось, что в ближних к Градову деревнях – не говоря про дальние, что в лесистой стороне, – до сей поры весной в новолунье и в первый гром купались в реках и озерах, умывались с серебра, лили воск, окуривали от болезней скот и насвистывали ветер.

«Холуйство! – подумал Иван Федотыч, послушав старуху. – Только живая сила государства – служилый, должный народ способен упорядочить это мракобесие».

Идя на службу, Иван Федотыч чувствовал легкость желудка от горячего чая старухи и покой мысли от убежденности в благотворном государственном начале.

На службе Ивану Федотычу дали дело о наделении землей потомков некоей Алены, которая была предводительницей мятежных отрядов Поценского края в XVIII столетии и которую сожгли за чародейные дела в срубе в г. Кадоме.

«Ездили они, отцы наши, воровские казаки, – читал в деле Шмаков, – по уездам, рубили помещиков и вотчинников, за которыми были крестьяне, а черных людей, крестьян и боярских людей и иных служилых людей никого не рубили и не грабили».

Дело о землеустройстве потомков Алены тянулось уже пятый год. Теперь пришла новая бумага от них с резолюцией начальника учреждения:

«Тов. Шмакову. Реши это дело, пожалуйста, окончательно. Пятый год идет волокита о семи десятинах. Доложи мне срочно по сему».

Шмаков исчитал все дело и нашел, что это дело можно решить трояко, о чем и написал особую докладную записку начальнику учреждения, не предрешая вопроса, а ставя его на усмотрение вышестоящих инстанций. В конце записки он вставил собственное изречение, что волокита есть умственное коллективное вырабатывание социальной истины, а не порок. Управившись с Аленой, Шмаков углубился в поселок Гора-Горушку, который жил на песках, а на лучшие земли не выходил. Оказалось, что поселок жил тихим хищничеством с железной дороги, которая проходила в двух верстах. Поселку давали и деньги и агрономов, а он сидел на песке и жил неведомо чем.

Шмаков написал на этом деле резолюцию:

«Гору-Горушку считать вольным поселением, по при-

меру немецкого города Гамбурга, а жителей – транспортными хищниками; земли же надлежит у них изъять и передать в трудовое пользование».

Далее попалось заявление жителей хутора Девьи Дубравы о необходимости присылки им аэроплана для подгонки туч в сухое летнее время. К заявлению прилагалась вырезка из газеты «Градовские известия», которая обнадежила девьедубравцев.

«ПРОЛЕТАРСКИЙ ИЛЬЯ-ПРОРОК.

Ленинградский советский ученый профессор Мартенсен изобрел аэропланы, самопроизвольно льющие дождь на землю и делающие над пашней облака. Будущим летом предположено испытать эти аэропланы в крестьянских условиях. Аэропланы действуют посредством наэлектризованного песка».

Изучив все тексты сего дела, Шмаков положил свое заключение:

«Ввиду сыпящегося из аэроплана песка, чем уменьшается добротность пахотных почв, признать отпуск аэроплана хутору Девьи Дубравы пока преждевременным, о чем и уведомить просителей».

Остаток трудового дня Шмаков истратил целиком и полностью на заполнение форм учета учетной работы, наслаждаясь графами и терминами государственного точного языка.

На пятый день службы Шмаков познакомился с заведующим административно-финансовым отделом земельного управления Степаном Ермиловичем Бормотовым.

Бормотов принял Шмакова спокойно, как чуждое интересам дела явление.

– Товарищ Бормотов, – обратился Шмаков, – у нас дело стоит: вы почту приказали отправлять два раза в месяц оказиями.

Бормотов молчал и подписывал ассигновки.

– Товарищ Бормотов, – повторил Иван Федотыч, – у меня тут срочные бумажки, а отправлять почту будут через неделю чохом...

Бормотов нажал кнопку звонка, не глядя на Шмакова.

Вошел испуганный пожилой человек и прищурился на Бормотова с почтительным и усиленным вниманием.

– Отнеси это в ремесленную управу, – сказал Бормотов человеку. – Да позови мне какую-нибудь балерину из переписчиц.

Человек не осмелился ничего сказать и ушел.

Вошла машинистка.

– Соня, – сказал ей Бормотов, не взирая на нее, а узнав по запаху и иным косвенным признакам. – Соня! Ты оперплан не переписала еще?

– Переписала, Степан Ермилыч! – ответила Соня. – Это операционный план? Ах, нет, не переписала!

– Ну вот, ты спроси сначала, а потом отвечай, а то – переписала!

– Вы про операционный спрашиваете, Степан Ермилыч?

– Ну да, не про опереточный! Оперплан и есть оперплан!

– Ах, я его сейчас только вдела в машинку!

– Вдела и держи там! – ответил Степан Ермилыч.

Тут Бормотов кончил подписывать ассигновки и заметил Шмакова.

Бормотов прослушал и ответил:

– А как же в Вавилоне акведуки строили? Хорошо ведь строили? Хорошо! Прочно? – Прочно! А почта ведь там раз в полгода отправлялась, и не чаще! Что теперь мне скажешь? – Бормотов знающе улыбнулся и принялся подписывать подтверждения и напоминания.

Шмаков сразу утих от такого резона Бормотова и недоуменно вышел. По дороге он дышал воздухом старой деловой бумаги и думал о том, что значит ремесленная управа, которую упомянул Бормотов. Думал Шмаков и еще кое о чем, но о чем – неизвестно.

В дверях административно-финансового отдела спорили два человека. Каждый из них был особенный: один утлый, истощенный и несчастный, пьющий водку после получки, другой – полный благотворности жизни от сытой пищи и внутреннего порядка. Первый, тощий, свирепо убеждал второго, что это глина, держа в руке какой-то комочек. Другой, напротив, стоял за то, что это песчаный грунт, и удовлетворялся этим.

– А почему? Ну почему песок? – пытал его тощий.

– А потому, что сыплется, – резонно говорил тот, что поспокойнее. – Потому, что мукой пылит. Ты дунь!

Тощий дунул – и что-то вышло.

– Ну? – спросил утлый человек.

– Что – ну? – сказал плотный. – Сыплется, – значит, песок!

– А ты плюнь, – догадался тощий.

Его недруг взял в свои руки комок неведомого грунта и смачно харкнул, уверенный в неразмочимой природе песка.

– Ну? – торжественно взогласил тощий. – Помни теперь!

Тот помял и сразу согласился, чтобы не рушить равновесия чувств.

– Глина! Мажется. Дребедень!..

Шмаков прослушал беседу друзей и, достигнув своего стола, сейчас же сел писать доклад начальнику управления – «О необходимости усиления внутренней дисциплины во вверенном Вам управлении, дабы пресечь неявный саботаж».

Но вскоре саботаж явился перед Шмаковым как узаконенное явление. Во вверенном Шмакову подотделе сидело сорок два человека, а работы было на пятерых; тогда Шмаков, испугавшись, донес рапортом кому следовало о необходимости сократить штат на тридцать семь единиц.

Но его вызвали сейчас же в местком и там заявили, что это недопустимо – профсоюз не позволит самодурствовать.

– А чего ж они будут делать? – спросил Шмаков, – им дела у нас нет!

– А пускай копаются, – сказал профсоюзник, – дай им старые архивы листовать, тебе-то што?

– А зачем их листовать? – допытывался Шмаков.

– А чтоб для истории материал в систематическом порядке лежал! – пояснил профработник.

– Верно ведь! – согласился Шмаков и успокоился, но все же донес по начальству, чтобы на душе покойнее было.

– Эх ты, жамка! – сказал впоследствии Шмакову его начальник, – профтрепача послушал – ты работай, как гепеус, вот где умные люди!

Раз подходит к Шмакову секретарь управления и угощает его рассыпными папиросами.

– Покушайте, Иван Федотович! Новые: пять копеек сорок штук градовского производства. Под названием «Красный Инок», – вот на мундштучке значится – инвалиды делают!

Шмаков взял папиросу, хотя почти не курил из экономии, только дарственным табаком баловался.

Секретарь приник к Шмакову и пошептал вопрос:

– Вот вы из Москвы, Иван Федотович! Правда, что туда сорок вагонов в день мацы приходит, и то будто не хватает? Нюжли верно?

– Нет, Гаврил Гаврилович, – успокоил его Шмаков, – должно быть, меньше. Маца не питательна – еврей любит жирную пишу, а мацу он в наказанье ест.

– Вот именно, я ж и говорю, Иван Федотович, а они не верят!

– Кто не верит?

– Да никто: ни Степан Ермилович, ни Петр Петрович, ни Алексей Палыч никто не верит!

4

А меж тем сквозь время настигла Градов печальная мягкая зима. Сослуживцы сходились по вечерам пить чай, но беседы их не отходили от обсуждения служебных обязанностей: даже на частной квартире, вдали от начальства, они чувствовали себя служащими государства и обсуждали казенные дела. Попав раз на такой чай, Иван Федотыч с удовольствием установил непрерывный и сердечный интерес к делопроизводству у всех сотрудников земельного управления.

Желчь дешевого табака, шелест бумаги, запечатлевшей истину, покойный ход очередных дел, шествующих в общем порядке, – эти явления заменяли сослуживцам воздух природы.

Канцелярия стала их милым ландшафтом. Серый покой тихой комнаты, наполненной умственными тружениками, был для них уютней девственной натуры. За огорожами стен они чувствовали себя в безопасности от диких стихий неупорядоченного мира и, множа писчие документы, сознавали, что множат порядок и гармонию в нелепом, неудостоверенном мире.

Ни солнца, ни любви, ни иного порочного явления они не признавали, предпочитая письменные факты. Кроме того, ни любовь, ни учет деятельности солнца – в прямой круг делопроизводства не входили.

Однажды в темный вечер, когда капала неурочная вода – был уже декабрь – и хлопал мокрый снег, по улицам Градова спешил возбужденный Шмаков.

Предназначалась сегодня пирушка – по три рубля с души – в честь двадцатипятилетия службы Бормотова в госорганах.

Шмаков кипел благородством невысказанных открытий. Он хотел выступить перед Бормотовым и прочими на свою сокровенную тему «Советизация как начало гармонизации вселенной». Именно так он хотел переименовать свои «Записки государственного человека».

Градов еще не спал, потому что шел восьмой час вечера. Злились от скуки собаки на каждом дворе. Замечательно – потому что он был один горел вдалеке электрический фонарь. Небо было так низко, тьма так густа, а го-

род столь тих, невелик и явно благонравен, – что почти не имелось никакой природы на первый взгляд, да и нужды в ней не было.

Проходя мимо пожарной каланчи, Шмаков слышал, как вздыхал наверху одинокий пожарный, томясь созерцанием.

«А все-таки он не спит, – с удовольствием гражданина подумал Иван Федотыч, – значит, долг есть! Хотя пожаров тут быть не может: все люди осторожны и порядочны!»

На вечер, в условный дом вдовы Жамовой, сдавшей помещение за два рубля, Шмаков пришел первым. Вдова его встретила без приветливости, как будто Шмаков был самый голодный и пришел захватить еду.

Иван Федотыч сел и затих. Отношений к людям, кроме служебных, он не знал. Если бы он женился, его жена стала бы несчастным человеком. Но Шмаков уклонялся от брака и не усложнял историю потомством. Шмаков не чувствовал в женщинах никакой прелести, как настоящий мыслитель, в котором циркулирует голый долг. Воли в себе он не знал, ощущая лишь повиновение радостное, как сладострастие; он любил служебное дело настолько, что дорожил даже крошками неизвестного происхождения, затерянными в ящиках своего письменного стола, как неким царством покорности и тщетности.

Вторым явился Степан Ермилович Бормотов. Он держался не как именинник, а как распорядитель.

– Марфуша, – обратился он к Жамовой, – ты бы половичок в передней постелила! Ноги могут быть нечисты, калоши людям не по бюджету, а у тебя все-таки горница, а не кабак!

– Сейчас, Степан Ермилыч, сейчас постелю! А вы

проходите – я вам престольное место приготовила. Выше вас чина ведь не будет?

– Да не должно быть, Марфа Егоровна, не должно! – И Степан Ермилович сел в лучшее кресло старинного устройства.

Чуя, что Степан Ермилович уже на месте, быстро стали подходить другие гости.

Пришли четыре деловода, три счетовода, два заведующих личными столами, два бухгалтера, три заведующих подотделами, машинистка Соня и заведующий местной черепичной мастерской – старинный приятель Бормотова по земской службе – гражданин Родных. Этими людьми мир Бормотова замкнулся в своих горизонтах и плановых перспективах, и началось чаепитие.

Чай пили молча и с удовольствием, разогревая им настроение. Марфа Жамова стояла за спиной Бормотова и меняла ему пустые стаканы, сластя чай желтым экономическим песком, купленным в кооперативе как брак.

Степан Ермилович Бормотов сидел с сознанием чести. Почтительный разговор не выходил из круга служебных тем. Поминались лихие случаи задержки распоряжений губисполкома – и в голове говорившего чувствовался страх и скрытая радость избавления от ответственности.

Выплыло событие об исчезновении Градовской губернии. Центр вдруг перестал присылать циркуляры. Тогда Бормотов добровольно поехал дешевым поездом в Москву выяснять положение. Денег ему дали мало – не пришли из Москвы кредиты, а отпустили пышек из инвалидной пекарни и выписали удостоверение о командировке. В Москве Бормотов узнал, что Градов хотят передать в об-

ласть и в областной же город передали поэтому все градовские кредиты.

А областной город отказывался от Градова.

– Город не пролетарский, – говорят, – на черт он нам сдался!

Так и повис Градов без государственного причалу. После своего возвращения Бормотов собрал на своей квартире старожилов и хотел объявить в Градовской губернии автономную национальную республику, потому что в губернии жили пятьсот татар и штук сто евреев.

– Не республика мне была нужна, – объяснял Бормотов, – я не нацменьшой, а непрерывное государственное начало и сохранение преемственности в делопроизводстве.

Шмаков тлел возбуждением и шумел переполненным сердцем, но молчал до поры и тер свои писцовые руки.

Много еще случаев помянули присутствующие. История текла над их головами, а они сидели в родном городе, прижукнувшись, и наблюдали, усмехаясь, за тем, что течет. Усмехались они потому, что были уверены, что то, что течет, потечет-потечет и – остановится. Еще давно Бормотов сказал, что в мире не только все течет, но и все останавливается. И тогда, быть может, вновь зазвонят колокола. Бормотов, как считающий себя советским человеком, да и другие не желали, конечно, звона колоколов, но для порядка и внушения массам единого идеологического начала и колокола не плохи. А звон в государственной глуши, несомненно, хорош, хотя бы с поэтической точки зрения, ибо в хорошем государстве и поэзия лежит на предназначенном ей месте, а не поет бесполезные песни.

Незаметно чай кончился, самовар заглох. Марфа осу-

нулась и села в уголок, устав угождать. Тогда за чай заступилась русская горькая.

– Вот, граждане, – сказал счетовод Смачнев, – я откровенно скажу, что одно у меня угощенье – водка!.. Ничто меня не берет – ни музыка, ни пение, ни вера, – а водка меня берет! Значит, душа у меня такая твердая, только ядовитое вещество она одобряет... Ничего духовного я не признаю, то буржуазный обман...

Смачнев, несомненно, был пессимист и, в общем и целом, перегнул палку.

Но действительно, что только водка разморозила сознание присутствующих и дала теплую энергию их сердцам.

Первым, по положению, встал Бормотов.

– Граждане! Служил я в разных местах. Я пережил восемнадцать председателей губисполкома, двадцать шесть секретарей и двенадцать начальников земуправлений. Одних управделами ГИКа при мне сменилось десять человек! А чиновников особых поручений, – как их, личных секретарей, председателей, – целых тридцать штук прошло... Я страдалец, друзья, душа моя горька, и ничто ее не растрогает... Всю жизнь я спасал Градовскую губернию. Один председатель хотел превратить сухую территорию губернии в море, а хлебопашцев в рыбаков. Другой задумал пробить глубокую дырку в земле, чтобы оттуда жидкое золото наружу вылилось, и техника заставлял меня сыскать для такого дела. А третий все автомобили покупал, для того чтобы подходящую систему для губернии навеки установить. Видали, что значит служба? И я должен всему благожелательно улыбаться, терзая свой здравый смысл, а

также истребляя порядок, установленный существом дела! И более того – ремесленная управа, то есть губпрофсовет, однажды исключила меня из союза рабземлеса за то, что я назвал членские взносы налогом в пользу служащих профессиональных союзов. Но, однако, членом союза я остался – иначе и быть не могло! Ремесленной управе невыгодно лишаться плательщика налога, а об остальном постаралось мое начальство – без меня ему бы делать нечего было!

Бормотов хлебнул пивца для голоса, оглядел подведомственное собрание и спросил:

– А? Не слышу?

Собрание молчало, истребляя корм.

– Ваня! – обратился Бормотов к человеку, мешавшему пиво с водкой. – Ваня! Закрой, дружок, форточку! Время еще раннее, всякий народ мимо шляется... Так вот, я и говорю, что такое губком? А я вам скажу: секретарь – это архиерей, а губком – епархия! Верно ведь? И епархия мудрая и серьезная, потому что религия пошла новая и посерьезней православной. Теперь на собрание – ко всенощной – попробуй не сходи! Давайте, скажут, ваш билетик, мы отметочку там сделаем! Отметочки четыре будет, тебя в язычники зачислят. А язычник у нас хлеба не найдет! Так-то! А я про себя скажу: кто в епархии делопроизводство поставил? Я! Кто контрольную палату – РКИ, скажем, или казначейство – губфо наше – на ноги поставил и людей там делом занял? Кто? А кто всякие карточки, НОТы и прочую антисанитарию истребил в канцеляриях? Ну, кто?..

– Без Бормотова, друзья, – сказал Степан Ермилович со слезами на глазах, – не было бы в Градове учреждений и

канцелярий, не уцелела бы советская власть и не сохранилось бы деловой родственности от старого времени, без чего нельзя нам жить! Я первый, кто сел за стол и взял казенную вставочку, не сказав ни одной речи.

Бормотов умиленно подождал и закончил веско:

– Вот, милые мои, где держится центр власти и милость разума! Мне бы царем быть на всемирной территории, а не заведовать охраной материнства и младенчества своих машинисток или опекать лень деловодов!..

Тут Бормотов захлестнулся своими словами и сел, уставившись в пищу на столе. Собрание шумело одобрением и питалось колбасой, сдерживая ею стихию благородных чувств. Водка расходовалась медленно и планомерно, в круговую и в общем порядке, оттого и настроение участников ползло вверх не скачками, а прочно, по гармонической кривой, как на диаграмме.

Наконец встал счетовод Пехов и спел, поверх разговоров, песнь о диком кургане. Счетоводство – нация артистов, и нет ни одного счетовода или бухгалтера, который бы не смотрел на свою профессию как на временное и бросовое дело, почитая своим исконным призванием искусство – пение, а изредка – скрипку или гитару. Менее благородный инструмент счетоводы не терпели.

За Пеховым, так же молча и без предупреждения, встал бухгалтер Десущий и пропел какой-то отрывок из какой-то оперы, какой – никто не понял. Десущий славился своей корректностью и культурностью в областях искусства и полным запустением своих бухгалтерских дел.

Наконец, приподнялся и постучал вилкой о необходимости молчания заведующий подотделом землеустройства Рванников.

– Любимые братья в революции! – начал раздобревший от горькой Рванников. – Что привело вас сюда, не щадя ночи? Что собрало нас, не сожалея симпатий? Он – Степан Ермилович Бормотов – слава и административный мозг нашего учреждения, революционный наставник порядка и государственности великой неземлеустроенной территории нашей губернии!

И пусть он не кивает там мудрой головой, а пьет рябиновую златыми устами, если я скажу, что нет ему равных среди людского остальца после революции! Вот действительно человек дореволюционного качества!

Граждане советские служащие! – проревел в заключение Рванников. – Приглашаю вас выпить за двадцатипятилетие Степана Ермиловича Бормотова, истинного зиждителя территории нашей губернии, еще подлежащей быть устроенной такими людьми, как наш славный и премудрый юбиляр!..

Все вскочили с места и пошли с рюмками к Бормотову.

Плача и торжествуя, Бормотов всех перецеловал – этого момента он только и ждал весь вечер, сладко томя честолюбие.

Тогда не выдержал Шмаков и, встав на стул, произнес животрепещущую речь – длинную цитату из своих «Записок государственного человека»:

– Граждане! Разрешите поговорить на злобу дня!

– Разрешаем! – сказало коллективно собрание. – Говори, Шмаков! Только режь экономию: кратко и не голословно, а по кровному существу!

– Граждане, – обнаглел Шмаков, – сейчас идет так называемая война с бюрократами. А кто такой Степан

Ермилович Бормотов? Бюрократ или нет? Бюрократ положительно! И да будет то ему в честь, а не в хулу или осуждение! Без бюрократии, уважаемые ратники государства, не удержаться бы Советскому государству и часа – к этому я дошел долгою мыслью... Кроме того... (Шмаков начал путаться, голова его сразу вся выпотрошилась – куда что девалось?) Кроме того, дорогие соратники...

– Мы не ратники, – прогудел кто-то, – мы рыцари!

– Рыцари умственного поля! – схватил лозунг Шмаков. – Я вам сейчас открою тайну нашего века!

– Ну-ну! – одобрило собрание. – Открой его, черта!

– А вот сейчас, – обрадовался Шмаков. – Кто мы такие? Мы за-ме-сти-те-ли пролетариев! Стало быть, к примеру, я есть заместитель революционера и хозяина! Чувствуете мудрость? Все замещено! Все стало подложным! Все не настоящее, а суррогат! Были сливки, а стал маргарин: вкусен, а не питателен! Чувствуете, граждане?.. Поэтому-то так называемый, всеми злоумышленниками и глупцами поносимый бюрократ есть как раз зодчий грядущего членораздельного социалистического мира.

Шмаков сел и достойно выпил пива – среднего непорочного напитка; высшей крепости он не пил.

Но тут встал Обрубаев... Его заело; он озлобился и приготовился быть на посту. Пост его был видный – кандидат ВКП; но такое состояние Обрубаева службе не помогало, он был и остался делопроизводителем с окладом в двадцать восемь рублей ежемесячно, по шестому разряду тарифной сетки при соотношении 1:8.

– Уважаемые товарищи и сослуживцы! – сказал Обрубаев, доев что-то. – Я не понимаю ни товарища Бормотова,

ни товарища Шмакова! Каким образом это допустимо! Налицо определенная директива ЦКК – борьба с бюрократизмом. Налицо – наименования советских учреждений девятилетней давности. А тут говорят, что бюрократ – как его? – зодчий и вроде кормилец. Тут говорят, что губком – епархия, что губпрофсовет – ремесленная управа и так далее. Что это такое? Это перегиб палки, констатирую я. Это затмение основной директивы по линии партии, данной всерьез и надолго. И вообще в целом я высказываю свое особое мнение по затронутым предыдущими ораторами вопросам, а также осуждаю товарищей Шмакова и Бормотова. Я кончил.

– Закон-с, товарищ Обрубаев! – сказал тихо, вразумляюще, но сочувственно Бормотов. – Закон-с! Уничтожьте бюрократизм – станет беззаконие! Бюрократизм есть исполнение предписаний закона. Ничего не поделаешь, товарищ Обрубаев, закон-с!

– А если я губкому сообщу, товарищ Бормотов, или в РКИ? – мрачно сказал Обрубаев, закуривая для демонстрации папиросу «Пушку».

– А где у вас документики, товарищ Обрубаев? – спросил Бормотов. – Разве кто вел протокол настоящего собрания? Вы ведь, Соня, ничего не записывали? – обратился Бормотов к единственной здесь машинистке, особо чтимой в земуправлении.

– Нет, Степан Ермилыч, – я не записывала; вы ничего не сказали мне, а то бы я записала, – ответила хмельная, блаженная Соня.

– Вот-с, товарищ Обрубаев, – мудро и спокойно улыбнулся Бормотов. – Нет документа, и нет, стало быть, самого

факта! А вы говорите – борьба с бюрократизмом! А был бы протокольчик, вы бы нас укатали в какую-нибудь гепею или рекаю! Закон-с, товарищ Обрубаев, закон-с!

– А живые свидетели! – воскликнул зачумленный Обрубаев.

– Свидетели пьяные, товарищ Обрубаев. Во-первых, а во-вторых, они, так сказать, масса, существа наших разногласий не поняли и понять не могли, и дело мое наверняка пойдет к прекращению. А в-третьих, товарищ Обрубаев, выносит ли дисциплинированный партиец внутрипартийные разногласия на обсуждение широкой массы, к тому же мелкобуржуазной, попытаю я вас? А?! Выпьем, товарищ Обрубаев, там видно будет... Соня, ты не спишь там? Угощай товарища Обрубаева, займись чистописанием... Десущий, крякни что-нибудь подушевней.

Десущий сладко запел, круто выводя густые ноты странной песни, в которой говорилось о страдальце, жаждущем только арфы золотой. Затем делопроизводитель Мышаев взял балалайку: я, говорит, хоть и кустарь в искусстве, но побрякаю! И он быстро залепетал пальцами, выбивая лихой такт веселящегося тела.

Бормотов прикинулся благодушным человеком, сощурил противоречивые утомленные глаза и, истощенный повседневной дипломатической работой, вдарился бессмысленно плясать, насилуя свои мученические ноги и веселя равнодушное сердце.

Шмакову стало жаль его, жаль тружеников на ниве всемирной государственности, и он заплакал навзрыд, уткнувшись во что-то соленое.

А утром Градов горел; сгорели пять домов и одна пекарня. Загорелось, как говорят, с пекарни, но пекарь уверял, что он окурки всегда бросает в тесто, а не на пол, тесто же не горит, а шипит и гасит огонь. Жители поверили, и пекарь остался печь хлебы.

Далее жизнь шла в общем порядке и согласно постановлениям Градовского губисполкома, которые испуганно изучались гражданами. В отрывных календарях граждане метили свои беспрерывные обязанности. Со сладостью в душе установил это Шмаков в бытность на именинах у одного столоначальника, по прозвищу Чалый. В листках календаря значилось что-нибудь почти ежедневно, а именно:

«Явиться на переучет в терокруг – моя буква Ч, подать на службе рапорт о неявке по законной причине».

«В 7 часов перевыборы горсовета – кандидат Махин, выдвинут ячейкой, голосовать единогласно».

«Сходить в ком. отд. – отнести деньги за воду, последний срок, а то пеня»...

«Подать сведения горсанкомиссии о состоянии двора, – штраф, см. постановление ГИК».

«Собрание жилтоварищества о забронировании сарая под нужник».

«Протестовать против Чемберлена, – в случае чего стать, как один, под ружье».

«Зайти вечером постоять в красном уголке, а то сочтут отступником».

«Именины супруги сочетать с режимом экономии и

производственным эффектом. Пригласить наш малый совнарком».

«Узнать у Марфы Ильиничны, как варить малиновый узвар».

«Справиться в загсе, как переменить прозвище Чалый на официальную фамилию Благовещенский, а также имя Фрол на Теодор».

«Переморить клопов и проверить лицевой счет жены».

«Суббота – открыто заявить столоначальнику, что иду ко всенощной, в бога не верю, а хожу из-за хора, а была бы у нас приличная опера, ни за что не пошел бы».

«Попросить у сослуживцев лампадного масла. Нигде нет, и все вышло. Будто для смазки будильника».

«Отложить 566-ю бутылку для вишневой настойки. Этот год високосный».

«Сушить сухари впрок – весной будет с кем-то война».

«Не забыть составить 25-летний перспективный план народного хозяйства – осталось 2 дня». Каждый день был занят.

Не в первый раз и не во второй, а в более многократный констатировал Шмаков то знаменательное явление, что времени у человека для так называемой личной жизни не остается – она заменилась государственной и общеполезной деятельностью. Государство стало душою. А то и надобно, в том и сокрыто благородство и величие нашей переходной эпохи!

– А как, товарищ Чалый, существует в вашей губернии точный план строительства?

– Как же-с, как же-с! В десятилетний план сто элеваторов включено: по десяти в год будем строить, затем-с

двадцать штук мясохладобоен и пятнадцать фабрик валяной обуви... А сверх того водяной канал в земле до Каспийского моря рыть будем, чтобы персидским купцам повадно стало торговать с градовскими госорганами.

– Вон оно как! – дал заключение Шмаков. – Курс значительный! Ну, а денег сколько же вам потребно на эти солидные мероприятия?

– Денег надо множество, – сообщил Чалый второстепенным тоном. – Того не менее, как миллиарда три, сиречь – по триста миллионов в год.

– Ого, – сказал Шмаков, – сумма почтительная! А кто же даст вам эти деньги?

– Главное – план! – ответил Чалый. – А уж по плану деньги дадут...

– Это верно! – согласился Шмаков.

Вопрос получил надлежащее уточнение.

6

И жил Шмаков в Градове уже без малого год. Жизнь для него выдалась подходящая: все шло в общем порядке и по закону.

Лицо его было беззаботным, пожилым и равнодушным, как у актера в забвенной игре. Труд его жизни – «Записки государственного человека» подбивался к концу. Шмаков обдумывал лишь заключительные аккорды его.

Как и всюду по республике, над Градовом ночью солнце не светило, зато отсвечивало на чужих звездах.

Прогуливаясь для укрепления здоровья и поглядывая на них, Шмаков нашел однажды заключительный аккорд для своего труда:

«В сердце моем дышит орел, а в голове сияет звезда гармонии».

Придя домой и завершив рукописный труд, Шмаков до раннего утра сидел за ним, увлекшись чтением своего сочинения.

«...Стоит ли, – читал он середину, – измышлять изобретения, раз мир диалектичен, сиречь для всякого героя есть своя стерва. Не стоит!

И тому пример: в Градове пять лет тому назад, и двадцать лет обратно, было всего две пишущие машинки (обе системы «Ройяль», то есть король), а теперь их близко сорока штук, не обращая внимания на системы.

Но увеличился ли от этого социальный прок? – Нисколько! А именно: сидели ранее писцы за бумагой, снабженные гусиными перьями, и писали. Затупится перо или засквозится от переусердия, писец его начинает зачинивать; сам зачинивает, а сам на часы смотрит, – глядь, время уже истекло, и пора идти в собственный деревянный домик, где его ждала как-никак пища и уют порядка, высшим образом обеспеченный государственным строем.

И ничего не нарушалось от течения дел рукописным порядком. Ничто не спешило, а все поспевало.

А теперь что? Барышне попудриться не успеть, как втыкают ей новое черновое произведение...

Да и то видно, как появляется человек, так и бумага около него заводится, и не малая грудка. А что, если лишнего человека не заводить! Может, и бумаге завестись будет неоткуда?..»

Тут Иван Федотыч вздохнул и задумался.

Не пора ли ему отправиться в глухой скит, чтобы

дальше не скорбеть над болящим миром? Но так будет бессовестно.

Хотя оправданием такого поступка может послужить то, что мир официально никем не учрежден и, стало быть, юридически не существует. А если бы и был учрежден и имел устав и удостоверение, то и этим документам верить нельзя, так как они выдаются на основании заявления, а заявление подписывается «подателем сего», а какая может быть вера последнему? Кто удостоверит самого «подателя», прежде чем он подаст заявление о себе?

Почувствовав изжогу в желудке и отчаяние в сердце, Иван Федотыч сходил на кухню попить водицы и посмотреть, кто там пищит все время.

Возвратившись, он снова принялся за чтение, трепеща всеми чувствами.

«...Возьмем соподчиненный мне подотдел. Что там есть?

Я за ошибки подчиненных не упрекаю, а лишь вывожу из них следствие, что, значит, дело идет. А когда мне заявили, что построенные под моим руководством водоудержательные плотины почти все вровень с землей уничтожены, я ответил, что постройка их, следовательно, велась.

А никакая земля воды не держит, тому доказательство – явление оврагов...»

После этого Шмаков успокоился и уснул с легким сердцем и удовлетворенным умом.

Но известно ли что-нибудь достоверно на свете? Оформлены ли надлежащие все факты природы? Того документально нет! Не есть ли сам закон или другое при-

сутственное установление – нарушение живого тела вселенной, трепещущей в своих противоречиях и так достигающей всецелой гармонии?

Эта преступная мысль, собственно, разбудила Ивана Федотовича.

Оказалось, что стояло раннее счастливое утро. В Градове топились печки, разогревая вчерашний ужин на завтрак. Хозяйки шли за теплым хлебом для мужей, резаки в пекарнях его резали и метрически взвешивали, мудря на граммах: никто из них не верил, что грамм лучше фунта, знали только, что он легче.

Кроме того, чувствовалось счастье, что новый день уподобится вчерашнему и оттого терзаний жизни не причинит.

7

Сапожник Захар, сосед Ивана Федотыча по двору, каждый день будился от сна женою одинаковыми словами:

– Захарий! Вставай, садись за свой престол!

Престол – круглый пенек, на котором сидел Захар перед верстаком. Пенек на треть стерся от сидения, и Захар много раз думал о том, что человек прочней дерева. Так оно и было.

Захарий вставал, закуривал трубку и говорил:

– Я в мире человек сверхштатный! Не живу, а присутствую, и учета мне нет... На собранья я не хожу и ничего не член!

– Ну, будя, будя тебе, Захарий, – говорила ему жена. – Будя бурчать, садись чай пить. Член! Обдумал тоже, член!

После чая Захар садился за работу, которой не вынес бы ни один зверь: столько она требовала мужества и терпения.

Шмаков постоянно латал свои сапоги у Захара, которым тот много удивлялся:

– Иван Федотыч, вашей обуже восьмой год идет, и как вы ее терпите? Когда их на фабрике сшили, с тех пор дети выросли и грамоте выучились, а многие померли из них, а сапоги все живут... Кустарник лесом стал, революция прошла, может, и звезды какие потухли, а сапоги все живут... Это непостижимо!..

Иван Федотыч ему отвечал:

– В этом и есть порядок, Захарий Палыч! Жизнь бесчинствует, а сапоги целы! В этом и находится чудо бережного разума человека.

– А по мне, – говорит Захар, – бесчинство благородней! А то на сапожном престоле так и будешь сидеть, как и я!

Иван Федотыч убеждал Захария Палыча не глядеть на жизнь такими чувствительными глазами и не скорбеть влекущей мыслью. На свете того не бывает, чем бы утешилось беспутное сердце человека. А что такое утешение, как не мещанство, опороченное Октябрьской революцией?

– Порядок – дело чинное, – говорил Захар. – Да уж дюже землю назлили, Иван Федотыч! В порядок ее теперь добром не приведешь, – опустошать надо, не иначе!

По уходе Ивана Федотыча Захар Палыч втайне думал, что постная жизнь все же лучше благородного бесчинства, и удовлетворительно глядел на свой порожний двор, ландшафт которого – плетень, а житель – курица.

Через три месяца для всего государственного населения Градова настали боевые дни. Центр решил четыре губернии, как раз и Градовскую, слить в одну область.

И заспорили четыре губернских города, кому приличествует быть областным.

Особенно лютовал в этом деле Градов.

Он имел четыре тысячи советских служащих, да безработных имелось две тысячи восемьсот тридцать семь человек; только область могла поглотить этот писчий народ.

Бормотов, Шмаков, управделами ГИКа Скобкин, зампредгубплана Наших и другие заметные люди Градова стали во главе бумажной войны с другими городами перед лицом Москвы.

Градовцы спешно приступили к рытью канала, начав его в лопухах слободы Моршевки из усадьбы гражданина Моева.

Канал тот учреждался для сплошного прохода в Градов персидских, месопотамских и иных коммерческих кораблей.

О канале губплан написал три тома и послал их в центр, чтобы там знали про это. Градовский инженер Паршин составил проект воздушных сообщений внутри будущей области, предусмотрев необходимость воздушной перевозки не только багажа, но и объемистых кормов для скота; для последней цели в мастерских райсельсоюза строился аэроплан сугубой мощности, с двигателем, работающим на порохе.

Сам предгубисполкома тов. Сысоев рвал, метал и внушал подчиненной ему губернии, что только Градов будет областным центром – и никакой иной населенный пункт.

Тов. Сысоев распорядился заказать штампы и вывески с наименованиями Градовского облисполкома и отдал приказ называть себя впредь предоблисполкома.

Когда никто из служащих не сбивался с области на губернию в отношениях и устных словах, тов. Сысоев повышался в добром чувстве и говорил кому попало, кто оказывался на глазах:

– Область у нас, братец! А? Почти республика! А Градов-то – почти столица европейского веса! А что такое губерния? Контрреволюционная царская ячейка, и больше ничего!

Началась беспримерная война служащих. Соседние города – претенденты на областной престол – не отставали от градовцев в должном усердии.

Но Градов истреблял всех перед молчаливой Москвой. Иван Федотыч Шмаков написал на четырехстах страницах среднего формата проект администрирования проектируемой Градо-Черноземной области; за соответствующими подписями он был отослан в центр.

Бормотов Степан Ермилович подошел к делу исподволь. Он предложил учредить такой облисполком, чтобы он собирался на сессии по очереди во всех бывших губгородах и нигде не имел постоянного местопребывания и вечного здания.

Но тут была уловка: Москва на это, конечно, не согласится, но спросит, кто это изобрел. И когда станет из-

вестным, что это измышление принадлежит гражданину города Градова, Москва улыбнется, но учтет, что в Градове живут умные люди, подходящие для руководства областью.

Так раз доказал свою мысль Бормотов товарищу Сысоеву, председателю ГИК. Тот подумал и сказал:

– Да, это орудие высшего психологического увещания, но теперь нам всякое дерьмо гоже! – и подписал доклад Бормотова для следования его в Москву.

Много дел наделали градовцы, доказывая свое явное превосходство перед соседями.

Шмаков извелся и застрадал общей болью в теле, с ужасом думая о поражении Градова, но тихо заходя сердцем при мысли о Градове – областном центре.

Большую книгу стоит написать, излагая борьбу пяти губгородов. Букв в ней было бы столько, сколько лопухов в Градовской губернии[2].

Сапожник Захарий Палыч умер, не дождавшись области; сам Шмаков поник на уклоне к пожилому возрасту.

Бормотов же был уволен старшим инспектором Наркомата РКИ за волокиту и чах дома, заведя частную канцелярию по выработке форм учета деятельности госорганов; в этой канцелярии он служил один, и притом без жалованья и без охраны труда.

Наконец, через три года после начала областной войны, пришло постановление Москвы:

---

[2] Но можно ее и не писать, так как градовцам читать ее некогда, а прочим – неинтересно.

«Организовать Верхне-Донскую земледельческую область в составе территорий таких-то губерний. Областным городом считать Ворожеев. Окружными центрами учредить такие-то пункты. Градов-город, как не имеющий никакого промышленного значения, с населением, занятым преимущественно сельским хозяйством и службою в учреждениях, перечислить в заштатные города, учредив в нем сельсовет, переместив таковой из села Малые Вершины».

Что же случилось потом в Градове? Ничего особенного не вышло, только дураки в расход пошли. Шмаков через год умер от истощения на большом социально-философском труде: «Принципы обезличения человека, с целью перерождения его в абсолютного гражданина с законно упорядоченными поступками на каждый миг бытия». Перед смертью он служил в сельсовете уполномоченным по грунтовым дорогам. Бормотов и жив и каждый день нарочно гуляет перед домом, где раньше помещался губисполком. Теперь на том доме висит вывеска «Градовский сельсовет».

Но Бормотов не верит глазам своим – тем самым глазам, которые некогда были носителями неуклонного государственного взора.

ДЖАН[3]

Фантастическая повесть

1

Во двор Московского экономического института вышел молодой нерусский человек Назар Чагатаев. Он с удивлением осмотрелся кругом и опомнился от минувшего долгого времени. Здесь, по этому двору, он ходил несколько лет, и здесь прошла его юность, но он не жалеет о ней – он взошел теперь высоко, на гору своего ума, откуда виднее весь этот летний мир, нагретый вечерним отшумевшим солнцем.

По двору росла случайная трава, в углу стоял рундук для мусора, затем находился ветхий деревянный сарай, и около него жила одинокая старая яблоня без всякого участья человека. Вскоре после этого дерева лежал самородный камень весом пудов, наверно, в сто, – неизвестно откуда, и еще далее впилось в землю железное колесо от локомобиля девятнадцатого века.

Двор был пуст. Молодой человек сел на порог сарая и сосредоточился. Он получил в канцелярии института справку о защите дипломной работы, а самый диплом ему вышлют после по почте. Больше он сюда не вернется. Он втайне прощался со всеми здешними, мертвыми предметами. Когда-нибудь они тоже станут живыми – сами по себе или посредством человека. Он обошел все ненужные дворовые вещи и потрогал их рукою; он хотел почему-то,

---

[3] Джан - душа, которая ищет счастье (туркменское народное поверье).

чтобы предметы запомнили его и полюбили. Но сам в это не верил. По детскому воспоминанию он знал, что после долгой разлуки странно и грустно видеть знакомое место: ты с ним еще связан сердцем, а неподвижные предметы тебя уже забыли и не узнают, точно они прожили без тебя деятельную, счастливую жизнь, а ты был им чужой, одинок в своем чувстве и теперь стоишь перед ними жалким неизвестным существом.

За сараем рос старый сад. Там сейчас ставили столы, проводили временный свет и делали разное убранство. Директор института назначал сегодня вечернее торжество для второго выпуска советских экономистов и инженеров. Со двора своего училища Назар Чагатаев пошел в общежитие, чтобы отдохнуть и переодеться для вечера. Он лег на свою кровать и нечаянно уснул – с тем ощущением внезапного телесного счастья, которое бывает лишь в молодости.

Позже, во время темного вечера, Чагатаев снова пришел в сад экономического института. Он надел свой хороший серый костюм, сбереженный в долгие студенческие годы, и побрился перед ручным девичьим зеркалом. Все его имущество лежало под подушкой и в тумбочке около кровати. Чагатаев, уходя на вечер, с сожалением поглядел во внутреннюю тьму своего шкафа; скоро он забудет его, и запах одежды и тела Чагатаева навсегда исчезнет из этого деревянного ящика.

В общежитии жили студенты других вузов, поэтому Чагатаев отправился один. В саду играл оркестр, приглашенный из кинотеатра, столы были составлены в одну длинную очередь, и над ними горели прожекторные лампы,

подвешенные электриками на времянках между деревьями. Пустая летняя ночь стояла над головами собравшихся на свое торжество, на свое последнее свидание, и вся прелесть той ночи была в открытом и теплом пространстве, в тишине неба и растений.

Музыка играла. Молодые люди сидели за столами, готовые разойтись отсюда по окружающей земле, чтобы устроить себе там счастье. Скрипка музыканта иногда замирала, как удаленный, слабеющий голос.

Чагатаеву казалось, что это плачет человек за горизонтом, – может быть, в той, никому не знакомой стране, где он когда-то родился, где теперь живет или умерла его мать.

– Гюльчатай! – сказал он вслух.

– Что такое? – спросила его соседка, технолог.

– Ничего не значит, – объяснил Чагатаев. – Гюльчатай – моя мать, горный цветок. Людей называют, когда они маленькие и похожи на все хорошее…

Скрипка играла снова, ее голос не только жаловался, но и звал – уйти и не вернуться, потому что музыка всегда играет ради победы, даже когда она печальная.

Вскоре начались танцы, игры, обычное торжество молодости. Чагатаев глядел на людей и в ночную природу; ему еще долго предстояло здесь находиться, может быть вечно, бороться с мученьем, работать и быть счастливым.

Против Чагатаева сидела неизвестная ему юная женщина, с глазами, блестевшими черным светом, в синем платье, надетом высоко, до подбородка, как на старухе, что ей придавало неудобный и милый вид. Она не танцевала, стесняясь или не умея, и с увлечением глядела на Чагата-

ева. Ей нравилось его смуглое лицо с узкими чистыми глазами, направленными на нее в упор с добром и угрюмостью, его широкая грудь, скрывающая сердце с тайными чувствами, и мягкий, немощный рот, способный плакать и смеяться. Она не скрывала своей симпатии и улыбнулась Чагатаеву; он ей ничем не ответил. Общее веселье все более увеличивалось. Студенты – экономисты, плановики и инженеры – брали со столов цветы, рвали траву в саду и делали из них своим подругам подарки или прямо посыпали им растения на их густые волосы. Затем появилось конфетти, и оно тоже пошло в дело удовольствия. Женщина, сидевшая против Чагатаева, исчезла – она танцевала теперь на садовой тропинке, обсыпанная разноцветными бумажками, и была довольна.

Другие женщины, оставшиеся за столом, тоже были счастливы от внимания своих друзей, от окружавшей их природы и от предчувствия своего будущего, равного по долготе и надеждам бессмертию. Лишь одна между ними была без цветов и конфетти на голове; к ней никто не склонялся с шутливыми словами; и она жалко улыбалась, чтобы показать, что принимает участие в общем празднике и ей здесь приятно и весело. Глаза же ее были грустны и терпеливы, как у большого [рабочего животного][4]. Иногда она чутко глядела по сторонам и, убедившись, что никому не нужна, быстро собирала со стульев соседей упавшие цветы и красочные бумажки и прятала их незаметно. Чагатаев изредка видел ее действия, но понять не мог; ему уже стало скучно от долгого одинакового торжества, и он

[4] Здесь и далее в скобках отмечены места, где правка автором не завершена.

собирался уйти отсюда. Женщина, собиравшая цветы, павшие с других людей, тоже ушла куда-то – время вечера вышло, звезды стали большими, начиналась ночь. Чагатаев встал с места и поклонился ближним товарищам – он не скоро с ними увидится.

Чагатаев пошел мимо деревьев и заметил ту женщину с [лошадиным] лицом, спрятавшуюся в тени; она его не видела, она сейчас накладывала себе на волосы цветы и ленты, потом она вышла из-за деревьев опять к освещенному столу. Чагатаев сейчас же возвратился туда: он хотел немедленно опрокинуть столы, повалить деревья и прекратить это наслаждение, над которым капают жалкие слезы, но женщина была теперь счастливая, смеющаяся, с розой в темных волосах, хотя глаза ее были заплаканы. Чагатаев остался в саду; он подошел к ней и познакомился; она оказалась студенткой-дипломницей химического института. Он ее пригласил танцевать, хотя сам не умел, но она танцевала отлично и вела его в такт музыке, как нужно. Глаза ее быстро высохли, лицо похорошело, и тело, привыкшее к дикой робости, теперь с доверием прижималось к нему, полное поздней девственности, пахнущее добрым теплом, как хлеб. Чагатаев забылся около нее, сон и счастье исходили от этой чужой женщины, с которой он, вероятно, не встретится более; так часто живет рядом с нами незаметное блаженство.

Свидание и веселье продолжалось до света на небе; затем сад опустел, осталась мертвая утварь, все разошлись. Чагатаев и его новая подруга Вера пошли по Москве, освещенной зарею. Чужеземец Чагатаев любил этот город, как родину, и был благодарен, что он здесь долго жил,

узнал науку и съел много хлеба без попрека. Он посмотрел на свою спутницу – ее лицо стало красивым от встающего вдалеке солнца.

Прошло время, небо стало высоким и чистым, напряженное солнце беспрерывно посылало свое добро земле – свет. Вера шла молча. Чагатаев изредка всматривался в нее и удивлялся, почему она кажется всем нехорошей, когда даже скромное молчание ее напоминает безмолвие травы, верность привычного друга. Ведь это только издали можно ненавидеть ее, отрицать или быть вообще равнодушным к человеку. Но когда Чагатаев видел теперь вблизи морщины утомления на ее щеках, выражение лица, прячущего ее желания, глаза, хранимые веками, опухшие губы – все таинственное воодушевление этой женщины, скрытое в ее живом веществе, все доброе и сильное создание ее тела, то он робел от нежности к ней и не мог бы ничего сделать против нее, и ему даже стыдно было думать о том, красива она или нет.

– Я уморилась, мы ведь не спали, – сказала Вера, – давайте прощаться.

– Ничего, – ответил Чагатаев. – Я скоро уезжаю, давайте немного побудем.

Они еще пошли вперед, миновали долгие улицы и где-то остановились.

– Здесь я живу, – указала Вера на новое большое жилище.

– Пойдемте к вам. Вы ляжете отдыхать, а я посижу около вас и потом уйду.

Вера стояла в смущении.

– Ну, хорошо, – сказала она и повела гостя.

У нее была большая комната с обычной мебелью девушки, но эта комната была какой-то грустной, занавешенной шторами, скучной и почти пустой.

Вера сняла летний плащ, и Чагатаев заметил, что она полнее, чем кажется. Затем Вера стала рыться в своих хозяйственных закоулках, чтобы покормить гостя, а Чагатаев засмотрелся на старинную двойную картину, висевшую над кроватью этой девушки. Картина изображала мечту, когда земля считалась плоской, а небо – близким. Там некий большой человек встал на землю, пробил головой отверстие в небесном куполе и высунулся до плеч по ту сторону неба, в странную бесконечность того времени, и загляделся туда. И он настолько долго глядел в неизвестное, чуждое пространство, что забыл про свое остальное тело, оставшееся ниже обычного неба. На другой половине картины изображался тот же вид, но в другом положении. Туловище человека истомилось, похудело и, наверно, умерло, а отсохшая голова скатилась на тот свет – по наружной поверхности неба, похожего на жестяной таз, – голова искателя новой бесконечности, где действительно нет конца и откуда нет возвращения на скудное, плоское место земли.

Но Чагатаеву, как больному, ничто теперь стало немило и неинтересно. С оробевшим сердцем он обнял Веру, склонившуюся близ него по своему хозяйскому делу, и прижал ее к себе с силой и осторожностью, будто желая как можно ближе приникнуть к ней, чтобы согреться и успокоиться. Вера сразу поняла его и не оттолкнула. Она выпрямилась, склонила его голову ниже своей и стала ласкать его черные жесткие волосы, а сама глядела в сторону, от-

страняя лицо, но все же слезы ее изредка падали на голову Чагатаеву и там высыхали. Вера плакала бесшумно, одними слезами, бегущими из глаз, стараясь не менять выражения лица, чтобы не всхлипывать. Чагатаев услышал ее, однако ему было все равно, что сейчас случается, и он бы не мог теперь никому помочь.

– Я ведь беременная, – сказала Вера.

– Пусть! – ответил Чагатаев, прощая ей все, храбрый в сердце, как обреченный на смерть.

– Нет! – печально говорила Вера, закрываясь концом рукава, чтобы высушить слезы и скрыть свое некрасивое лицо, о котором она помнила даже во сне. – Нет. Я ничего не могу.

Чагатаев оставил ее. Ему не нужно было обязательно утешать себя яростным наслаждением с Верой, чтобы иметь счастье. Достаточно быть с нею вблизи, держать ее руку и спросить, почему она плачет – от горя или оскорбления.

– У меня недавно умер мой муж, – сказала Вера. – А мертвого, вы знаете, как трудно забыть. И ребенок, когда родится, он не увидит отца, а одной матери ему мало будет… Ведь правда, мало?

– Мало, – согласился Чагатаев. – Теперь я буду его отцом.

Он обнял ее, и они уснули в светлое время дня, и шум строящейся Москвы, бурение недр, ссоры населения на уличном транспорте – все умолкло в их ушах; они лишь друг друга держали руками, и каждый из них слушал сквозь сон глухое, кроткое дыхание другого.

Под вечер, незадолго до окончания занятий в учре-

ждениях, они зарегистрировались в ближнем загсе. Они стояли между двумя букетами цветов; заведующий загсом поздравил их краткой речью, предложил поцеловаться в знак пожизненной верности и посоветовал иметь много детей, чтобы революционное поколение распространилось на вечные времена. Чагатаев дважды поцеловал Веру и дружески попрощался с заведующим, думая о том, что хорошо было бы, если бы и он поцеловал Веру, а не ограничился служебной необходимостью.

С тех пор Чагатаев каждый день приходил по вечерам в гости к Вере, когда она уже ждала его и радовалась его приходу. Они сразу же обнимались, причем Чагатаев обращался с Верой крайне осторожно, храня в ней ребенка от погибшего отца. Затем они шли гулять, как все люди обычно, под руку по улице, осматривали внимательно витрины, точно готовясь многое приобрести, следили за небом, где были свои происшествия, и не забывали ничего из окружающих их, беспрерывно текучих событий, как будто сердце во время любви настолько тяжело, что его надо все время развлекать пустяками, чтоб оно не чувствовало своей работы.

Но Чагатаев еще не был настоящим мужем Веры, она все время отклоняла его сожительство – с нежностью и страхом, чтобы не обидеть его и не отдаться ему. Она словно боялась погубить в страсти свое бедное утешение, которое явилось внезапно и странно; или она просто хитрила, расчетливо и разумно, желая иметь в своем муже неостывающую теплоту, чтобы самой согреваться в ней долго и надежно. Однако Чагатаев не мог вынести своего чувства к Вере на одной духовной и бесчеловечной при-

вязанности, и он вскоре заплакал над нею, когда она лежала на кровати, по виду беспомощная, но улыбающаяся и непобедимая.

Чагатаев не умел терпеть силу своей жизни, он знал ее невинность и доброту, поэтому его оскорбляла чужая недоступность, и он терял память и соображение. Еще в детстве он также топал босыми ногами в землю, обливался слезами от безутешного неистовства и грозился прохожим, когда видел еду за толстым стеклом и не мог ее немедленно съесть.

2

Лето продолжалось. От жары тлели торфяные болота вокруг Москвы, и по вечерам в воздухе стояла гарь, смешанная с теплым парующим духом удаленных колхозов и полей, точно всюду в природе готовили пищу на ужин. Чагатаев проводил с Верой последние дни: он получил назначение на работу; ему нужно было уезжать на родину, в середину азиатской пустыни, где жила или уже давно умерла его мать. Чагатаев пропал оттуда мальчиком, пятнадцать лет тому назад. Старая мать его, туркменка Гюльчатай, надела ему шапку-папаху, положила в сумку кусок старого чурека и еще добавила лепешку, испеченную из растертых корней камыша, катрана и ярмалыка, затем дала тростинку в руку, чтобы вместо старшего друга шло растение рядом, и велела идти.

– Ступай, Назар, – сказала она, не желая видеть его мертвым рядом с собой. – Если узнаешь отца своего, ты к нему не подходи. Увидишь базары и богатство, в Ку-

ня-Ургенче, в Ташаузе, Хиве – ты туда не иди, ступай мимо всех, иди далеко к чужим. Пусть отец твой будет незнакомым человеком.

Маленький Назар не хотел уходить от матери. Он ей говорил, что привык умирать и больше не боится, что он мало будет есть. Но мать прогоняла его.

– Нет, – говорила она. – Я уже так слаба, что любить тебя не могу, живи теперь один. Я забуду тебя.

Назар заплакал около матери. Он обнял одну ее худую холодную ногу и долго стоял, впившись в ослабевшее привычное тело; небольшое сердце его стало тогда больным, оно сразу вдруг утомилось и билось тяжело, как намокшее. Мальчик сел в пыль земли и сказал матери:

– Я тоже тебя забуду, я тоже тебя не люблю. Вы маленького человека кормить не можете, а когда умрете, то никого у вас не будет.

Он лег лицом вниз и заснул в сырости слез и своего дыхания. Проснулся Назар в пустом месте. Мать ушла, с пустыни шел ничтожный чужой ветер – без всякого запаха и без живого звука. Некоторое время мальчик сидел смирно, он ел материнский чурек, оглядывался и думал ту мысль, которую теперь с возрастом забыл. Перед ним была земля, где он родился и захотел жить. Та детская страна находилась в черной тени, где кончается пустыня; там пустыня опускает свою землю в глубокую впадину, будто готовя себе погребение, и плоские горы, изглоданные сухим ветром, загораживают то низкое место от небесного света, покрывая родину Чагатаева тьмою и тишиной. Лишь поздний свет доходит туда и освещает грустным сумраком редкие травы на бледной засоленной земле, будто на ней высохли слезы, но горе ее не прошло.

Назар стоял на краю темной земли, павшей вниз; далее начиналась песчаная пустыня, более счастливая и светлая, и среди песчаных покойных бугров даже в тихое время, в тот исчезнувший детский день, ютился мелкий ветер, бредущий и плачущий, изгнанный издалека. Мальчик прислушался к этому ветру и повел глазами за ним, чтобы увидеть его и быть с ним вдвоем, но не увидел ничего, и тогда он закричал. Ветер пропал от него, никто не отозвался. Вдалеке наступала ночь; на темную низкую землю, откуда вывела его мать, уже легла тень, и лишь курился белый дым из кибиток и землянок, где прежде жил ребенок. Назар в недоумении попробовал свои ноги и тело: есть ли он на свете, раз его никто теперь не помнит и не любит; ему нечего стало думать, будто он жил от силы и желания других близких людей, а сейчас их нет, и они прогнали его… Шершавый куст – бродяга, по-русски – перекати-поле, без ветра склонялся и перекатывался по песку, уходя отсюда мимо. Куст был пыльный, усталый, еле живой от труда своей жизни и движения; он не имел никого – ни родных, ни близких, и всегда удалялся прочь. Назар потрогал его ладонью и сказал ему: «Я пойду с тобою, одному мне скучно, – ты думай про меня что-нибудь, а я буду про тебя. А с ними я жить не хочу, они мне не велели, пускай сами умрут!» И он погрозил тростниковой палкой на родину и забывшей его матери.

Назар пошел за кустом перекати-поля и шел до самой тьмы. Во тьме он лег и уснул от слабости, трогая куст рукой, чтоб он остался с ним. Наутро он проснулся и сразу испугался, что нет с ним куста: он укатился один ночью. Назар хотел заплакать, но увидел, что куст шевелился

сейчас на верху ближнего песчаного холма, и мальчик догнал его.

Родина и мать давно скрылись – пусть их забудет его сердце, пока оно растет. В тот день бредущий куст довел Назара до овечьего пастуха, и пастух напоил мальчика и накормил, а куст его привязал к палке, чтобы он тоже отдохнул. Долгое время Назар ходил с пастухом и жил у него, пока не выпал снег, тогда хозяин отпустил пастуха по делам в Чарджуй, потому что пастух стал слепнуть, и пастух отправился с мальчиком, а в городе отдал его советской власти, как не нужного никому. Советская власть всегда собирает всех ненужных и забытых, подобно многодетной вдовице, которой ничего не сделает один лишний рот.

Теперь прошли многие годы, но ничто не было забыто, и потерянная мать была такой же любимой, и для воспоминания о ней всегда будет одинокая сила в сердце, точно детство не прекратилось. Отца своего Чагатаев никогда не знал. Русский солдат Хивинских экспедиционных войск Иван Чагатаев пропал прежде, чем родила Гюльчатай, бывшая тогда молодой женой Кочмата, от которого она уже имела двоих маленьких детей; но дети от Кочмата умерли, когда Назар был в младенчестве, о них только говорила ему мать впоследствии, что они жили когда-то. Кочмат же был беден и гораздо старше своей жены; он жил тем, что ходил на байские земли в Куня-Ургенч и в Ташауз – работать на хошарах, чтобы хоть в летнее время питать семейство хлебом. А в зимнее время он почти беспрерывно спал в землянке, вырытой у подножья Усть-Урта. Он берег свою неимущую силу, и Гюльчатай лежала с ним под одною кошмой; она тоже грелась и дремала в долгие зимы,

чтобы меньше есть, а между ними лежали их дети, когда они были живы. Изредка Гюльчатай выходила, добывала траву на пищу или шла наниматься батрачкой в Хиву… Однажды в Хиве она не нашла работы; была в то время зима, богатые пили чай и ели баранину, а бедные ждали тепла и роста растений. Гюльчатай ютилась на базаре, ела кое-что, что оставалось на земле от торговцев, но побираться стыдилась людей. На том хивинском базаре ее заметил солдат Иван Чагатаев и стал приносить ей каждый день казенную пищу в котелке. Гюльчатай ела солдатский суп с говядиной на вечернем пустом базаре, а солдат понемногу касался ее и затем обнимал. Но женщине совестно было в ответ на угощение отвергать человека: она молчала и не сопротивлялась. Она думала, чем отблагодарить русского, и не было у нее ничего, кроме того, что выросло от природы.

– Отчего у тебя слезы на глазах? – спросила Вера у Чагатаева в день его отъезда на родину.

– Я вспомнил свою мать, как она улыбалась мне, когда я был маленьким.

– Но как же?

Чагатаев затруднился.

– Не помню… Она мне радовалась и оплакивала меня, – теперь люди так не улыбаются. У ней слезы лились по счастливому лицу.

Мать говорила Назару, что муж ее, Кочмат, когда узнал, что Назар – сын русского солдата, а не его, то он не ударил ее и не сделался яростным, а только стал скучным и чуждым для всех. Он ушел отдельно вдаль и там один отдышался от своей печали; потом он вернулся и любил Гюльчатай по-прежнему.

Назар Чагатаев пошел гулять с Верой в последний раз. Вечером его поезд уйдет в Азию. Вера уже собрала его в дальнюю дорогу: заштопала чулки, пришила нужные пуговицы, сама выгладила белье и несколько раз перепробовала и проверила все вещи, лаская их и завидуя им, что они поедут вместе с ее мужем.

На улице Вера попросила Чагатаева зайти с нею к знакомым. Может быть, через полчаса он навсегда перестанет любить ее.

Они вошли в большую квартиру. Вера познакомила мужа с пожилой женщиной и спросила:

– Что Ксеня – дома или еще где-нибудь?

– Дома, дома, она только что пришла, – сказала хозяйка.

В просторной неубранной комнате сидела черноволосая девочка лет тринадцати или пятнадцати. Она читала книжку и вертела конец своей косы в руке.

– Мама! – И девочка обрадовалась пришедшей матери.

– Здравствуй, Ксеня! – сказала Вера. – Это моя дочь, – познакомила она девочку с Чагатаевым.

Чагатаев пожал странную руку, детскую и женскую; рука была липкая и нечистая, потому что дети не сразу приучаются к чистоте.

Ксеня улыбалась. Она не походила на мать – у нее было правильное лицо юноши, немного грустное от стыда и непривычки жить и бледное от усталости роста. Глаза ее имели разный цвет – один черный, другой голубой, что придавало всему выражению лица кроткое, беспомощное значение, точно Чагатаев видел жалкое и нежное уродство. Лишь рот портил Ксеню – он уже разрастался, губы полнели, словно постоянно жаждали пить, и было похоже, что

сквозь невинное безмолвие кожи пробивалось наружу сильное разрушительное растение.

Все молчали от неопределенного положения, хотя Ксеня уже догадывалась про все.

– Вы здесь живете? – спросил пустяковое дело Чагатаев.

– Да, у матери моего папы, – сказала Ксеня.

– А где папа, он умер?

Вера была в стороне, она глядела в окно, на Москву.

Ксеня засмеялась.

– Нет, что вы! Мой папа молодой, он живет на Дальнем Востоке и строит мосты. Два уже построил!

– Большие мосты? – спросил Чагатаев.

– Большие: один висячий, другой с двумя опорными быками и потерянными кессонами. Они скрылись навсегда, они потерялись! – радостно сказала Ксеня. – У меня фотографии из газеты есть!

– Папа вас любит?

– Нет, он любит незнакомых, он нас с мамой любить не хочет.

Они говорили еще, в сердце Чагатаева было неясное сожаление – он сидел с легким, грустным чувством, как во сне и путешествии. Забывая обыкновенную жизнь, он взял руку Ксени к себе и стал держать ее, не разлучаясь.

Ксеня сидела со страхом и удивлением, разноцветные глаза ее смотрели мучительно, как двое близких и незнакомых между собой людей. Ее мать, Вера, стояла в отдалении, молча улыбаясь дочери и мужу.

– Тебе не пора собираться на вокзал? – спросила она.

– Нет, я не поеду сегодня, – сказал Чагатаев. Он скреб

башмаками по полу, борясь с нетерпением своей души перед этой девочкой. Ему было, кроме того, стыдно, что его состояние Вера и Ксеня могут понять за жестокую мужскую любовь; он же чувствовал перед Ксеней лишь привязанность, полную смутного наслаждения, человеческого родства и заботы о ее лучшей судьбе. Он хотел бы быть для нее берегущей силой, отцом и вечной памятью в ее душе.

Извинившись, Чагатаев вышел на полчаса, купил в Мосторге различных вещей на триста рублей и принес их в подарок Ксении, если бы он не сделал этого, то сожалел бы многие дни.

Ксеня обрадовалась подаркам, а мать ее нет.

– У Ксени всего два платья, и последняя обувь развалилась, – сказала Вера. – Отец ведь ничего не присылает, а я работаю недавно… Зачем ты накупил этих пустяков, на что девочке дорогие духи, замшевая сумка, какое-то пестрое покрывало?..

– Ну, мама, пускай, ничего! – говорила Ксеня. – Платье мне бесплатно в детском театре дадут, я там активистка, а в отряде скоро горные башмаки начнут распределять, мне обуви не надо. Пусть будет сумка и покрывало.

– Все-таки напрасно, – сетовала Вера. – И ему самому нужны деньги, он едет далеко.

– Мне хватит, – сказал Чагатаев. Он вынул еще четыреста рублей и оставил их на пропитание Ксени.

Девочка подошла к нему. Она поблагодарила Чагатаева, протянув ему руку, и сказала:

– Я вам тоже скоро буду давать подарки. Скоро наступит богатство!

Чагатаев поцеловал ее и попрощался.

– Назар, ты больше не любишь меня? – спросила Вера на улице. – Пойдем разведемся, пока ты не уехал… Ты видел – Ксеня моя дочь, ты ведь у меня третий, и мне тридцать четыре года.

Вера умолкла. Назар Чагатаев удивился:

– Почему я тебя не люблю? А ты любила других мужей?

– Я любила, второй умер, и я по нем и теперь плачу одна. А первый оставил меня с девочкой сам, я его тоже любила и была верна… И мне пришлось долго жить без человека, ходить по веселым вечерам и бумажные цветы самой класть себе на голову…

– Но почему я тебя не люблю?

– Ты любишь Ксеню, я знаю… Ей будет восемнадцать лет, а тебе тридцать, может, немного больше. Вы поженитесь, а я вас посватаю. Ты только не лги мне и не волнуйся, я привыкла терять людей.

Чагатаев остановился перед этой женщиной, как непонимающий. Ему было странно не ее горе, а то, что она верила в свое обреченное одиночество, хотя он женился на ней и разделил ее участь. Она берегла свое горе и не спешила его растратить. Значит, в глубине рассудка и среди самого сердца человека находится его враждебная сила, от которой могут померкнуть живые сияющие глаза среди лета жизни, в объятиях преданных рук, даже под поцелуями своих детей.

– Поэтому ты со мной и не жила? – спросил Чагатаев.

– Да, поэтому, ты ведь не знал, что у меня есть такая дочь, ты думал – я моложе и чище…

– Ну и что ж! Мне это безразлично…

– Нет, скажи: ты сейчас влюбился в Ксеню? Я заметила.

– Влюбился, – ответил Чагатаев, – я не вытерпел.

Они молча дошли до комнаты Веры. Она стала среди своего жилища, не снимая плаща, равнодушная и чужая для собственных окружающих предметов. Если бы был сейчас внезапный случай, она подарила бы всю свою утварь соседке; это доброе дело немного утешило бы ее и вместе с уменьшением имущества уменьшило бы размер ее страдающей души.

Но затем ей пришлось бы раздать свое тело до последнего остатка; однако и этот последний остаток мучился бы с тою же силой, как все тело вместе с одеждой, инвентарем и удобствами, и его также нужно было бы отдать, чтоб уничтожить и забыть.

Отчаяние, тоска и нужда могут сжиматься в человеке вплоть до его последней щели: лишь предсмертное дыхание выносит их вон.

– Ну, как же мне быть теперь? – спросила Вера, произнося эти слова для себя.

Чагатаев понимал Веру. Он обнял ее и долго держал близ груди, чтобы успокоить ее хотя бы своим теплом, потому что мнимое страданье наиболее безутешно и слову не поддается.

Вера начала отходить от горя.

– Ксеня тебя тоже полюбит… Я воспитаю ее, внушу ей память о тебе, сделаю из тебя героя. Ты надейся, Назар, – годы пройдут быстро, а я привыкну к разлуке.

– Зачем привыкать к худому? – сказал Чагатаев; он не мог понять, почему счастье кажется всем невероятным и люди стремятся прельщать друг друга лишь грустью.

Чагатаеву горе надоело с детства, а теперь, когда он стал образованным, ему оно представлялось пошлостью, и он решил устроить на родине счастливый мир блаженства, а больше неизвестно, что делать в жизни.

– Ничего, – сказал Чагатаев и погладил Вере ее большой живот, где лежал ребенок, житель будущего счастья. – Рожай его скорее, он будет рад.

– А может, нет, – сомневалась Вера. – Может, он будет вечный страдалец.

– Мы больше не допустим несчастья, – ответил Чагатаев.

– Кто такие вы?

– Мы, – тихо и неопределенно подтвердил Чагатаев. Он почему-то стыдился говорить ясно и слегка покраснел, словно тайная мысль его была нехороша.

Вера обняла его на прощанье – она следила за часами, разлука подходила близко.

– Я знаю, ты будешь счастлив, у тебя чистое сердце. Возьми тогда к себе мою Ксеню.

Она заплакала от своей любви и неуверенности в будущем; ее лицо вначале стало еще более безобразным, потом слезы омыли его, и оно приобрело незнакомый вид, точно Вера глядела издалека чужими глазами.

3

Поезд давно покинул Москву; прошло уже несколько суток езды. Чагатаев стоял у окна, он узнавал те места, где он ходил в детстве, или они были другие, но похожие в точности. Такая же земля, пустынная и старческая, дует тот

же детский ветер, шевеля скулящие былинки, и пространство просторно и скучно, как унылая чуждая душа; Чагатаеву хотелось иногда выйти из поезда и пойти пешком, подобно оставленному всеми ребенку. Но детство и старое время давно прошло. Он видел на степных маленьких станциях портреты вождей; часто эти портреты были самодельными и приклеены где-нибудь к забору. Портреты, вероятно, мало походили на тех, кого они изображали, но их рисовала, может быть, детская пионерская рука и верное чувство: один походил на старика, на доброго отца всех безродных людей на земле; однако художник, не думая, старался сделать лицо похожим и на себя, чтобы видно было, что он теперь живет не один на свете и у него есть отцовство и родство, – поэтому искусство становилось сильнее неумелости. И сейчас же за такой станцией можно видеть, как разные люди рыли землю, сажали что-то или строили, чтобы приготовить место жизни и приют для бесприютных. Порожних, нелюдимых станций, где можно жить лишь в изгнании, Чагатаев не видел; везде человек работал, отходя сердцем от векового отчаяния, от безотцовщины и всеобщего злобного беспамятства.

Чагатаев вспомнил материнские слова: «Иди далеко, к чужим, пусть отец твой будет незнакомым человеком». Он ходил далеко и теперь возвращается, он нашел отца в чужом человеке, который вырастил его, расширил в нем сердце и теперь посылает снова домой, чтобы найти и спасти мать, если она жива, похоронить ее, если она лежит брошенной и мертвой на лице земли.

В одну ночь поезд остановился по неожиданному случаю в темной степи. Чагатаев вышел к двери в тамбур ва-

гона. Было тихо, вдали сопел паровоз, пассажиры спали в покое. Вдруг в степной темноте вскрикнула одна птичка, ее что-то напугало. Чагатаев вспомнил этот голос через многие годы, как будто его детство жалобно прокричало из безмолвной тьмы. Он прислушался; еще какая-то птица что-то быстро проговорила и умолкла, он тоже помнил ее голос, но сейчас забыл ее имя: может быть, пустынная славка, может быть, пустельга. Чагатаев вышел из вагона. Невдалеке он заметил кустарник и, дойдя до него, взял его за ветвь и сказал ему: «Здравствуй, куян-суюк!» Куян-суюк слегка пошевелился от прикосновения человека и опять остался как был – равнодушный и спящий.

Чагатаев отошел еще дальше. В степи что-то шевелилось и покрикивало, она казалась бесшумной лишь для отвыкших ушей. Земля стала опускаться в низину, началась синяя высокая трава. Чагатаев, с интересом воспоминания, вошел в траву; растения дрожали вокруг него, колеблемые снизу, разные невидимые существа бежали от него прочь – кто на животе, кто на ножках, кто низким полетом – что у кого имелось. Они, наверно, сидели до того неслышно, но спали из них лишь некоторые, далеко не все. У всякого было столько заботы, что дня, видимо, им не хватало, или им жалко было тратить краткую жизнь на сон, и они только чуть дремали, опустив пленку на полглаза, чтобы видеть хоть полжизни, слышать тьму и не помнить дневной нужды.

Забыв свое дело, Чагатаев почувствовал запах влаги; где-то вблизи было озеро или колодезь. Он направился туда и вскоре вошел в какую-то небольшую, влажно растущую траву, похожую на маленькую русскую рощу. Глаза Чага-

таева притерпелись ко мраку, он видел теперь ясно. Затем начался камыш; когда Чагатаев вошел в него, то сразу закричали, полетели и заерзали на месте все здешние жители. В камышах было тепло. Животные и птицы не все исчезли от страха перед человеком, некоторые, судя по звукам и голосам, остались, где были. Они испугались настолько, что, ожидая гибели, спешили поскорее размножиться и насладиться. Чагатаев знал эти звуки издавна и теперь, слушая томительные, слабые голоса из теплой травы, сочувствовал всей бедной жизни, не сдающей своей последней радости. Поезд неслышно поехал. Чагатаев мог бы его догнать, но не поторопился; уехал лишь чемодан с бельем, и то его можно получить обратно в Ташкенте. Но Чагатаев решил его не получать, чтобы спешить по своему делу и не отвлекаться. Он уснул в траве, среди спокойствия, прижавшись к земле, как прежде.

Через семь дней Чагатаев дошел до Ташкента ближней пешей дорогой. Он явился в Центральный комитет партии, где его уже давно ожидали. Секретарь комитета сказал Чагатаеву, что где-то в районе Сары-Камыша, Усть-Урта и дельты Амударьи блуждает и бедствует небольшой кочевой народ из разных национальностей. В нем есть туркмены, каракалпаки, немного узбеков, казахи, персы, курды, белуджи и позабывшие, кто они. Раньше этот народ почти постоянно жил во впадине Сары-Камыша, откуда он ходил работать на хошары и на чигири в Хивинский оазис, в Ташауз, в Ходжейли, Куня-Ургенч и другие дальние места. Бедность и отчаяние того народа были настолько велики, что он о земляной хошарной работе, которая продолжалась лишь несколько недель в году, думал как о благе, потому

что ему давали в эти дни есть хлебные лепешки и даже рис. На чигирях тот народ работал вместо ослов, двигая своим телом деревянное водило, чтобы подымалась в арык вода. Осла надо кормить круглый год, а рабочий народ из Сары-Камыша ел лишь немного времени, а потом уходил вон. И целиком не умирал и на другой год снова возвращался, протомившись где-то на дне пустыни.

– Я знаю этот народ, я там родился, – сказал Чагатаев.

– Поэтому тебя и посылают туда, – объяснил секретарь. – Как назывался этот народ, ты не помнишь?

– Он не назывался, – ответил Чагатаев. – Но сам себе он дал маленькое имя.

– Какое его имя?

– Джан. Это означает душу или милую жизнь. У народа ничего не было, кроме души и милой жизни, которую ему дали женщины-матери, потому что они его родили.

Секретарь нахмурился и сделался опечаленным.

– Значит, все его имущество – одно сердце в груди, и то когда оно бьется…

– Одно сердце, – согласился Чагатаев, – одна только жизнь; за краем тела ничего ему не принадлежит. Но и жизнь была не его, ему она только казалась.

– Тебе мать говорила, что такое джан?

– Говорила. Беглецы и сироты отовсюду и старые изнемогшие рабы, которых прогнали. Потом были женщины, изменившие мужьям и попавшие туда от страха, приходили навсегда девушки, полюбившие тех, кто вдруг умер, а они не захотели никого другого в мужья. И еще там жили люди, не знающие бога, насмешники над миром, преступники… Но я не помню всех – я был маленький.

– Езжай туда теперь. Найди этот потерянный народ – Сары-Камышская впадина пуста.

– Я поеду, – согласился Чагатаев. – Что мне там делать? Социализм?

– Чего же больше? – произнес секретарь. – В аду твой народ уже был, пусть поживет в раю, а мы ему поможем всей нашей силой… Ты будешь нашим уполномоченным. Туда послали кого-то из района, но едва ли он что сделает там: кажется, не наш человек…

Затем секретарь дал Чагатаеву подробные, тщательные инструкции, командировочную бумагу, и Чагатаев попрощался.

Он задумал плыть на родину вниз по Амударье, сев около Чарджуя в каюк.

На ташкентской почте он получил письмо от Веры. Она писала, что ребенок ее приближается на свет, он уже думает что-то внутри ее тела, потому что часто шевелится и бывает недоволен.

«Но я ласкаю его, я глажу свой живот и, согнувшись лицом ближе к нему, – писала Вера, – говорю: «Чего ты хочешь? Тебе там тепло и тихо, я стараюсь мало двигаться, чтобы ты не раздражался, – зачем ты хочешь уйти из меня?..» Я привыкла к нему, все время живу с ним как с другом, как хотела жить с тобой, и рождения его я боюсь – не потому, что мне будет больно, а потому, что это будет начало разлуки с ним навек, и его ножки, которыми он сейчас стучит, спешат уйти от матери, и они будут уходить все дальше и дальше – по мере его жизни, пока мой сын не скроется совсем от меня, от моих заплаканных глаз… Ксеня тебя помнит, но скучает, что ты далеко, не скоро

приедешь, даже ничего не известно. Не умер ли ты уже где-то?» Чагатаев послал Вере открытку, что он целует ее и Ксеню – в ее разноцветные глаза, и пройдет недолго, как он приедет, когда он сделает счастье среди одной земли.

4

Из Чарджуя в Нукус собирались идти с кооперативными товарами четыре каюка. Чагатаев не стал пользоваться своим правом командированного человека, потому что это право слабо признавалось, а нанялся быть помощником речного матроса. Он условился идти до Хивинского оазиса, а там сойдет на берег.

Наступили долгие дни плавания. Утром и вечером река превращалась в золотой поток благодаря косому свету солнца, проницающему воду сквозь ее живой, несущийся ил. Эта желтая земля, путешествующая в реке, заранее была похожа на хлеб, цветы и хлопок и даже на тело человека. Иногда на камышовой вершине сидела разноцветная незнакомая птичка, она вертелась от внутреннего волнения, блестела перьями под живым солнцем и пела что-то сияющим тонким голосом, будто уже наступило блаженство для всех существ. Птица напоминала Чагатаеву про Ксеню, маленькую женщину с цветными глазами, думающую что-нибудь сейчас про него.

Через четырнадцать суток Чагатаев сошел на берег Хивинского оазиса, получив расчет и благодарность от старшего матроса.

Побыв несколько дней в Хиве, Чагатаев пошел на родину, в Сары-Камыш, дорогой детства. Он помнил эту

дорогу по слабевшим признакам: песчаные холмы теперь казались ниже, канал более мелким, путь до ближайшего колодца короче. Солнце светило такое же, но менее высоко, чем в то время, когда Чагатаев был маленьким. Курганчи, кибитки, встречные ослы и верблюды, деревья по арыкам, летающие насекомые – все было прежнее и неизменное, но равнодушное к Чагатаеву, точно ослепшее без него. Он шел обиженный, как по чужому миру, вглядываясь во все окружающее и узнавая забытое, но сам оставался неузнанным. Каждое мелкое существо, предмет и растение, оказывается, было более гордым и независимым от прежней привязанности, чем человек.

Дойдя до сухой реки Кунядарьи, Назар Чагатаев увидел верблюда, который сидел, подобно человеку, опершись передними ногами, в песчаном наносе. Верблюд был худ, горбы его опали, и он робко глядел черными глазами, как умный грустный человек. Когда Чагатаев подошел к нему, верблюд не обратил на подошедшего внимания: он следил за движением мертвых трав, гонимых течением ветра, – приблизятся они к нему или минуют мимо. Одна былинка подвинулась близко по песку к самому его рту, и тогда верблюд сжевал ее губами и проглотил. Вдали влачилось круглое перекати-поле, верблюд следил за этой большой живой травой глазами, добрыми от надежды, но перекати-поле уходило стороною; тогда верблюд закрыл глаза, потому что не знал, как нужно плакать.

Чагатаев осмотрел верблюда кругом; животное давно стало худым от голодной нужды и болезни, шерсть его выпала почти вся, остались лишь некоторые клочья, поэтому верблюд дрожал от непривычки и озноба. Он,

наверно, был разгружен и оставлен здесь каким-либо прохожим караваном вследствие слабости своих сил – либо его хозяин сам погиб, а животное начало ожидать его, пока не истратило в себе жизненного запаса. Потеряв способность движения, верблюд уперся остатком силы в передних ногах и привстал, чтобы видеть былинки трав, нагоняемые на него ветром, и поедать их. Когда ветра не было, он закрывал глаза, не желая тратить напрасно зрения, и был в дремоте; опуститься и лечь он не хотел, тогда бы он снова приподняться уже не смог, и так оставался сидячим постоянно – то бдительным, то дремлющим, пока смерть не склонила бы его вниз или пока любой ничтожный зверь пустыни не кончил бы его одним ударом маленькой лапы.

Чагатаев долго сидел около этого верблюда, наблюдая и понимая его. Затем он принес издали несколько охапок перекати-поля и дал верблюду их съесть. Напоить он его не мог, у него самого было только две фляги воды, но он знал, что дальше по руслу Кунядарьи есть пресные озера и мелкие колодцы. Однако трудно нести на себе верблюда по песку.

Наступил вечер. Чагатаев кормил верблюда, доставая ему траву из ближних окрестностей, пока тот не положил своей головы на землю; он уснул кротким сном новой жизни. Благодаря ночи, стало холодать. Чагатаев поел лепешек из своего мешка, потом прижался к туловищу верблюда, чтобы согреться, и задремал. Он улыбался; все было странно для него в этом существующем мире, сделанном как будто для краткой насмешливой игры. Но эта нарочная игра затянулась надолго, на вечность, и смеяться никто уже не хочет, не может. Пустая земля пустыни, верблюд, даже

бродячая жалкая трава – ведь это все должно быть серьезным, великим и торжествующим; внутри бедных существ есть чувство их другого, счастливого назначения, необходимого и непременного, – зачем же они так тяготятся и ждут чего-то? Чагатаев свернулся калачом около живота верблюда и уснул, удивляясь необыкновенной действительности.

5

Через шесть дней пути по Кунядарье Чагатаев увидел Сары-Камыш. Все это время он вел за собою ожившего верблюда, который мог уже идти своей силой. Но еще не мог везти на себе человека.

Чагатаев сел на краю песков, там, где они кончаются, где земля идет на снижение в котловину, к дальнему Усть-Урту. Там было темно, низко, Чагатаев нигде не разглядел ни дыма, ни кибитки, – лишь в отдалении блестело небольшое озеро. Чагатаев перебрал руками песок, он не изменился: ветер все прошедшие годы сдувал его то вперед, то назад, и песок стал старым от пребывания в вечном месте.

Сюда его мать когда-то вывела за руку и отправила жить одного, а теперь он вернулся. Он пошел дальше с верблюдом, в середину родины. Как маленькие старики, стояли дикие кустарники; они не выросли с тех пор, когда Чагатаев был ребенком, и они, кажется, одни из всех местных существ не забыли Чагатаева, потому что были настолько непривлекательны, что это походило на кротость, и в равнодушие или в беспамятство их поверить

было нельзя. Такие безобразные бедняки должны жить лишь воспоминанием или чужой жизнью, больше им нечем.

Несколько дней Чагатаев потратил на блуждание по этой своей детской стране, чтобы найти людей. Верблюд самостоятельно ходил за ним следом, боясь остаться один и заскучать; иногда он долго глядел на человека, напряженный и внимательный, готовый заплакать или улыбнуться и мучаясь от неуменья.

Ночуя в пустых местах, доедая свою последнюю пищу, Чагатаев, однако, не думал о своем благополучии. Он направлялся в глубь безлюдной впадины, по дну древнего моря, спеша и беспокоясь. Лишь однажды он лег среди дневного пути и прижался к земле. Сердце его сразу заболело, и он потерял терпение и силу бороться с ним; он заплакал по Ксене, стыдясь своего чувства и отрекаясь от него. Он видел ее сейчас близкой в уме и в воспоминании; она улыбалась ему жалкой улыбкой маленькой женщины, которая может любить только в душе, но обниматься не хочет и боится поцелуев, как увечья. Вера сидела вдали и шила детское белье, сокращая разлуку с мужем и уже почти равнодушная к нему, потому что внутри ее шевелился и мучился другой, еще более любимый и беспомощный человек. Она ждала его, желала увидеть его лицо и боялась расстаться с ним. Но ее утешало, что еще долгие годы она будет целовать и обнимать его, когда захочет, пока он не вырастет и не скажет ей: «Будет тебе, мама, приставать ко мне, ты мне надоела!» Чагатаев поднял голову. Верблюд жевал какую-то худую, костлявую траву, маленькая черепаха томительно глядела черными нежными глазами на

лежавшего человека. Что было сейчас в ее сознании? Может быть, волшебная мысль любопытства к таинственному громадному человеку, может быть, печаль дремлющего разума.

– Мы тебя одну не оставим! – сказал Чагатаев черепахе.

Он заботился о существующем, как о священном, и был слишком скуп сердцем, чтобы не замечать того, что может служить утешением.

Они пошли с верблюдом далее, к Усть-Урту, где в самом подножье возвышенности жил один забытый старик. Он ночевал в землянке, вырытой в сухом спуске холма, и питался мелкими животными и корнями растений, находившимися в расщелинах плоскогорья. Древняя старость и убожество сделали его мало похожим на человека. Он прожил давно человеческий век, все чувства его удовлетворились, а ум изучил и запомнил местную природу с точностью исчерпанной истины. Даже звезды, многие тысячи их, он знал наизусть по привычке, и они ему надоели.

Его звали Суфьян; одет он был в старинную шинель русского солдата времен хивинской войны и в картуз, а обувался в обмотки из тряпок.

Когда он заметил Чагатаева, он вышел к нему из своего земляного жилища и уставился в пространство безлюдными глазами.

К нему шел человек с верблюдом. Суфьян сразу узнал прохожего и огорчился втайне, что нет для него ничего неизвестного.

– Я тебя знаю, – сказал он Чагатаеву. – Ты был мальчик Назар.

– А я тебя не знаю, – ответил Чагатаев.

– Ты не знаешь, ты живешь, как ешь: что в тебя входит, то потом выходит. А во мне все задерживается.

Старик сморщился, вспоминая улыбку привета, но его лицо, даже спокойное, было похоже на пустую кожу высохшей умершей змеи. Удивившись, Чагатаев потрогал руку и лоб Суфьяна. О жизни и живых никто не заботился, но теперь наступила пора…

Чагатаев сказал старику, что он пришел издалека, ради своей матери и своего народа, но есть ли он на свете или уже давно кончился?

Старик молчал.

– Ты встретил где-нибудь своего отца? – спросил он.

– Нет. А ты знаешь Ленина?

– Не знаю, – ответил Суфьян. – Я слышал один раз это слово от прохожего, он говорил, что оно хорошо. Но я думаю – нет. Если хорошо – пусть оно явится в Сары-Камыш, здесь был ад всего мира, и я здесь живу хуже всякого человека.

– Я вот пришел к тебе, – сказал Чагатаев.

Старик опять сморщился в недоверчивой улыбке.

– Ты скоро уйдешь от меня, я умру здесь один. Ты молод, твое сердце бьется тяжело, ты соскучишься.

Чагатаев приблизился к старику и поцеловал его, как раньше целовал Веру, крепко и неутомимо. Странно, что уста старика имели тот же человеческий вкус, как губы далекой молодой женщины.

– Здесь ты умрешь от сожаления, от воспоминаний. Здесь, персы говорили, был ад для всей земли…

Они вошли в землянку, где жил на камышовой подстилке Суфьян. Он дал лепешку гостю, испеченную из

корней трав плоскогорья. В отверстии входа видна была вечерняя тень, бегущая в яму Сары-Камыша, где в древности находился всемирный ад. Чагатаев слышал в детстве это устное предание и теперь понимал его полное значение. В далеком отсюда Хорасане, за горами Копет-Дага, среди садов и пашен, жил чистый бог счастья, плодов и женщин – Ормузд, защитник земледелия и размножения людей, любитель тишины в Иране. А на север от Ирана, за спуском гор, лежали пустые пески; они уходили в направлении, где была середина ночи, где томилась лишь редкая трава, и та срывалась ветром и угонялась прочь, в те черные места Турана, среди которых беспрерывно болит душа человека. Оттуда, не перенося отчаяния и голодной смерти, бежали темные люди в Иран. Они врывались в гущи садов, в женские помещения, в древние города и спешили поесть, наглядеться, забыть самих себя, пока их не уничтожали, а уцелевших преследовали до глубины песков. Тогда они скрывались в конце пустыни, в провале Сары-Камыша, и там долго томились, пока нужда и воспоминание о прозрачных садах Ирана не поднимали их на ноги… И снова всадники черного Турана появлялись в Хорасане, за Атреком, в Астрабаде, среди достояния ненавистного, оседлого, тучного человека, истребляя и наслаждаясь… Может быть, одного из старых жителей Сары-Камыша звали Ариманом, что равнозначно черту, и этот бедняк пришел от печали в ярость. Он был не самый злой, но самый несчастный, и всю свою жизнь стучался через горы в Иран, в рай Ормузда, желая есть и наслаждаться, пока не склонился плачущим лицом на бесплодную землю Сары-Камыша и не скончался.

Суфьян оставил Чагатаева ночевать. Экономист томился во сне: уходят дни и ночи напрасно, нужно торопиться и делать счастье на адовом дне Сары-Камыша; от нетерпения сердца он долго не мог уснуть, считая течение времени. Как свет совести, горели звезды на небе, верблюд сопел снаружи, и по песку осторожно скреблась сорванная дневным ветром обессиленная трава, точно стремясь идти самостоятельно на своих ножках-былинках.

На следующий день Чагатаев и Суфьян вышли с места, чтобы найти пропавших людей. Верблюд тоже пошел за ними, боясь одиночества, как боится его любящий человек, живущий в разлуке со своими.

На краю Сары-Камыша Чагатаев вспомнил знакомое место. Здесь росла седая трава, не выросшая больше с тех пор, как было в детстве Назара. Здесь мать сказала ему когда-то: «Ты, мальчик, не бойся, мы идем умирать» – и взяла его за руку ближе к себе. Вокруг собрались все бывшие тогда люди, так что получилась толпа, может быть, в тысячу человек, вместе с матерями и детьми. Народ шумел и радовался: он решил идти в Хиву, чтобы его убили там сразу весь, полностью, и больше не жить. Хивинский хан давно уже томил этот рабский, ничтожный народ своей властью. Он сначала редко, потом все более часто присылал в Сары-Камыш всадников из своего дворца, и те забирали из народа каждый раз по нескольку человек, а затем их либо казнили в Хиве, либо сажали в темницу без возврата. Хан искал воров, преступников и безбожников, но их трудно было отыскать. Тогда он велел брать всех тайных и безвестных людей, чтобы жители Хивы, видя их казнь и муку, имели страх и содрогание. Сперва народ джан боялся

Хивы, и многие люди заранее чувствовали изнеможение от страха; они переставали заботиться о себе и семействе и только лежали навзничь в беспрерывной слабости. Затем стали бояться все люди, – они глядели в чистую пустыню, ожидая оттуда конных врагов, они замирали от всякого ветра, метущего песок по вершине бархана, думая, что это мчатся верховые. Когда же третья часть народа или более была забрана без вести в Хиву, народ уже привык ожидать своей гибели; он понял, что жизнь не так дорога, как она кажется, в сердце и в надежде, и каждому, кто остался цел, было даже скучно, что его не взяли в Хиву. Но молодой Якубджанов и его друг Ораз Бабаджан не хотели зря ходить в Хиву, если можно умереть на свободе. Они бросились с ножами на четверых ханских стражников и оставили их на месте лежачими, сразу лишив их славы и жизни. А маленький Назар, увидев чужих вооруженных людей, побежал к матери за одной острой железкой, которую он спрятал себе для игры, но обратно он прибежал уже поздно: стражники умерли без его железки. Ораз и Якубджанов исчезли после того, сев на лошадей убитых солдат, а остальной народ пошел толпой в Хиву, счастливый и мирный; люди были одинаково готовы тогда разгромить ханство или без сожаления расстаться там с жизнью, поскольку быть живым никому не казалось радостью и преимуществом и быть мертвым не больно. Впереди пошел бахши, бормоча свою песню, а рядом с ним был Суфьян, и тогда уже старый человек. Назар смотрел на мать; он удивлялся, что она теперь веселая, хотя шла помирать, и все прочие люди шли также охотно. Дней через десять или пятнадцать сары-камышский народ увидел хивинскую

башню. Дорога до Хивы была тяжелая и медленная, но трудность и нужда неподвижной жизни тоже требовали привычного сердца, поэтому люди не чувствовали раздражения от излишней усталости. Около самой Хивы пришедший народ окружило небольшое ханское конное войско, но тогда народ, видя это, запел и развеселился. Пели все, даже самые молчаливые и неумелые; узбеки и казахи танцевали впереди всех, один русский несчастный старик играл на губной гармонии, мать Назара подняла руки, точно готовясь к тайному танцу, а сам Назар с интересом ждал, как их всех и его самого сейчас убьют солдаты. Около ханского дворца стояли толстые смелые стражники, берегущие хана от всех. Они с удивлением глядели на прохожий народ, который шел мимо них с гордостью и не боялся силы пуль и железа, будто он был достойный и счастливый. Эти дворцовые стражники вместе с прежними всадниками должны постепенно окружить сары-камышский народ и загнать его в тюремное подземелье; но веселых трудно наказывать, потому что они не понимают зла.

Один помощник хана подошел близко к старым людям из Сары-Камыша и спросил их:

– Чего им надо и отчего они чувствуют радость?

Ему ответил кто-то, может быть, Суфьян или прочий старик:

– Ты долго приучал нас помирать, теперь мы привыкли и пришли сразу все, – давай нам смерть скорее, пока мы не отучились от нее, пока народ веселится!

Помощник хана ушел назад и больше не вернулся. Конные и пешие солдаты остались около дворца, не каса-

ясь народа: они могли убивать лишь тех, для кого смерть страшна, а раз целый народ идет на смерть весело мимо них, то хан и его главные солдаты не знали, что им надо понимать и делать. Они не сделали ничего, а все люди, явившиеся из впадины, прошли дальше и вскоре увидели базар. Там торговали купцы, еда лежала наружи около них, и вечернее солнце, блестевшее на небе, освещало зеленый лук, дыни, арбузы, виноград в корзинах, желтое хлебное зерно, седых ишаков, дремлющих от усталости и равнодушия.

Назар спрашивал тогда мать:

– А когда же будет смерть? Я хочу!

Но мать сама не знала, что будет сейчас, она видела, что все еще живы, и боялась опять возвращаться в Сары-Камыш и снова там вечно жить. На хивинском базаре народ стал брать разные плоды и наедаться без денег, а купцы стояли молча и не били этих хищных людей. Назар ел медленно, он глядел кругом, ожидая убийства, и успел съесть только одну дыню. Наевшись, народ стал скучным, потому что веселье его прошло и смерти не было. Гюльчатай повела Назара в пустыню, все люди также ушли прочь, в старое место своей жизни.

Назар с матерью вернулись назад в Сары-Камыш. На этой жесткой седой траве, где Чагатаев сейчас стоял с Суфьяном, они тогда отдыхали, и мать сказала сыну:

– Давай опять жить, мы не умерли!

– Мы с тобою целы, – согласился Назар. – Знаешь что, мама, мы будем жить – ничего не думать, нарочно нас нет.

– Хорошо тем, кто умер внутри своей матери, – сказала Гюльчатай.

– У тебя в животе? – спросил Назар. – А почему ты меня там не оставила? Я бы умер, и меня сейчас не было, а ты ела и жила и думала про меня: нарочно я живой.

Гюльчатай посмотрела тогда на сына: счастье и жалость прошли по ее лицу.

Теперь Чагатаев лишь погладил ту давнюю траву, живущую поныне без изменения, потому что она умерла еще до рождения Назара, но все еще держалась, как живая, глубокими мертвыми корнями. Суфьян понимал, что в Чагатаеве происходит сейчас какое-то волнение жизни, но не интересовался этим: он знал, что чем-нибудь надо человеку наполнять свою душу, и если нет ничего, то сердце алчно жует собственную кровь.

Через четыре дня Суфьян и Чагатаев настолько захотели есть, что стали видеть сновидения, в то время как ноги их шли и глаза видели обыкновенный день. Верблюд не покидал людей, но двигался в отдалении от них, где была ему попутная пища из травы. Суфьян глядел в свои плывущие сны без надежды, а Чагатаев то улыбался от них, то мучился. Дойдя до протока Дарьялык у Мангырчардара, два пешехода стали на обычный ночлег, и Суфьян размешал воду у берега, чтоб она была мутнее, гуще и питательней, а потом, напившись, оба человека легли в пещерку, дабы тело забыло, что оно живет, и скорее миновала ночь. Проснувшись наутро, Чагатаев увидел мертвого верблюда; он лежал, вблизи с окаменевшими глазами, на его шее замерла кровь разреза, и Суфьян рылся в его внутренностях, как в мешке с добром, выбирая оттуда сырые части с чистой кровью и насыщаясь ими. Чагатаев тоже подполз к верблюду; из открытого тела его пахло

теплом и сытостью, кровь еще капала и текла по скважинам в дальних ущельях его туловища, жизнь умирала долго. Наевшись, Чагатаев и Суфьян в блаженстве уснули опять и проснулись не скоро.

Затем они пошли далее – в разливы, в устье Амударьи. Они взяли с собой в запас верблюжьего мяса, но Чагатаев ел его без аппетита: ему было трудно питаться печальным животным; оно тоже казалось ему членом человечества.

6

Жители Сары-Камышской впадины разбрелись в камышах и кустарниках по устью Амударьи. Прошло уже около десяти лет, как народ джан пришел сюда и рассеялся среди влажных растений. Комары вначале разъедали людей так, что они раздирали себе кожу до костей, но спустя время кровь их привыкла к комариному яду и стала вырабатывать из себя противоядие, от которого комары делались беспомощными и падали на землю. Поэтому комары теперь боялись людей и не приближались к ним вовсе.

Некоторые люди народа расселились отдельно, по одному человеку, чтобы не мучиться за другого, когда нечего есть, и чтобы не надо было плакать, когда умирают близкие. Но изредка люди жили семьями; в таком случае они не имели ничего, кроме любви друг к другу, потому что у них не было ни хорошей пищи, ни надежды на будущее, ни прочего счастья, развлекающего людей, и их сердце ослабело настолько, что могло содержать в себе лишь любовь и привязанность к мужу или жене, – самое беспомощное, бедное и вечное чувство.

Суфьян и Чагатаев сперва блуждали двое суток в сумрачных камышах по сырой земле, прежде чем увидели один травяной шалаш. В нем жил слепец Молла Черкезов, его берегла и кормила дочь Айдым, девочка лет десяти. Молла узнал Суфьяна по голосу, но говорить им было не о чем. Они посидели один против другого на камышовой подстилке, попили чая, приготовленного из растертых и высушенных корней того же камыша, и попрощались.

– Есть у вас новости? – спросил Суфьян, прощаясь.

– Нет, жизнь идет одинаково, – ответил Черкезов. – Жена моя, милая Гюн, утонула в воде и умерла.

– Отчего утонула твоя достойная Гюн?

– Не стала жить. Возьми у меня девочку Айдым и приведи мне молодую ослицу, буду с ней жить по ночам, чтоб не было мыслей и бессонницы.

– Я беден, – сказал Суфьян, – ослицы у меня нету. Ты обменяй дочь на старуху. Живи со старухой: тебе все равно.

– Все равно, – согласился Молла Черкезов. – Но старухи скоро помирают, их не хватает человеку.

– Ты слыхал, к нам приехал Назар из Москвы; ему велели помочь нам прожить нашу жизнь хорошо.

– Четыре человека приезжали раньше Назара, – сообщил Черкезов. – Их искусали комары, и они уехали. Я слепой человек, мое дело – тьма, мне хорошо не будет.

– Тебе хорошо даже от ослицы и от старухи, – сказал здесь Чагатаев. – Твое счастье похоже на горе.

– С женой время идет незаметно, – ответил Молла Черкезов.

Девочка Айдым сидела на земле и, раздвинув ноги,

растирала маленьким камнем на большом корневище камыша; она была здесь хозяйкой и приготовляла пищу. Кроме камыша, около девочки лежало несколько пучков болотной и пустынной травы и одна чистая кость осла или верблюда, выкопанная где-нибудь в дальних песках, – для приварка. Вымытый котел стоял между ног Айдым, она бросала в него время от времени то, что готовили ее руки, она собирала суп на обед. Девочка не интересовалась гостями; глаза ее были заняты своею мыслью, – вероятно, она жила тайной, самостоятельной мечтой и делала домашнюю работу почти без сознания, отвлеченная от всего окружающего своим сосредоточенным сердцем.

– Отпусти со мною твою дочь! – попросил Чагатаев у хозяина.

– Она еще не выросла, что ты будешь делать с ней? – сказал Молла Черкезов.

– Я приведу тебе старую, другую.

– Приводи скорее, – согласился Черкезов.

Чагатаев взял за руку Айдым, она глядела на него черными, ослепительно блестящими, как бы невидящими глазами, пугаясь и не понимая.

– Пойдем со мною, – сказал ей Чагатаев.

Айдым потерла руки о землю, чтобы они очистились, встала и пошла, оставив все свои дела на месте недоделанными, не оглянувшись ни на что, словно она прожила здесь одну минуту и не покидала сейчас живого отца.

– Суфьян, тебе ведь одинаково – идти со мной или нет? – обратился Чагатаев к старику.

– Одинаково, – ответил Суфьян.

Чагатаев велел ему остаться у слепого, чтобы помогать Черкезову кормиться и жить, пока он не вернется.

Назар пошел с девочкой по узкому следу людей в камышовом лесу. Он хотел увидеть всех жителей этой заросшей страны, весь спрятавшийся сюда от бедствия народ. Про свою мать Гюльчатай он ни разу не спросил у Суфьяна, он надеялся неожиданно встретить ее живой и помнящей его, а про то, где остались лежать ее кости, он всегда успеет узнать.

Айдым шла покорно за Чагатаевым всю долгую дорогу. Камыши иногда кончались. Тогда Назар и девочка выходили на пустые песчаные и илистые наносы, на мелкие озера, обходили жесткие старческие кустарники и опять входили в камышовую гущу, где была тропинка. Айдым молчала; когда она уморилась, Чагатаев взял ее себе на плечи и понес, держа ее за колени, а она обхватила ему голову. Потом они отдыхали и пили воду из чистого песчаного водоема. Девочка смотрела на Чагатаева странным и обыкновенным человеческим взглядом, который он старался понять. Может быть, это означало: возьми меня к себе; может быть: не обмани и не замучай меня, я тебя люблю и боюсь. Или эта детская мысль в темных, сияющих глазах была недоумением: отчего здесь плохо, когда мне надо хорошо!..

Чагатаев посадил Айдым к себе на руки и перебрал ее волосы на голове. Она вскоре уснула у него на руках, доверчивая и жалкая, рожденная лишь для счастья и заботы.

Наступил вечер. Идти дальше было темно. Чагатаев нарвал травы, сделал из нее теплую постель для защиты от ночного холода, переложил девочку в эту травяную мякоть и сам лег рядом, укрывая и согревая небольшого человека. Жизнь всегда возможна, и счастье доступно немедленно.

Чагатаев лежал без сна; если бы он уснул, Айдым раскрылась бы голым телом и окоченела. Большая черная ночь заполнила небо и землю – от подножья травы до конца мира. Ушло одно лишь солнце, но зато открылись все звезды и стал виден вскопанный, беспокойный Млечный Путь, как будто по нему недавно совершился чей-то безвозвратный поход.

7

Свет зари осветил спящих на траве. Одна рука Чагатаева находилась под головой Айдым, чтобы ей не жестко и не влажно было спать, другой он закрыл свои глаза, укрываясь от утра. Неизвестная старуха сидела около спящих и смотрела на них без памяти. Она трогала, еле касаясь, волосы, рот и руки Чагатаева, нюхала его одежду, оглядываясь вокруг, и боялась, что ей помешают. Потом она осторожно вынула руку Назара из-под головы девочки, чтобы он никого сейчас не чувствовал и не любил, а был с нею одной. Спина ее давно уже и навсегда согнулась, и когда старуха разглядывала что-либо, лицо ее почти ползало по земле, точно она была невидящая и искала потерянное. Она осмотрела все, во что был одет Назар, перепробовала руками ремешки и тесемки его штанов и обуви, помяла в руках материю его куртки и провела пальцем, смоченным во рту, по черным запыленным бровям Чагатаева. Затем она успокоилась и легла головой к ногам Назара, счастливая и усталая, как будто она дожила до конца жизни и больше ей ничего не осталось делать, как будто у этих башмаков, гниющих изнутри от пота, по-

крытых пылью пустыни и грязью болот, она нашла свое последнее утешение. Старуха задремала или уснула, но вскоре поднялась опять. Чагатаев и Айдым спали по-прежнему: дети спят долго, и даже солнце, бабочки и птицы их не будят.

– Проснись скорее! – сказала старуха, обняв руками спящего Чагатаева.

Он открыл глаза. Старуха стала целовать его шею, грудь через одежду, руку, ползя лицом по человеку, и проверяла, и рассматривала вблизи все его тело: целы или нет его части, не отболело и не потеряно ли что-нибудь в разлуке.

– Не надо: ведь ты моя мать, – сказал Чагатаев.

Он встал на ноги перед ней, но мать была сгорблена настолько, что не могла теперь видеть его лица, она тянула его за руки вниз, к себе, и Чагатаев согнулся и сел перед ней. Гюльчатай тряслась от старости или от любви к сыну, но не могла ничего сказать ему. Она только водила по его телу руками, испуганно ощущая свое счастье, и не верила в него, боясь, что оно пройдет.

Чагатаев смотрел в глаза матери, они теперь стали бледные, отвыкшие от него, прежняя блестящая темная сила не светила в них; худое, маленькое лицо ее стало хищным и злобным от постоянной печали или от напряжения удержать себя живой, когда жить не нужно и нечем, когда про самое сердце свое надо помнить, чтоб оно билось, и заставлять его работать. Иначе можно ежеминутно умереть, позабыв или не заметив, что живешь, что необходимо стараться чего-то хотеть и не упускать из виду самое себя.

Назар обнял мать. Она была сейчас легкой, воздушной, как маленькая девочка, – ей нужно начинать жить с начала, подобно ребенку, потому что все силы у нее взяло терпение борьбы с постоянным мученьем, и она не имела никогда свободного от горя остатка сердца, чтобы чувствовать добро своего существования; она не успела еще понять себя и освоиться, как наступила пора быть старухой и кончаться.

– Где ты живешь? – спросил ее Назар.

– Там, – показала Гюльчатай рукой.

Она повела его через мелкие травы, через редкий камыш, и вскоре они дошли до небольшой деревни, расположенной на поляне среди камышового леса. Чагатаев увидел камышовые шалаши и несколько кибиток, связанных тоже из камыша. Всего было жилищ двадцать или немного больше. Ни собаки, ни осла, ни верблюда Чагатаев не заметил в этом поселении, даже домашняя птица не ходила на воле по траве.

Около крайнего шалаша сидел голый человек, кожа на нем висела складками, как изношенная, усталая одежда; он перебирал на своих коленях тростинки камыша, собирая из них себе вещь для домашней утвари или украшение. Этот человек не удивился появлению Чагатаева и не ответил даже на его поклон; он бормотал что-то про себя, воображая никому не видимое, занимая свою душу собственным, тайным утешением.

– Здесь живет весь наш народ или еще есть? – спросил Чагатаев у матери.

– Я уже забыла, Назар, я не знаю, – сказала Гюльчатай, с усилием пробираясь вслед за ним и низко неся голову, как

трудный груз. – Были еще люди, десять людей, они живут по камышам до самого моря – раньше жили, теперь им пора умереть, должно быть, умерли, и к нам никто не приходит…

Шалаши и кибитки кончились. Дальше опять начинался камыш. Чагатаев остановился. Здесь было все, – мать и родина, детство и будущее. Ранний день освещал эту местность: зеленый и бледный камыш, серо-коричневые ветхие шалаши на поляне с редкой подножной травой и небо наверху, наполненное солнечным светом, влажным паром болот, лессовой пылью высохших оазисов, взволнованное высоким неслышным ветром, – мутное, измученное небо, точно природа тоже была лишь горестной, безнадежной силой.

Оглядевшись здесь, Чагатаев улыбнулся всем призрачным, скучным стихиям, не зная, что ему делать. Над поверхностью камышовых дебрей, на серебряном горизонте, виднелся какой-то замерший мираж – море или озеро с плывущими кораблями и белая сияющая колоннада дальнего города на берегу. Мать молча стояла около сына, склонившись туловищем книзу.

Она жила в шалаше, на глине, без мужа и без родных. Две камышовые циновки лежали на земле внутри ее жилища – одной она покрывалась, на другой спала. Еще у нее был чугунный горшок для пищи и глиняный кувшин, а на перекладине висел ее девичий яшмак и одна тряпка, в которую она заворачивала Назара, когда он был грудным ребенком. Кочмат умер лет шесть тому назад, от него осталась одна штанина (другую Гюльчатай истратила на латки для юбки) и мочалка, служившая Кочмату, чтобы

вытирать пот и грязь со своего тела, когда приходилось ходить работать на хошарах по оазисам.

Мать Назара жила здесь бобылкой-колтаманкой. Она удивилась, что Назар еще жив, но не удивилась, что он вернулся: она не знала про другую жизнь на свете, чем та, которой жила сама, она считала все на земле однообразным.

Чагатаев сходил за девочкой Айдым, он разбудил и привел ее в камышовый шалаш матери. Гюльчатай ушла рыть коренья травы, ловить мелкую рыбу камышовой кошелкой в водяных впадинах, искать птичьи гнезда в зарослях, чтобы собрать на пищу яиц или птенцов, – вообще поджиться что-либо у природы для дальнейшего существования. Она вернулась лишь к вечеру и стала готовить еду из трав, камышовых корней и маленьких рыбок; она теперь уже не интересовалась, что около нее находится сын, и совсем не глядела на него и не говорила никаких слов, точно весь ее ум и чувство были погружены в глубокое, непрерывное размышление, занимавшее все ее силы. Краткое человеческое чувство радости о живом, выросшем сыне прошло, или его вовсе не было, а было одно изумление редкой встречей.

Гюльчатай не спросила даже, хочет ли есть Назар и что он думает делать на родине, в камышовом поселении.

Назар глядел на нее; он видел, как она шевелится в привычном труде, и ему казалось, что она на самом деле спит и движется не в действительности, а в сновидении. Глаза ее были настолько бледного, беспомощного цвета, что в них не осталось силы для зрения, – они не имели никакого выражения, как слепые и умолкшие. Судя по

большим зачерствелым ногам, Гюльчатай жила всегда босой; одежда ее состояла из одной темной юбки, продолженной до шеи в виде капота, залатанной разнообразными кусками материи, вплоть до кусков из валяной обуви, которыми обшит подол. Чагатаев потрогал платье матери, оно было надето на голое тело, там не имелось сорочки, – мать давно отвыкла зябнуть по ночам и по зимам или страдать от жары – она притерпелась.

Назар позвал мать. Она отозвалась ему, она его понимала. Назар стал помогать ей разводить огонь в очаге, устроенном в виде пещерки под камышовой наклонной стеной. Айдым смотрела на чужих черными чистыми глазами, храня в них сияющую силу своего детства, свою робость, которая была печалью, потому что ребенку хотелось быть счастливым, а не сидеть в сумраке шалаша, думая о том, дадут есть или нет. Чагатаев вспоминал, где он видел такие же глаза, как у Айдым, но более живые, веселые, любящие, – нет, не здесь, и та женщина была не туркменка, не киргизка, она давно забыла его, он тоже не помнит ее имени, и она не может представить себе, где сейчас находится Чагатаев и чем занимается: далеко Москва, он здесь почти один, кругом камыш, водяные разливы, слабые жилища из мертвых трав. Ему скучно стало по Москве, по многим товарищам, по Вере и Ксене, и он захотел поехать вечером в трамвае куда-нибудь в гости к друзьям. Но Чагатаев быстро понял себя. «Нет, здесь тоже Москва!» – вслух сказал он и улыбнулся, глядя в глаза Айдым. Она оробела и перестала смотреть на него.

Мать сварила себе жидкую пищу в чугуне, съела ее без всякого остатка и еще вытерла пальцами посуду изнутри и

обсосала их, чтобы лучше наесться. Айдым внимательно следила за Гюльчатай, как она ела, как еда проходила внутри ее худого горла мимо жил, но она смотрела без жадности и зависти, с одним удивлением и с жалостью к старухе, которая глотала траву с горячей водой. После еды Гюльчатай уснула на облежанной камышовой подстилке, и в то время уже наступил общий вечер и ночь.

8

Первый день жизни Чагатаева на родине прошел; сначала светило солнце, на что-то можно было надеяться, теперь небо померкло и уже появилась вдалеке одна неясная, ничтожная звезда.

Стало сыро и глухо. Народ в этой камышовой стране умолк; его так и не услышал Чагатаев. Он набрал травы поблизости, сделал из нее постель в материнском шалаше и уложил Айдым в теплое место, чтоб она тоже спала.

Он вышел затем один, дошел до какого-то пустого, еле влекущегося протока Амударьи и вновь возвратился. Мощная ночь уже стояла над этой страной, мелкий молодой камыш шевелился у подножия старых растений, как дети во сне. Человечество думает, что в пустыне ничего нет, одно неинтересное дикое место, где дремлет во тьме грустный пастух и у ног его лежит грязная впадина Сары-Камыша, в котором совершалось некогда человеческое бедствие, – но и оно прошло, и мученики исчезли. А на самом деле и здесь, на Амударье, и в Сары-Камыше тоже был целый трудный мир, занятый своей судьбой.

Чагатаев прислушался: кто-то говорил вблизи,

насмешливо и быстро, но оставался без ответа. Назар подошел к камышовому жилищу. Слышно было, как внутри него дышали спящие люди и поворачивались на своих местах от беспокойства.

– Подбирай шерсть на земле, клади мне за пазуху, – говорил голос спящего старика. – Собирай скорее, пока верблюды линяют…

Чагатаев прислонился к камышовой стене. Старик сейчас лишь шептал в бреду, не слышно что. Ему снилась какая-то жизнь, вечное действие, он бормотал все более тихо, как будто удалялся.

– Дурды, Дурды! – стал звать голос женщины; она шевелилась, и циновка под ней шелестела. – Дурды! Не убегай от меня, я уморилась, я не догоню тебя… Остановись, не мучай меня, мой ножик острый, я зарежу тебя сразу, ты поддайся.

Они умолкли и спали теперь мирно.

– Дурды! – тихо позвал Чагатаев снаружи.

– А? – отозвался изнутри голос бормотавшего старика.

– Ты спишь? – спросил Чагатаев.

– Сплю, – ответил Дурды.

Чагатаев вспомнил этого Дурды в синеве своего детства; был в то время один худой человек из племени йомудов, который кочевал вдвоем с женой и ел черепах. В Сары-Камыш он приходил потому, что начинал скучать, и тогда сидел молча в кругу людей, слушал их слова, улыбался и был доволен тайным счастьем своего свидания; потом он опять уходил в пески ловить черепах и думать что-то в своей душе. Одинокая женщина (Назару тогда она казалась тоже старой) шла вослед мужу и несла за плечами

все их семейное имущество. Маленький Назар провожал их до песков и долго глядел на них, пока они не скрывались в сияющем свете, превращаясь в плывущие головы без тела, в лодку, в птицу, в мираж.

Рядом была другая камышовая хижина, построенная в форме кибитки. Около нее сидела небольшая собака. Чагатаев удивился ей, потому что никаких домашних животных он здесь ни разу не видел. Черная собака смотрела на Чагатаева, она открывала и закрывала рот, делая им движение злобы и лая, но звука у нее не получалось. Одновременно она поднимала то правую, то левую переднюю ногу, пытаясь развить в себе ярость и броситься на чужого человека, но не могла. Чагатаев наклонился к собаке, она схватила своей пастью его руку и потерла ее между пустыми деснами – у нее не было ни одного зуба. Он попробовал ее за тело – там часто билось жестокое жалкое сердце, и в глазах собаки стояли слезы отчаяния.

В кибитке кто-то изредка смеялся кротким, блаженным голосом. Чагатаев поднял решетку, навешенную на жерди, и вошел внутрь жилища. В кибитке было тихо, душно, не видно ничего. Чагатаев согнулся и пополз, ища того, кто здесь есть. Жаркий шерстяной воздух томил его. Чагатаев ослабевшими руками искал неизвестного человека, пока не нащупал чье-то лицо. Это лицо вдруг сморщилось под пальцами Чагатаева, и изо рта человека пошел теплый воздух слов, каждое из которых было понятно, а вся речь не имела никакого смысла. Чагатаев с удивлением слушал этого человека, держа его лицо в своих руках, и старался понять, что он говорит, но не мог. Переставая говорить, этот сидячий житель кибитки кратко и разумно посмеи-

вался, потом говорил опять. Чагатаеву казалось, что он смеется над своей речью и над своим умом, который сейчас что-то думает, но выдуманное им ничего не значит. Затем Чагатаев догадался и тоже улыбнулся: слова стали непонятны оттого, что в них были одни звуки – они не содержали в себе ни интереса, ни чувства, ни воодушевления, точно в человеке не было сердца внутри и оно не издавало своей интонации.

– Возьми поди взойди на Усть-Урт, подними что-нибудь и мне принеси, а я в грудь положу, – сказал этот человек, а потом снова засмеялся.

Ум его еще жил, и он, может быть, смеялся в нем, пугаясь и не понимая, что сердце бьется, душа дышит, но нет ни к чему интереса и желания; даже полное одиночество, тьма ночной кибитки, чужой человек – все это не составляло впечатления и не возбуждало страха или любопытства. Чагатаев трогал этого человека за лицо и руки, касался его туловища, мог даже убить его, – он же по-прежнему говорил кое-что и не волновался, будто был уже посторонним для собственной жизни.

Снаружи была прежняя ночь. Чагатаев, уходя дальше, хотел вернуться, взять и унести с собой бормочущего человека; но куда его надо нести, если он замучился до того, что нуждался уже не в помощи, а в забвении? Он оглянулся; безмолвная собака шла за ним, в камышовых шалашах лежали люди во сне и в своих сновидениях, по вершинам камышовых зарослей иногда проходила дрожь слабого ветра, уходя отсюда до самого Арала. В шалаше, рядом с тем, где спали мать и Айдым, кто-то тихо разговаривал. Собака вошла туда и вышла назад, а потом бро-

силась назад домой, боясь потерять или забыть, где находится ее хозяин и убежище.

Чагатаев пришел обратно к матери и лег, не раздеваясь, рядом с Айдым. Девочка дышала во сне редко и почти незаметно, было страшно, что она может забыть вздохнуть и тогда умрет. Лежа на глине, Чагатаев слышал в дремоте, как по глухому низу земли раздавалось сонное бормотание его народа и в желудках мучительно варились кислые и щелочные травы. В соседнем травяном жилище муж говорил с женой; он хотел, чтобы у них родился ребенок – может, он сейчас зачнется.

Но жена отвечала:

– Нет, в нас с тобой слабость одна, мы десять лет его зачинаем, а он не начинается во мне, и я всегда пустая, как мертвая…

Муж молчал, потом говорил:

– Ну, давай чего-нибудь делать вдвоем, нам нечему радоваться с тобой.

– Что же, – отвечала женщина, – мне одеться не во что, тебе тоже: как зимою будем жить!

– Когда будем спать, то согреемся, – отвечал муж, – от бедности чего же больше делать: одна ты осталась, поневоле глядишь и любишь!..

– Больше нечего, – соглашалась женщина, – нету никакого добра у нас с тобой, я все думала-передумала и вижу, что люблю тебя.

– Я тоже тебя, – говорил муж, – иначе не проживешь…

– Дешевле жены ничего нету, – ответила женщина. – При нашей бедности, кроме моего тела, какое у тебя добро?

– Добра не хватает, – согласился муж, – спасибо хоть

жена рожается и вырастает сама, нарочно ее не сделаешь: у тебя есть груди, живот, губы, глаза твои глядят, много всего, я думаю о тебе, а ты обо мне, и время идет…

Они замолчали. Чагатаев почистил уши от скопившейся серы и стал слушать далее – не будет ли еще оттуда слов, где лежат муж и жена.

– Мы с тобой плохое добро, – проговорила женщина, – ты худой, слабосильный, а у меня груди засыхают, кости внутри болят…

– Я буду любить твои остатки, – сказал муж.

И они умолкли вовсе, – наверно, обнялись, чтобы держать руками свое единственное счастье.

Чагатаев прошептал что-то, улыбнулся и уснул, довольный, что на его родине среди двоих людей уже существует счастье, хотя и в бедном виде.

9

Утром Гюльчатай не обратила внимания ни на сына, ни на приведенную им девочку. Силы ее души хватило только на воспоминание о нем, когда он спал на траве у тропинки, рядом с Айдым; теперь она жила одной своей жизнью. В шалаше делать было нечего, все же мать долго ровняла камышовые стебли в наклонных стенах, собрала все былинки с земли, вычистила котел изнутри, оправила и свернула циновку и делала все это с глубокой тщательностью и усердием, заботясь о том, чтобы цело было ее хозяйское добро, потому что, кроме него, у нее не было связи с жизнью и прочими людьми. Затем человеку нужно что-нибудь непрерывно думать, она тоже, видимо, вооб-

ражала что-то, когда трудилась в своей мелкой, почти бесполезной суете; без труда же думать она не умела; хозяйство и шалаш, когда она прибирала его, давали ей воспоминания, наполняли чувством жизни ее пустое, слабое сердце.

Она попросила у сына, чтоб он дал ей что-нибудь. Попросила она робко, без надежды и без жадности, лишь для того, чтобы у нее стало больше вещей и увеличилась, посредством них, житейская занятость, – тогда время жизни проходит лучше. Назар правильно понял мать и отдал ей плащ, кобуру от револьвера (револьвер он переложил в карман брюк), блокнот и сорок рублей денег и заодно велел накормить Айдым. Но девочка сама вперед пошла собирать себе траву на пищу, а Гюльчатай осталась.

– Ты знаешь Моллу Черкезова? – спросил ее Назар.

– Я всех знаю, – сказала мать.

– Ступай, живи у него, тебе там лучше будет. Он слепой и будет беречь тебя, пока не умрет.

Согнутая старая мать глядела в землю; она не понимала, зачем она нужна Черкезову, если и сердце ее давно бьется уже не от чувства, а от привычки, если жизнь для нее почти незаметна. Однако она пошла, не взяв ничего с собою из жилища, кроме того, что ей дал сын, – и то потому, что эти вещи находились у нее в руках. Оказывается, и домашнее добро свое она уже не любила, потому что для жадности у нее не хватало душевных человеческих сил.

Чагатаев остался жить вдвоем с Айдым, желая, чтобы сердце матери согрелось в семейной жизни с Моллой Черкезовым. Айдым сразу начала хозяйствовать, собирать и варить траву, ловить рыбу и стряпать пищу на обед. Од-

нажды она ходила далеко через протоки и разливы, дошла до саксаульника и принесла дров в запас на зимнее время. Чагатаев сам затем сходил два раза в этот далекий саксаульник и принес дров, а девочке вовсе запретил ходить, – пусть она только разводит маленький костер в домашней печке и готовит одну похлебку в сутки. Но вскоре ему пришлось хозяйствовать полностью одному, потому что Айдым заболела и стала горячая, жаркая, мокрая от пота. Назар укрывал ее травой от озноба, протирал ей запекшиеся глаза и поил жидким супом из трав, но девочка не справлялась с болезнью, она худела, молчала и направлялась в смерть. Глаза ее без сознания глядели на Чагатаева, она не умела ничего помыслить для облегчения. Чагатаев сидел над ней долгие пустынные дни и оберегал больную от тоски и страха.

По другим шалашам и кибиткам тоже лежали больные и немощные люди. Чагатаев сосчитал, что всего в народе джан было сорок семь человек, из них человек двадцать болело. Женщин среди народа находилось одиннадцать человек, а детей до двенадцати лет – три души, считая сюда и Айдым. Женщины, как самые большие труженицы, умирали прежде всех, а оставшиеся в живых рожали детей очень редко. Здесь, напрягаясь изо всех нищих сил, желали детей более, чем в далеких странах богатства, и если дети иногда рождались, то они получали в наследство то же, что имели их родители, – корни камыша, долгую участь жизни в пустом пространстве.

Во время болезни Айдым к Чагатаеву пришел уполномоченный райисполкома Нур-Мухаммед. Чагатаев ему сказал, что он командирован сюда для помощи своему

народу, который должен стать счастливым, движущимся вперед и многочисленным. Нур-Мухаммед ответил Назару, что сердце народа давно выболело в нужде, ум его стал глуп и поэтому свое счастье ему чувствовать нечем; лучше будет дать покой этому народу, забыть его навсегда или увести куда-нибудь в пустыню, в степи и горы, чтобы он заблудился, и затем посчитать его несуществующим.

Чагатаев понемногу рассмотрел Нур-Мухаммеда; он был велик ростом, уже стар, глаза его глядели из узко прорезанных век, как сквозь постоянную боль. Он одевался в узбекский халат, имел тюбетейку на голове, был обут в войлочные туфли – единственный человек во всем народе, сохранивший такую одежду. Это объяснялось тем, что сам Нур-Мухаммед не принадлежал к народу джан, а был командирован сюда полгода назад и глядел на людей чужими глазами.

– Что ты сделал здесь за полгода? – спросил его Чагатаев.

– Ничего, – сообщил Нур-Мухаммед. – Я не могу воскрешать мертвых.

– Чего же ты ждешь тогда, зачем ты тут?

– Когда я пришел сюда, в народе было сто десять человек, теперь меньше. Я рою могилы умершим, – их хоронить в болотах нельзя, будет заражение, и я ношу мертвых в дальний песок. Буду хоронить, пока выйдут все, тогда уйду отсюда, скажу – командировка выполнена…

– Народ сам похоронит своих близких – ты для этого не нужен.

– Нет, он не будет хоронить, я знаю.

– Почему не будет?

– Мертвых должны хоронить живые, а здесь живых нет, есть не умершие, доживающие свое время во сне, ты им не сделаешь счастья, и даже своего горя они уже не знают, они больше не мучаются, они отмучились.

– Что же нам делать с тобой? – спросил Чагатаев.

– Ничего не надо, – сказал Нур-Мухаммед. – Человека нельзя долго мучить, а хивинские ханы думали – можно. Долго – он погибает, его надо – понемногу и давать ему играть, а потом опять мучить…

– Я им могилы рыть не буду, – сказал Чагатаев. – Я не знаю, кто ты: ты чужой, лучше ты уйди отсюда, оставь нас одних.

Нур-Мухаммед потрогал лоб спящей Айдым и затем поднялся с места.

– Мое дело в моей голове, а твое дело – в твоей. Скоро я понесу эту девочку в землю. До свидания.

Он ушел в свою землянку. Чагатаев завернул Айдым в траву и в циновку и быстро понес ее к матери и к Молле Черкезову: пусть ей дают пить время от времени и укрывают от ночного холода. А сам Чагатаев сразу же отправился в Чимгай, куда было сто или полтораста километров. Он шел через сухие русла, протоки, камыши и через дебри смешанных растений весь остаток дня, всю ночь и еще целый день, ободравшись и обнищав в дороге, блуждая и тяготясь нетерпением, темнея умом, пока не лег где-то лицом в мякоть мха. Потом он проснулся и увидел невдалеке большие развалины; он подошел к глиняным оплывшим стенам. Высокое солнце скопляло зной под старыми стенами; сон и забвение, беспамятство душного воздуха исходили из-под стен, где старела сухая глина. Чагатаев

прошел внутрь укрепления, через то обрушенное место, где паводковые воды сделали в стене промоину. Там было еще более душно от затишья; жара неба собиралась в одно гнездо, заросшее огромными травами с толстыми сальными стволами, потому что их здесь некому было есть и они росли ради одного своего наслаждения. Чагатаев с ненавистью глядел на эти жирные растения, выискивая под ними какую-нибудь мелкую съедобную траву. Он нашел чьи-то небольшие разбитые кости: их рубили, чтобы получился гуще навар, или рассекли саблей несколько раз, если это был человек. Далее он увидел еще несколько костей и целую половину человеческого скелета вместе с черепом; этот человек скончался лицом вниз, и ребра его разошлись в стороны, как для посмертного дыхания, а одно ребро уперлось своим острием в смятый красноармейский шлем, уже сопревший теперь и проросший бледной травой. Чагатаев выпростал его из-под ребра; на шлеме еще сохранилась тень пятиконечной звезды, и внутри шлема, по надлобной полоске материи, имелась надпись химическим карандашом: «Ораз Голоманов» – имя павшего красноармейца. Чагатаев почистил шлем и надел его себе на голову, а свою фуражку положил на череп Голоманова. В глиняной стене, изнутри крепости, вероятно, штыком Голоманова или другого красноармейца, кости которого лежали где-нибудь врозь по земле, были вырезаны слова: «Да здравствует юлдаш революции!» – и штык резал глину слишком глубоко, для того чтобы время, ветер и дождь не заровняли и не смыли след этой надежды мертвых и живых. Должно быть, в тридцатом или тридцать первом году здесь находился красноармейский отряд, бившийся с бас-

мачами, с войсками хивинских и туркменских рабовладельцев, и Голоманов с товарищами остался здесь и сотлел в спокойствии, как будто он был уверен, что непрожитая жизнь его будет дожита другими так же хорошо, как им самим. Чагатаев насыпал травы с землей на скелет Голоманова, чтоб орлы или одинокие звери не растаскали его кости, и ушел своим направлением на Чимгай.

В Чимгае он купил ящик с колхозной аптекой и достал через райком несколько десятков хинных порошков, но знал, что эти пособия слабо помогут его народу, который нуждается более всего в другой, еще не существующей жизни, которую можно терпеть, не умирая. На всякий случай он зашел еще на почту – спросить, нет ли ему писем из Москвы, может быть, есть. Внутри почтового помещения висели плакаты с изображением дальних авиационных сообщений, на наклонных столах под стеклом лежали образцы правильных почтовых адресов – в Москву, в Ленинград, в Тифлис, как будто все местные люди пишут письма только в эти пункты и тоскуют только по этим прекрасным городам.

Чагатаев обратился в окно «До востребования», и ему дали простое письмо из Москвы, которое было сюда переслано из Ташкента заботливыми работниками ЦК партии Узбекистана. Писала Ксения: «Назар Иванович Чагатаев! Ваша жена, моя мама Вера, умерла во Второй клинической больнице, в г. Москве, от родов девочки, которая когда родилась, то была мертвой, и я видела ее тело. Девочку сложили в больнице в один гроб с мамой Верой, вашей женой, похоронили в земле на Ваганьковском кладбище, не очень далеко от писателя Батюшкова. Я два раза ходила к

могиле, постояла и ушла. Когда вы приедете, то я вам покажу, где находится могила. Мама велела мне вас помнить и любить, я вас помню. С пионерским приветом Ксеня».

Туркменская девушка выглянула из окна «До востребования» и сказала:

– Обождите, вам еще телеграмма есть, ей шесть дней.

И она дала Чагатаеву ташкентскую телеграмму: «Письмо смерти жены прочтено ввиду трудности сообщения с вами. Извиняемся. Разрешается выехать на месяц в Москву потом вернуться привет Орготдел Исфендиаров. При недоставлении течение двадцати дней возвратить Ташкент отправителю».

Чагатаев спрятал письмо и телеграмму, взял ящик с колхозной аптекой и ушел из почтовой конторы. Чимгай был ничтожен – слепые дувалы и глиняные жилища находились почти незаметно среди окружающего свободного пространства пустого мира. Чагатаев купил в чайхане ячменных лепешек и через пять минут был уже вне города, на ветру своей дороги; солнце горело высоко и обильно, и все же его свет не мог согреть человеческое сердце до состояния счастья. Чагатаев перестал думать; он всматривался в разные подорожные предметы – в стебли мертвой травы, упавшей с чьей-то арбы, в куски переваренной пищи осла, в русский ветхий лапоть, неизвестно с какого дальнего странника; остатки и следы чужой жизни или деятельности отвлекали Чагатаева от собственной мысли. Наконец он увидел небольшую черепаху: она лежала с высунутой опухшей шеей, с беспомощно выпущенными лапками, не храня себя более под панцирем, – она умерла здесь, при дороге. Чагатаев поднял ее и рассмотрел. Затем

отнес в сторону и закопал в песок. Эта черепаха была теперь ближе к его покойной жене Вере, чем он сам, и Чагатаев остановился в недоумении. Он сел на землю с ослабевшим сознанием, не понимая, что он живет и действует с известной целью; чужды и скучны были перед ним обычные явления природы; больше не нужно ему было никакое зрелище и наслаждение, и он с отвращением бросил ячменные лепешки, нагревшиеся в руке, а потом закричал, как в детстве, когда был выведен матерью из Сары-Камыша, и стал искать глазами кого-то в этом незнакомом месте, кто его услышит и явится к нему, – как будто за каждым человеком ходит его неустанный помощник и только ждет, когда наступит последнее отчаяние, чтобы показаться… Вдали, в тишине, словно за мертвым занавесом, в близком, но другом мире, что-то постоянно гукало. Звук не имел значения и определенности. Чагатаев вслушался; он вспомнил, что эти звуки были ему знакомы и раньше, но он никогда не понимал их и пропускал мимо внимания. Звуки повторялись опять, они шли редко, с мертвыми паузами, одолевая пустые места пустоты, – будто капала влага огромными леденеющими каплями, будто изредка кратко звал рожок, который уносили все дальше по синим лесам, или шло большое звездное время, что безвозвратно проходит, считая свои отмирающие части, а может быть, эти звуки раздавались гораздо ближе – внутри самого тела Чагатаева, и они происходили от медленного биения его собственной души, напоминая собой ту главную жизнь, которая сейчас забыта им, задушена горем в сжавшемся сердце…

Чагатаев встал и быстро пошел в поселение своего

народа. К вечеру он настолько утомился, что уснул, не спрятавшись в какую-нибудь теплую расщелину земли, и всю ночь слышал неясный гул, разное волнение вокруг, тревожное движение природы, верящей в свое действие и назначение.

На вторую ночь он уже был в пределах камышовых дебрей, вблизи всех своих родных. Он думал, что народ джан сейчас уже спит, и пусть хотя бы во сне он не голодает и не мучается, пусть ночь идет долго, если утром он опять должен, чтобы не умереть, иметь хоть слабое представление о действительности, которое не больше сновидения. Поэтому по ночам Чагатаев обыкновенно меньше беспокоился: он понимал, что спящим жить легче, и мать его сейчас не помнит ни его, ни себя, а маленькая Айдым лежит, согреваясь сама собой, как счастливая, не нуждаясь ни в ком.

Он шел медленно, точно отдыхая, миновал низкий саксаульник, перешел через мелкую протоку; поздняя худая луна освещала текущую воду, постоянно трудящуюся без всякого одобрения. Над древней караванной дорогой, уходящей мимо Хивы в Афганию или дальше, стояла мерцающая пыль от света луны. Это было непонятно Чагатаеву. Та дорога лежит брошенной уже целые века, она идет по твердым, набитым пескам и лишь в одном месте проходит по лессовому насту, где сейчас, наверно, сухо и подымается густая пешеходная пыль. Верблюды и ослы так не пылят, их пыль подымается выше, и она сгущается в хвосте каравана. Чагатаев оставил свой путь и пошел наперерез через дикие места в южном направлении, чтобы увидеть, кто идет там, где никого не должно быть. Он долго

пробирался сквозь чащу камыша, увязая в трясине, отводил руками колючие благоухающие кустарники, пока не вышел на сухой, чистый, обдутый ветрами курган, под которым лежал в своей могиле какой-нибудь забытый археологический городок.

Старая дорога окружала этот курган по его подножию и скрывалась затем на юго-восток – в Китай и Афганистан, во тьму. Неизвестные пешеходы сюда еще не подошли, они двигались тихо, их было совсем не слышно, – может быть, они свернули с дороги или возвратились назад либо легли спать на землю. Чагатаев пошел им навстречу; он не ожидал увидеть ничего счастливого или удивительного, он знал, что пылить при лунном свете могли звери, вышедшие от бедствия из глубокой дельты Амударьи, чтобы дойти до дальних оазисов, до колхозов, чтобы там наесться мясом овец.

Но навстречу ему шли люди. Чагатаев прилег в стороне от дороги и увидел их всех. Районный уполномоченный Нур-Мухаммед вел за руку слепого Моллу Черкезова; позади их шла мать Чагатаева и перебирала маленькими ногами Айдым. Далее были другие люди, и среди них старый Суфьян, бормочущий Назар Шакир, его жена, которую он любил, как единственный дар своей жизни, затем Дурды рядом с женой – всего человек четырнадцать, может быть – восемнадцать. Остальной народ, наверно, не мог проснуться или потерял силу и желание передвигаться.

Гюльчатай несла завернутые в плащ своего сына корни камыша на будущую пищу; Айдым волокла по земле за конец стебля связку съедобных трав; Назар Шакир держал на голове большой сверток из одеял; Молла Черкезов левой

рукой держался за Мухаммеда, а правой искал что-то в воздухе, – у всех их глаза были закрыты, они шли дремлющими, некоторые шептали или бормотали свои слова, привыкнув жить воображением. Один только Нур-Мухаммед глядел вперед открытыми глазами, сознавая ясно весь мир. Он курил травяную крошку, свернутую в высушенный лист болотного тростника, и молчал.

Чагатаев вышел к Мухаммеду и спросил его: куда он ведет людей?

Нур-Мухаммед поздоровался с Чагатаевым и ответил:

– Какие люди?.. Их душа давно рассеялась, им все равно – живут они или нет.

Он продолжал идти. Чагатаев пошел рядом с ним. Мухаммед улыбнулся про себя и посмотрел в сторону: даже во тьме окружающая природа была жалка и ненавистна ему, а позади его шли почти несуществующие люди.

Дорога окружала небольшой курган, на котором только что был Чагатаев. Он с новой мыслью поглядел на этот земляной холм, под которым тоже лежал какой-нибудь небольшой народ, перемешав свои кости, потеряв свое имя и тело, чтобы не привлекать больше к себе никаких мучителей. Рабский труд, изможденне, эксплуатация никогда не занимают одну лишь физическую силу, одни руки, нет – и весь разум и сердце также, и душа выедается первой, затем опадает и тело, и тогда человек прячется в смерть, уходит в землю, как в крепость и убежище, не поняв, что жил с пустыми жилами, отвлеченный и отученный от своего житейского интереса, с головою, которая привыкла лишь верить, видеть сны и воображать недействительное. Неужели и его народ джан ляжет вскоре где-нибудь вблизи и ветер

покроет его землей, а память забудет, потому что народ не успел ничего воздвигнуть из камня или железа, не выдумал вечной красоты, – он лишь копал землю в каналах, но течение воды вновь их заносило, и народ опять рыл наносы и выкидывал лишний грунт из воды, а затем мутный поток осаживал новый ил и опять бесследно покрывал их труд.

– А где остальные – они спят? – спросил Чагатаев у Нур-Мухаммеда.

– Нет, они отстали, но идут за нами по следу; потом дойдут.

Айдым, бывшая близко около передних людей, упала во сне и осталась лежать. Чагатаев услышал это и оглянулся; позади лежали еще два тела заснувших людей.

– Пусть! – сказал ему Мухаммед. – Потом очнутся и догонят.

Но Чагатаев взял Айдым на руки и понес ее. Она спала и не дрожала от лихорадки, наверно, болезнь ее оставила. Несмотря на травяную еду, на болезнь, тело ее не было худым, оно забирало в себя все полезное даже из сухих тростей камыша и было приспособлено жить долго и счастливо.

– Куда ты их ведешь? – спросил Чагатаев у Нур-Мухаммеда.

– В Сары-Камыш, на родину, – ответил Нур, – где они раньше жили.

– Зачем?

– Пусть движутся куда-нибудь… Я их веду дальней дорогой – кругом разлив. Кто ходит – тому всегда легче.

– А больные? – спросил Чагатаев.

– Они тоже идут понемногу. От дороги они выздоровеют – мы оставили болота, и лихорадки не будет.

Чагатаев не верил доброму намерению Мухаммеда. Он не знал даже, почувствуют ли больные здоровье, если их разум так давно отвлекся от своего интереса и сердце привыкло томиться. По той же причине они и болезнь и страданье переносили безмолвно и бесчувственно, как будто это было не их делом. Чагатаев отстал от Мухаммеда, чтобы поглядеть на свою мать. Айдым покойно спала на его руках; Гюльчатай открыла глаза, когда к ней подошел Назар, и ничего ему не сказала; за ее руку держался слепой Молла Черкезов, слабый и блаженный. Мать рассеянно глядела на сына, которого она знала, но не помнила, если его не видела вблизи. Назар продолжал смотреть на мать, и она отвела свои глаза от него, потому что ей стыдно было жить перед сыном, будучи слабой и несчастной; она хотела бы любить его своей прежней, забытой силой, но сейчас не могла, сейчас в ней хватало сердца только для своего дыхания, и ей нравился красноармейский шлем на сыне, она думала, что надо взять его себе в подарок, чтобы согревать в нем свою голову во сне.

Позже бредущий народ встретил на своей дороге сухой, теплый песок и лег в него дремать до утра. Чагатаеву спать не хотелось; он уложил Айдым между матерью и Моллой Черкезовым и остался один, не зная, как ему пробыть до утра. И он, то скучая, то улыбаясь, бормотал про себя слова, проживая жизнь как ненужную.

10

К утру подошли те, кто вчера упал на дороге или отстал от слабости, и все опять пошли вслед за Нур-Мухаммедом.

Айдым теперь шла сама и даже смеялась с Чагатаевым. Он пробовал ее лоб, – жара в ней не было, хотя ей достаточно, чтобы температура упала на полградуса, и тогда она снова становилась живой и резвой. В полдень старый Суфьян увел Чагатаева в сторону от сухой дороги. Он сказал ему, что близ амударьинских протоков еще можно встретить иногда две-три старых овцы, которые живут одни и уже забыли человека, но, увидя его, вспоминают давних пастухов и бегут к нему. Эти овцы случайно выжили или остались от огромных одичалых стад, которые баи хотели угнать в Афганистан, но не успели. И овцы прожили вместе с пастушьими собаками несколько лет; собаки их стали есть, потом подохли или разбежались от тоски, а овцы остались одни и постепенно умирали от старости, от зверей, заблудившись в песках без воды. Но редкие из них выжили и теперь бродили, дрожа, друг около друга, боясь остаться в одиночку. Они ходили большими кругами по бедной степи, не сбиваясь в сторону со своей круговой дороги; в этом был их жизненный разум, потому что съеденные и затоптанные былинки травы вновь зарождались, пока овцы миновали остальной свой путь и возвращались на прежнее место. Суфьян знал четыре такие кочевые травостойные круга, по которым ходили до своей смерти остаточные овцы от одичавших, вымерших стад. Одно из этих кочевых колец пролегало невдалеке, почти на пересечении той дороги, по которой народ джан шел теперь в Сары-Камыш.

Суфьян и Чагатаев дошли до малой влажной впадины в песке и остановились. Суфьян разрыл руками песок в глубине, он там был мокрый; старик сказал, что овцы раз-

гребают передними ногами землю и затем жуют сырой песок, утоляя жажду, – здесь и надо ожидать овец: он знал время, в которое они обходят весь свой круговой путь, и высчитал, что срок их пришел явиться сюда; прошлый год он ходил вслед за овечьим стадом и доходил до здешнего места. Овец в стаде тогда было около сорока голов, из них Суфьян съел шесть, семеро овец пали по пути, а остальные ушли дальше.

Нур-Мухаммед подвел народ тоже сюда, где ожидали овец Чагатаев с Суфьяном, и все легли и задремали около овечьей тропинки, где овцы в прошлом году жевали сырой песок. Все люди снова спали, хотя до вечера еще было далеко и с утра немного прожито времени. Чагатаев один ходил между спящими и боялся, что больше никто не проснется; ему скучно было томиться в одном себе своими мыслями и воспоминаниями. Он подошел к Айдым, – она спала со сладко слипшимися веками глаз, с улыбкой беспамятства или сновидения. Не имея радости в действительности, она получала ее в своем чувстве и представлении, закрыв глаза. Молла Черкезов спрятал голову в грудь матери Чагатаева, прижался к ней и спал в любви и тепле, не помня, что он слепой. Нур-Мухаммед лежал в стороне; он шевелился на земле и шептал что-то.

– Ты что здесь думаешь? – спросил его Чагатаев.

– Больше сорока человек осталось, – произнес Мухаммед. – Много еще!

Он считал народ – сколько его умерло, сколько еще живо.

Чагатаев потолкал Суфьяна: старик не спал, он только держал закрытыми глаза, точно берег зрение и не желал

рассеиваться душой среди впечатлений видимого дневного мира. Чагатаев сказал ему, что у него умерла в Москве жена, но Суфьян не разделил его горя, он промолчал, а затем сказал, чтобы Чагатаев пошел встретить овец – они могут найти влажный песок в другом месте и пройти стороною от лежащего народа.

Гюльчатай проснулась. Она теперь сидела, держа на коленях голову спящего Моллы Черкезова. Чагатаев пошел к матери, чтобы поговорить с ней, но ничего ей не сказал. Он сам догадался, что обращается к старику и к матери лишь для того, чтобы услышать от них утешение и прожить дальше. Но разве в том его существование, чтобы беречь себя здесь в душевном покое, в сожалении близких людей!.. Он зря не написал открытку Ксене – оттуда, где была почта, – чтобы она пошла в ЦК, если ей плохо будет жить без матери, когда он, ее отец, находится далеко и, может, не вернется для помощи.

Чагатаев погладил простоволосую голову Гюльчатай и надел ей красноармейский шлем, потому что от сильного солнца у матери должна болеть голова. Мать сняла шлем и спрятала его под себя; она верила в имущество и берегла его – от этого у нее и сейчас была кофта раздута, внутри ее на голом теле лежали различные вещи, ее собственность, согревающая ей грудь. Вблизи матери лежала киргизка лицом в песок. Она спала и вскрикивала во сне детским голосом, закатываясь иногда в младенческом плаче и затем опять отходя к спокойствию и к ровному дыханию. Чагатаев приподнял ее лицо за виски и увидел, что это была пожилая женщина, и рот ее не открывался, когда она закатывалась в детском обмирающем крике. Казалось,

внутри ее плакал ребенок, невинный другой человек, и он настолько был одинок и чужд для нее, что даже не будил ее ото сна, – или это плакала ее действительная, детская душа, неизменная и еще не жившая.

Чагатаев опустил голову женщины обратно на землю и пошел навстречу блуждающим овцам. Сначала он шел обыкновенно, но потом, когда день стал покрываться ночью, он побежал скорее вперед, чтобы не пропустить овец во тьме. Изредка он останавливался и дышал для отдыха, но потом опять спешил. Когда стало совсем темно, Чагатаев бежал, низко согнувшись, чтобы видеть немного редкие былинки травы и касаться их руками, – это было направление, где могли ходить овцы; иначе он мог бы сбиться в сторону, попасть в голодные пески и не заметить бредущих овец.

Он бежал долго по пустой овечьей дороге. Наступила, может быть, полночь или позже. От усталости и горя, которого он не сознавал, но оно все равно самостоятельно томило его сердце, от прохладного, слабого ветра Чагатаев потерял память на ходу, – он заснул, упал и не мог подняться. Он спал глубоко, один в пустыне, в бедной тишине, где нечему шевелиться. Черные стебли небольшой травы редко, как сироты, стояли вокруг спящего, точно жалея, что он встанет и уйдет, а им придется быть здесь опять одним.

На рассвете Чагатаев открыл глаза, его сознание чуть засветилось и опять погасло, он снова заснул, чувствуя тепло и забвение. Две овцы лежали по бокам Чагатаева и согревали его своим теплом. Другие овцы стояли вокруг в ожидании, когда человек поднимет лицо. Их было голов сорок, они давно соскучились по пастуху и теперь нашли

его. Старый баран время от времени подходил к лежащему Чагатаеву и осторожно лизал его шею и волосы на затылке, баран любил запах и соленый пот человека, но давно его не пробовал. Баран поворачивался туловищем во все стороны, желая увидеть собаку пастуха, но ее не было. Он устал водить овец, мирить их на водопое, сторожить по ночам от одинокого зверя – он помнил прежнее доброе время, когда пастух и его собаки управлялись со всеми заботами, а ему приходилось только покрывать овец и спать среди них без ума, в утомлении. Теперь же он стал умным, худым и несчастным, а овцы ненавидели его за слабость сил и за равнодушие к ним и тоже вспоминали пастухов и собак, хотя собаки, устанавливая порядок среди них на водопое, рвали иногда клочья из их шерсти, которую они с трудом нажили в пустынной траве. Баран жил обиженно, он хотел стать собакой и даже пытался рвать ртом шерсть на овцах, захватывая ее беззубыми деснами.

Проснувшись, Чагатаев погнал овечью отару к своему народу и дошел до него к вечеру. Народ дремал по-прежнему, одна Айдым играла в песок, проводя в нем реки и дороги. Чагатаев разбудил людей и велел им идти собирать саксаульник и мертвую сухую траву, чтобы зажечь огонь и сварить овечье мясо на пищу. Суфьян с охотой стал резать под горло овец и первым отпивал кровь из горловых жил, а потом нацеживал ее в миску и давал пить другим, кто хотел. Очередные живые овцы стояли возле и внимательно глядели на убийство, не беспокоясь о себе, точно жизнь для них не имела преимущества. Баран же находился в отдалении, среди отары уцелевших овец, и подымал голову, чтобы лучше видеть действия Суфьяна.

Когда осталось в живых лишь тридцать овец и четыре костра уже горело на становище, а многие овцы лежали голыми тушами, с худыми ляжками, с отверстиями в своих телах, полными крови и смертной жидкости, – баран закричал и повернул голову в пустое направление степи. Он давно жил среди овец и бывал как муж внутри тех мертвых, которые теперь лежали, – он знал худобу их костей и теплоту цельного, смирного тела.

Чагатаев не велел резать больше десяти голов, остальные пусть живут на племя и на питание в будущее время. Баран остался цел, он отошел и лег вдалеке, и к нему подобрались все живые овцы. Худые и опытные от дикой жизни, они сейчас издали походили на собак.

Туши начали запекать на кострах целиком, без разделки на части, и, обжаривши их, клали в сторону на песок. Затем началась еда. Люди ели мясо без жадности и наслаждения, выщипывая по небольшому куску и разжевывая его слабым, отвыкшим ртом. Лишь один Нур-Мухаммед ел много и быстро, он отрывал себе мясо пластами и поглощал его, потом, наевшись, глодал кости до полной их чистоты и высасывал мозг изнутри, а в конце еды облизал себе пальцы и лег на левый бок спать для пищеварения. Женатые отошли спать в сторону со своими женами, Молла Черкезов тоже увел далеко мать Назара, одинокие же и сироты остались вокруг потухших костров – они настолько ослабели и так глубоко уснули, словно съеденная ими пища сама в отомщение изнутри поела их силы и они были побеждены ею.

Ночью Чагатаев ходил по становищу, он сосчитал

живых овец с одним бараном, собрал овечьи шкуры и головы в общее место и стал смотреть в ночную мглу: что там делает сейчас Ксеня – далеко за этой тьмой, в электрическом свете Москвы; и где лежит мертвая Вера, что там осталось в земле от ее робкого большого тела… Чагатаев пошел мимо спящих; народ лежал на песке непокрытый, как будто он был целиком перебит и не оставил себе могильщиков. Но некоторые мужья и жены шевелились, любя друг друга. Молла Черкезов тоже лежал с Гюльчатай. Чагатаев увидел это и заплакал. Он не знал, что ему делать здесь сейчас, чтобы научить этот небольшой народ социализму. Он уже не мог его оставить одного умирать, потому что его самого, брошенного матерью в пустыне, взял к себе пастух и советская власть и неизвестный человек прокормил и сберег его для жизни и развития.

Больные и слабые дремали в жару. Двое из них уснули с овечьими костями в руках, которые они обсасывали перед сном, чтобы набраться сил. Чагатаев сходил в песчаную влажную яму, разгреб песок и образовал маленький колодезь; когда в него собралась вода, он пошел к больным, разбудил их и дал каждому по хинному порошку, а затем сбегал несколько раз к песчаному колодцу и принес воды в пригоршне, чтобы дать запить лекарство.

Стало уже поздно. Чагатаев озяб, прилег к одному наиболее горячему больному, желая согреться об его тело, и уснул. Наутро баран и все овцы исчезли. Судя по следам, они ушли в открытые пески, оставив свою обычную кормовую дорогу.

Суфьян сделал расчет в уме и сказал, что эти овцы неминуемо возвратятся на свою кормовую дорогу либо набредут на другую, что проходит далее, через Каракумы, большой окружностью. Но обе эти кочевые дороги выходят на грязные озера Сары-Камыша, невдалеке от которых находится родина всего народа джан, и овцы рано или поздно выйдут на Сары-Камыш во впадину вечной тени и увидят темные горы Усть-Урта, где многими, кто здесь находится, была прожита вся жизнь. Нур-Мухаммед согласился с Суфьяном.

– Мы пойдем за ними, – сказал он. – Мы будем пить их кровь и есть их мясо. Через семь или восемь дней мы дойдем до Сары-Камыша… Кто-нибудь умер сегодня ночью? – спросил Нур-Мухаммед.

Ему ответили, что умерла одна старуха каракалпачка, и Нур-Мухаммед с тщательностью сделал отметку в своей записной книжке. Чагатаев не помнил этой старухи и не видел ее – она ночевала одна, уйдя далеко от общего стана, и там умерла спокойно.

Народ пошел длинной чередою по следу бежавших овец. Больные и слабые шли позади и часто садились на отдых, отпивая воду из домашних бурдюков. Чагатаев шел позади всех, чтобы никто не пропал и не умер незаметно. Животные, вероятно, бежали быстро; это разгадал Суфьян по виду овечьих следов, и так же думал Чагатаев. Он выходил на высокие барханы и до последнего горизонта не замечал даже самого слабого облака пыли от движения стада – овцы ушли слишком далеко.

Старая хивинская рабыня-туркменка дала Чагатаеву тряпку, отодрав ее от своего подола, и Чагатаев повязал себе голову, страдая от солнца. Народ шел терпеливо; Айдым выздоровела вовсе и повеселела – для нее, ничего не знавшей, здесь было достаточно предметов для всех чувств и впечатлений. Когда она уставала, Чагатаев брал ее на руки, и она могла спать у него на плече, вскрикивая иногда и бормоча свои страшные сны. Но какое сновидение питало сознание всего этого бредущего народа, если он мог терпеть свою судьбу? Истиной он жить не мог, он бы умер сразу от печали, если бы знал истину про себя. Однако люди живут от рождения, а не от ума и истины, и пока бьется их сердце, оно срабатывает и раздробляет их отчаяние и само разрушается, теряя в терпении и работе свое вещество.

До поздней и дальней ночи народ не догнал овец. Наутро Нур-Мухаммед опять спросил – кто умер за ночь или все остались живы? Умер только мальчик у одной матери, и Мухаммед с удовлетворением сделал вычитание погибшей души в своей записной книжке. Теперь в народе осталось всего двое детей – Айдым и еще небольшая девочка, рожденная случайно года три назад, когда в народ пришел какой-то человек из песков и, пожив с полгода, ушел дальше, оставив свою плоть в Гюзель, вдове разбойника из района Старого Ургенча.

На второй день народ увидел две овцы, лежавшие на дороге; они ослабели в бегстве и болезни и теперь умирали. Их поредевшая шерсть слиплась от лихорадочного пота, худощавые морды глядели злобно и дико – они теперь походили на шакалов, – а в хвостах у них не осталось ни-

какого жира. Овец сразу убили, чтобы застать их еще живыми, и съели, не разводя огня, а кости разделили и унесли с собою на ужин. В следующие два дня не было другой пищи, кроме редких травяных былинок, вода же встретилась два раза в такырных ямах.

Народ двигался теперь только вечером и утром, а днем от слабости и жары закапывался в песок и спал. Нур-Мухаммед ежедневно отмечал умерших, а Чагатаев проверял их смерть, прислушиваясь к сердцу и наблюдая глаза, потому что однажды Суфьян и еще другой старик, ферганский раб Ораз Бабаев, притворились мертвыми. Но Чагатаев расслышал сквозь кости их глухое, далекое сердце, поднял на ноги и велел жить дальше.

– Зачем вы хотели умереть? – спросил их Чагатаев.

– У нас душа занемела от жизни, – сказал Суфьян, – кости ссохлись и согнулись, жилы сморщились: они потянуться захотели, пускай их дождь помочит, ветер посушит, черви пожуют, а то я им мешаю…

Ораз Бабаев стоял без ума, пусто глядя на Чагатаева, и не мог вначале ничего сказать; он, наверно, все равно считал себя умершим.

– Нам не живется, – сообщил он вслух, – мы каждый день пробовали.

– Ничего, мы вместе научимся, – сказал им Чагатаев.

– Немного потерпим, – согласился Суфьян, – а потом нечаянно все помрем.

Русский старик, по имени Старый Ванька, подошел к Суфьяну, попробовал его горло, разверз веки и заглянул внутрь каждого его глаза, потом ощупал ему ребра и сказал тогда:

– Чего ты! Только заматерел, а уж помираешь! Терпи: поживем, побьемся, да и меду в кадушках дождемся – с толстым ломтем подойдем да макнем…

Русский отошел, улыбаясь. Почти ежедневно, в течение шестидесяти лет, жизнь его должна окончиться, но он ни разу еще не умер и теперь разуверился в силе смерти и всякой беды, живя спокойно и равнодушно, как счастливый и бессмертный. Чагатаев знал, что Старый Ванька некогда – лет тридцать тому назад – прибежал сюда из сибирской каторги, прижился к неродному народу и жил себе одинаково со всеми, не помня больше дороги в Россию.

Ночью пошел пустынный темный ветер, песок тоже побрел за тем ветром и постепенно закрыл навсегда овечьи следы. Чагатаев понял здесь жизнь. Рано утром он отошел от спящих и дремлющих, когда понял, что овечье стадо ушло теперь вовсе, идти за ним стало бессмысленно и ослабевший народ очутился среди пустыни, без еды и без помощи – у него не хватит сил достигнуть Сары-Камыша и он уже не сможет вернуться назад, в разливы Амударьи.

Утренний странный ветер дул Чагатаеву в лицо, песчаная поземка кружилась в подножье человека и стонала, как русская вьюга за ставнями избушки. Иногда же слышался жалобный звук жалейки, иногда играла гармония, дальняя труба или, чаще всего, бедная глухая дутара. Это пели пески, мучимые ветром, когда одна песчинка истиралась о другую. Чагатаев лег на землю, чтобы задуматься о дальнейшей своей работе; не для того его послали сюда, чтобы он умер здесь сам и оставил своему народу его смертную участь… Он попробовал рукою свое лицо; оно

обросло волосами, в голове завелись вши, немытое худое тело скорбело от запустения. Чагатаев подумал о себе как о жалком, скучном человеке. Кто его помнил сейчас, кроме Ксени? Но и та, наверно, уже стала забывать: юность сейчас слишком воодушевлена своими счастливыми задачами. Чагатаев уснул в беспокойном песке, отдельно и довольно далеко от всех непроснувшихся людей. Все в нем замерло, глубоко и надолго, затаилось внутри тела, отжило на время, чтобы не умереть совсем. Он проснулся во тьме, полузасыпанный песком; ветер все еще дул, и была уже новая ночь. Он проспал весь день. Чагатаев пошел на общее становище; народа там не было. Все люди давно проснулись и ушли дальше, скорее от смерти. Лежал только один Назар-Шакир; потому что он умер и теперь открыл рот, в котором говорил теперь что-то ветер и песок. Чагатаев, набредя на мертвого, долго ощупывал его и проверял действительность смерти, потом закрыл всего человека песком, чтобы он стал никому не заметен.

Чагатаев шел всю ночь; иногда он, наклонившись, видел следы прошедшего народа, иногда, когда следы уже стравил ветер, шел по чувству.

Утром Чагатаев заметил по местности, что здесь должна быть вода, и он нашел заглушенный колодец, забитый песком. Назар дорылся руками до влажной глубины и начал жевать песок, но сплевывать приходилось больше, чем получать внутрь; тогда он стал глотать мокрый песок целиком, и мученье жажды оставило его. В следующие четыре дня Чагатаев старался идти вперед по пустыне, но от слабости уходил недалеко и вновь возвращался на мокрый песок, чтобы, изнемогая от голода, не умереть от

жажды. На пятый день он остался на месте, решив набраться сил в дремоте и беспамятстве, а затем догнать свой народ. Он съел два оставшиеся у него хинных порошка и разные карманные крошки, отчего ему стало лучше. Он понимал, что народ его близко, он тоже не имел сил уйти от него далеко, только неизвестно было направление его пути. Чагатаев представлял себе, с каким тайным удовольствием Нур-Мухаммед поставил отметку в своей записной книжке о его смерти. Он улыбнулся своей старой мысли: почему люди держат расчет на горе, на гибель, когда счастье столь же неизбежно и часто доступней отчаяния… Чагатаев зарылся от солнца во влажный песок и пытался впасть в беспамятство для отдыха и для экономии жизни, но не умел и все время думал, жил понемногу и смотрел в небо, где слабым туманом шел жаркий ветер с юго-востока и было так пусто, что не верилось в существование твердого, настоящего мира.

Отлежавшись, Чагатаев пополз к ближнему бархану, где он заметил задутый наполовину песком куст перекати-поля. Он добрался до него, отломил несколько высохших ветвей и сжевал их, а оставшийся куст вырыл из песка и отпустил бродить по ветру. Куст покатился и вскоре исчез за барханами, направляясь куда-то в дальнюю землю. Затем Чагатаев поползал еще по окрестности в несколько шагов и нашел в мелких песчаных могилах весенние засохшие былинки травы, которые он также проглотил, без различия. Скатившись с бархана, он заснул у его подножия, и во сне на его слабое сознание напали разные воспоминания, бесцельные забытые впечатления, воображение скучных лиц, виденных когда-то, однажды, – вся прожитая

жизнь вдруг повернулась назад и напала на Чагатаева. [Чагатаев следил за ним беспомощно и не умел теперь забыть его.] Раньше он думал, что большинство ничтожных и даже важных событий его жизни забыты навсегда, закрыты навечно последующими крупными фактами, – сейчас он понял, что в нем все цело, неуничтожимо и сохранно, как драгоценность, как добро хищного нищего, который бережет ненужное и брошенное другими. Бедный и пожилой человек не исчез из сознания, он все еще бормотал что-то, прося или жалуясь (наверное, он давно умер в действительности), но вот подруга Веры, еле виденная им когда-то, склонилась над Чагатаевым и не уходила, она надоедала, и она мучила собою дремлющего в пустыне человека, и за нею, на глиняном дувале, дрожали тени от серебристой ветви, росшей некогда на солнце – может быть, в Чарджуе, может быть, еще где-нибудь. И еще многие, едкие вечные пустяки в виде сгнившего дерева, почтового отделения в поселке, безлюдной стонущей горы на полуденном солнце, звука пропавшего ветра и нежных объятий с Верой, все это энергично вошло в Чагатаева одновременно и жило в нем неподвижно и настойчиво, хотя в истине, в прошлом, это были текущие, быстро исчезающие факты. В нем же они теперь существовали гораздо более резко и яростно, гораздо навязчивей, чем на правде. В действительности эти предметы жили кротко и не проявляли своего значения, не делали больно совести и чувству человека. Но сейчас они набились толпою в голову Чагатаева, и если от них можно было спасаться в настоящей жизни, хотя бы потому, что время проходит, то здесь события никуда не проходили, а продолжали быть посто-

янно и своей повторяющейся деятельностью точили и протирали кости черепа Чагатаева. Он хотел закричать, но у него не было достаточной силы. Он подумал заплакать, но испугался терять влагу, чтобы не есть потом мокрый жесткий песок. Он прислушался – не звучат ли вдали редкие, капающие, гулкие звуки – за черным мертвым горизонтом, из той темной свободной ночи, где без остатка поглощается последний солнечный свет, как река, впавшая в песчаную пустыню. Он слышал иногда те звуки дальней природы, не зная их причины и полного значения.

Чагатаев поднялся на ноги, чтобы избавиться от сна и от всего мира, застрявшего в его голове, как колючий кустарник; сон сошел с него, но вся страшная теснота воспоминаний и мыслей осталась живому наяву. Он увидел что-то на соседнем бархане – животное или кибитку, но не успел понять, что именно, и упал обратно от слабости. И то, что было на соседнем бархане – животное, или кибитка, или машина, – сейчас же вошло в сознание Чагатаева и начало томить его своей неотвязностью, хотя оно и не было понято и не имело даже имени. Это новое явление, сложившись со всеми прежними, осилило здоровье Чагатаева, и он впал в беспамятство, спасая свою душу.

Проснулся он на другой день в раннее время. Ветер ушел без остатка, всюду стояла робкая тишина, настолько пустая и слабая, что в нее внезапно могла ворваться буря. Тень ночи ушла в высоту и лежала там над миром, выше дневного света. Чагатаев теперь был здоров, ум его прояснился и думал по-прежнему о своих задачах; слабость сил не оставила его, но уже не мучила. Он предвидел, что ему, вероятно, здесь придется умереть и народ его также

потеряется трупами в пустыне. Чагатаев не жалел о самом себе: большой народ жив, и он все равно исполнит всеобщее счастье несчастных; но плохо, что народ джан, изо всех народов Советского Союза наиболее нуждающийся в жизни и в счастье, будет мертв.

– Не будет! – прошептал Чагатаев.

Он стал подыматься, нажимая всем сердцем на свои дрожащие руки, упертые в песок, но сейчас же лег обратно, навзничь: позади его, со стороны затылка, кто-то находился; Чагатаев услышал быстрые, отступающие шаги какого-то существа.

Чагатаев закрыл глаза и взял в кармане рукоятку револьвера в руку; он только боялся, что теперь плохо справится со своим тяжелым оружием, потому что в руке осталась лишь младенческая сила. Он лежал долго, не шевелясь ничем, притворяясь умершим. Он знал многих зверей и птиц, которые поедают мертвых людей в степи. Наверно, позади народа – в невидимом отдалении – все время молча шли дикие звери и съедали павших людей. Овцы, народ и звери – тройное шествие двигалось в очередь по пустыне. Но овцы, теряя травяную полосу, иногда начинают идти за блуждающей травой перекати-поле, которую гонит ветер, и поэтому ветер является всеобщей ведущей силой – от травы до человека. Наверно, надо было идти по ветру, чтобы догнать овец, но Нур-Мухаммед ничего не знает, а Суфьян соскучился жить и больше не думает.

Чагатаеву хотелось сразу вскочить, выстрелить в зверя, убить его и съесть, однако он боялся, что промахнется от слабости и навсегда распугает от себя зверей. Он решил

допустить зверя до самого своего тела и убить его в упор.

Легкие, осторожные шаги все время раздавались позади головы Чагатаева, то приближаясь, то удаляясь. Сократив дыхание, Назар ждал, когда бросится на него крадущееся существо, еще не уверенное в его смерти. Он беспокоился лишь, чтоб зверь не впился сразу ему в горло или, получив рану, не убежал далеко. Шаги послышались теперь рядом с головой. Чагатаев потащил немного револьвер из кармана наружу, уже чувствуя в себе хорошую силу, собранную изо всех остатков жизни. Но шаги прошли мимо его тела и удалились. Назар приоткрыл глаза; дальше его ног медленно шли две большие птицы, отдаляясь от него на противоположный бархан. Чагатаев никогда не видел таких птиц, они походили одновременно и на степных орлов-стервятников, и на диких темных лебедей; клювы их были как у стервятников, но толстая, могучая шея длиннее, чем у орлов, а прочные ноги высоко носили нежное, воздушное лебединое туловище. Сложенные черные крылья у одной птицы были сплошного серого цвета, а у другой – с красными, синими и серыми перьями; это, вероятно, самка; брюхо обеих птиц было выпущено белым, снежным пухом – Чагатаев заметил даже сбоку у самки мелкие черные точки; это блохи впились в живот птицы сквозь пух. Обе птицы чем-то походили на огромных птенцов, которые еще не привыкли жить в своем теле и двигались с осторожностью.

День стал жарким и заунывным, по песку закручивались мелкие смерчи, вечер еще высоко стоял на небе, над светом и теплом. Две птицы взошли на бархан против Чагатаева и сразу оглянулись на него дальновидными, ра-

зумными глазами. Чагатаев следил за птицами из-под неплотно закрытых век, он разглядел даже серый редкий цвет их глаз, глядевших на него с мыслью и вниманием. Самка почистила клюв о когти ног и выплюнула изо рта какой-то давний объедок, может быть, остаток расклеванного Назар-Шакира. Самец поднялся в воздух, а самка осталась на месте. Громадная птица низко полетела в сторону, затем несколькими прыжками на крыльях взлетела в высоту и сразу стала падать оттуда. Чагатаев почувствовал ветер в лицо прежде, чем птица достигла его. Он увидел над своим лицом ее белую, чистую грудь и серые расчетливо-ясные глаза, не злые, а думающие, потому что птица уже заметила, что человек жив и видит ее. Чагатаев вынул револьвер, обеими руками поднял его в воздух и ударил из него в падающую ему на голову птицу. Среди груди мчащейся птицы, в белом ее пуху, задуваемом скоростью полета, появилось темное пятно, и вслед за тем мгновенный ветер вырвал весь пух в клочья вокруг черного места попадания, а тело орла на краткое время задержалось в воздухе неподвижно.

Птица закрыла серые глаза, потом они открылись у нее сами, но уже ничего не видели, – она умерла. Она лежала на теле Чагатаева в том же положении, в каком падала: своею грудью на груди человека, головой на его голове, уткнувшись клювом в густые волосы Назара, широко распустив черные беспомощные крылья по сторонам, и ее вырванные перья и пух осыпали Чагатаева. Сам Чагатаев потерял память от удара тяжестью орла, но ранен он не был; птица лишь оглушила его, опасная скорость ее падения была заторможена встречной, пронзающей пулей… Чагатаев

вскочил и сел от резкой боли: вторая птица, самка, рванула клювом его правую ногу, взяв оттуда немного мяса, и сейчас же взлетела в воздух. Чагатаев, держа револьвер обеими руками, дважды выстрелил по ней, но не попал; огромная птица исчезла за барханами, потом он разглядел ее летящей на большой высоте.

Мертвого орла уже не было на Чагатаеве, он лежал в ногах Назара на песке; его, должно быть, стащила самка, желая убедиться, что он погиб, и прощаясь с ним.

Чагатаев подполз к убитой птице и начал есть ее горло, выщипывая оттуда перья. Орлица все еще была видна, но она уже достигла той высоты неба, где даже в полдень стоит тень ночи, сумрак заката и рассвета, и Чагатаеву казалось, что она оттуда уже не возвратится, что там есть своя воздушная счастливая страна улетевших птиц.

Наевшись немного, Чагатаев перевязал ногу мертвой птицы своим поясным ремнем, а другой конец ремня продел себе в глубину штанов – тогда он услышит, если какой-нибудь хищник захочет украсть орла. Потом Чагатаев полечил слюнями рваную ранку на своей ноге, закрыл ее материей и скорее улегся, чтобы приобрести крепость сил.

12

Гюльчатай не жалела о сыне, она забыла его. Согнувшись, она шла следом за другими и трогала руками песок, когда ей казалось, что в нем лежат какие-то вещи. Молла Черкезов держался за одежду Гюльчатай, все время стараясь помнить, что он живой. Нур-Мухаммед, отчаявшись сердцем, взял на руки Айдым; он предполагал воспитать,

откормить эту девочку и воспользоваться ею как женой, а потом продать другому. Его мучило, что слишком мало женщин в народе джан и те, кто были еще живыми, уже стали ветхими, – надежна только одна Айдым, потому что она еще мала. Женщины ценятся дороже мужчин, они служат одновременно и для работы и для утешения, но мужчин тоже можно продать хорошо, если они не перемрут за долгий путь.

В то утро, когда Чагатаева не оказалось на общем становище, Нур-Мухаммед улыбнулся и сделал тщательную отметку в своей книжке об его исчезновении, собирая на всякий случай сведения для составления отчета о командировке. Он решил, что Чагатаев убежал спасаться один, как всякий живой и малодушный, и Нур-Мухаммеду стало лучше без него; люди теперь уже не спрашивали у Мухаммеда, скоро ли они дойдут до Сары-Камыша, и никогда не вспоминали о пище. Сам Нур-Мухаммед тоже мог пасть от слабости, но он еще держался старыми запасами своего тела, потому что много ел риса, мяса и фруктов, когда жил по оазисам и ходил тайно в Афганистан, к давно бежавшему хану Джунаиду.

Суфьян в тот день пошел по ветру, куда несутся вырванные, изжившие жизнь былинки травы и катится перекати-поле; он знал, что в этом направлении и пошли теперь овцы, раз ветер бесследно задул их кормовую тропинку, по которой изредка, оазисами, росла устойчивая трава. За Суфьяном пошли было остальные люди, но Нур-Мухаммед велел им идти в другую сторону – против ветра, на юго-восток. Он прижал к себе Айдым, чтобы ощутить зачатки ее женской груди, но почувствовал лишь ее тонкие ребра.

Нур-Мухаммед оглянулся на всех; ветер раскачивал народ, песчаная поземка била в ноги людей, погибшая трава влеклась навстречу пешеходам – эту траву под самый корень сжал ветер по всему песчаному безлюдью, где прошла его гребущая сила. Некоторые люди упали от ветра, другие шли во сне, разбредаясь в разные стороны, теряя друг друга в сумраке метущегося песка.

Нур-Мухаммед остановился.

Ветер дул со стороны юго-востока ровной гнетущей силой, как из машины. Народ рассеивался под ним и больше не слышал или не признавал голоса Нур-Мухаммеда, звавшего каждого по имени идти за ним вперед. Он сам еле дышал от терпения, от жажды и голода; здравый смысл его разума уже покрывался тенью равнодушия к своей судьбе. Раньше он предполагал увести весь этот ничтожный, ослабевший народ в Афганистан и продать его в рабство старым ханам, а самому прожить счастливо остальную жизнь в собственной, обильной домашним добром курганче, где-нибудь в афганской долине на берегу потока, тогда не надо будет быть членом профсоюза и кооперации, не надо сдерживать в молчании скопляющееся яростью сердце. Теперь Мухаммед, сбиваемый с ног песком и ветром, видел, что народ джан падает или разбредается в беспамятстве: тело каждого человека стало пустым, и сердце постепенно вымерло. Они не дойдут до Афганистана, а дойдя туда, не сумеют быть даже последними батраками, потому что в них не осталось хотя бы слабого житейского интереса, который необходим и для раба.

Нур-Мухаммед стоял долго, пока весь народ не разо-

шелся в сумраке ветра и не свалился там лежать – в смерти или во сне. Айдым укрылась около его горла и тихо дышала в своем забвении. Мухаммед бережно держал ее, а сам с наслаждением, не помня, что ему хочется пить и есть, следил за погибающим народом. Суфьян сел в песок и согнулся. Сгорбленная Гюльчатай давно лежала на земле, и слепой муж ее, Черкезов, укладывался за нею с подветренной стороны, точно ища удобства в супружеской постели. Худой нестарый каракалпак, по прозвищу Таган, снял с себя одежду – штаны и халат, – бросил их по ветру, а сам зарылся голым в песок и там остался, почти невидимый больше. Мухаммеду было хорошо, что в Советском Союзе теперь меньше жителей на целый народ, – пусть этот народ и не знал никто, а все-таки польза для государства уменьшилась, и работники, рывшие некогда целые реки для баев, теперь ничего не будут рыть, даже могилы для самих себя.

Нур-Мухаммед чувствовал сейчас не только удовольствие, но он даже слегка пошевеливался в некотором танце, видя в людях их последний песчаный сон. Он ценил теперь себя дороже, выше, – ему больше достанется добра в пустыне и на всей земле, потому что живых становится меньше. Неизвестно, получил бы он больше наслаждения, когда продал бы весь этот народ в рабство, или теперь, когда потерял его, когда в природе стало просторней, когда сразу закрылись рты наиболее алчных бедняков. Мухаммед решил уйти навсегда в Афганистан и унести с собой Айдым, чтобы продать ее там и оправдать хоть немного свои убытки от работы в Советском Союзе.

Ветер вдруг сразу ослабел, и стало светлее повсюду. Нур-Мухаммед прижал к себе девочку с такой силой, что

Айдым открыла глаза. Он пошел ласкать ее в уютное песчаное ущелье, соскучившись без счастья от чужого тела. Ни голод, ни долгое горе не могли уничтожить в нем необходимость мужской любви, она жила в нем неутомимо, жадно и самостоятельно, пробиваясь сквозь все жесткие беды и не делясь своей силой с его слабостью. Он мог бы обнимать женщину и зачинать детей, находясь в болезни, в безумии, за минуту до окончательной смерти.

Мухаммед нашел укромное место, положил девочку и лег рядом с нею. Айдым опять спала в забытьи. Он снял с нее верхние нечистые тряпки одежды и увидел голое детское существо, столь незнакомое, что страсть его вначале не стала действовать. Айдым была мала, как пятилетняя, и кости ее были обтянуты бледно-синей пленкой, не имевшей никогда достаточной упитанности, чтобы превратиться в настоящую кожу. Однако сквозь эту пленку, почти непосредственно из костей скелета, уже прорастали женские груди и начинали опухать будущие материнские места, не считаясь с бедностью вещества в других частях тела. Наверное, Айдым было уже лет двенадцать или тринадцать, если ее покормить, на ней можно жениться.

Две большие птицы с темными крыльями низко пролетели над Мухаммедом и Айдым. Мухаммед проследил их полет и затем обнял девочку, потому что у него не было времени и лишней силы терпеть свою любовь. Айдым проснулась от боли. Она видела много раз, как взрослые спят и любят, знала это дело с точностью и теперь, догадавшись обо всем, стала повторять действия старых людей, как опытная женщина, что немного удивило Нур-Мухаммеда. Айдым молча смотрела на Мухаммеда

любопытными глазами, полными слез от боли и терпения. Она словно ждала чего-то, что будет сейчас с нею, неизвестного или хорошего, но ничего не было, и ей стало неинтересно.

– Уходи! Лучше я буду одна, – сказала Айдым Мухаммеду, потому что она не узнала в любви никакой новой жизни.

Но Мухаммед не оставил ее, пока его чувство не получило наслаждения: без наслаждения он не мог существовать.

В пустыне смерклось, наступила ночь, и она прошла во тьме. Некоторые люди, павшие вчера по пескам от ветра, наутро поднялись и стали оглядываться в чистом свете, среди тишины другого дня.

Вблизи, за глухим барханом, раздался выстрел. Дремавший Суфьян сел и стал слушать. Айдым прибежала к нему от Мухаммеда, который спал вдали и не проснулся.

Народ был весь живой, но жизнь в нем держалась уже не по его воле и была почти непосильна ему. Люди глядели перед собой, хотя и не сознавая ясно, как надо им пользоваться своим существованием; даже темные глаза теперь посветлели от равнодушия и не выражали ни внимания, ни силы собственного зрения, точно ослепшие или прожитые насквозь; только одна Айдым хотела быть живой, она не истратила еще детства и материнского запаса энергии, она смотрела в песок все еще блестящими глазами.

За барханом еще [стрельнули] два раза. Айдым пошла туда смотреть, но не нашла сразу места, где стреляли. Из других людей никто не пошел; они не боялись врага и не ожидали друга или помощника.

Айдым перешла четвертый бархан и увидела, что внизу его лежит спящий или мертвый человек, рядом с темной птицей. Девочка спустилась с песчаного откоса и узнала Чагатаева. Она попробовала руками его лицо, оно было теплое, изо рта шло дыхание.

– Спи! – сказала шепотом Айдым и прикрыла своими пальцами веки Чагатаева, чуть приоткрытые во сне.

Затем Айдым освободила убитую птицу от ремня, взяла ее за ногу и поволокла через пески к своему народу.

Все люди собрались вокруг птицы и глядели на нее без жадности, они отвыкли надеяться на еду. Тогда Айдым взяла нож из брошенных штанов Тагана и стала ощипывать птицу и резать ее на мелкие куски. Каждому, кто мог есть, она дала понемногу птичьего мяса, а сама высасывала кровь и сок из каждого куска, прежде чем отдать его. Народ поглотал эти куски, сглодал все кости без остатка и обсосал щипаные перья, но не наелся, а только разохотился; лучше б было ничего не есть и не тратить последнюю силу на жеванье и пищеваренье.

Айдым пошла опять к Чагатаеву. Народ, думая, что там есть еще битые мясные птицы, пошел следом за девочкой. Однако люди шли теперь слишком медленно, иные же ползли, помогая себе руками, в том числе ползла и еще помогала ползти Молле Черкезову мать Чагатаева. Некоторые же остались на месте, потому что у них уже не хватало силы нести свой скелет. Айдым, отойдя немного, подолгу ждала влекущихся за ней людей. И лишь к вечеру народ добрел до песчаного холма, за которым лежал Чагатаев. Все время, пока двигался народ, Айдым слышала трение и скрип костей внутри шевелящихся людей, –

наверно, у них высох весь жир в суставах, и кости теперь мучились.

Нур-Мухаммед видел издали это движение народа, но оно его не интересовало. Он хотел сначала поискать в ближней округе какой-нибудь воды, хотя бы соленой, иначе он не дойдет до Хивинского оазиса. За Айдым он решил вернуться после, когда отыщет воду, чтобы и ее напоить, а потом уже вместе с нею он уйдет отсюда навеки в Афганистан.

13

Чагатаев заплакал от боли во сне и проснулся; он подумал, что боль ему приснилась и сейчас пройдет. Две темные птицы – одна прежняя самка, другая новый самец – отошли от него. Три раза они клевнули его тело сосущими клювами и до костей прорвали мясо на груди, колене и на плече. Отойдя немного, птицы остановились, повернули шеи и поглядели на Чагатаева – каждая птица одним глазом. Назар вынул револьвер и стал скорее стрелять в птиц, пока еще не вышло много крови из его ран и не пропала сила, собранная во сне. Птицы поднялись в воздух. Он успел стрельнуть в них два раза, и одна птица опустила крылья и села вниз, сразу подломив под себя ноги; потом она положила голову в песок и потянулась всем горлом как бы в надоевшей усталости; из горла птицы шла кровь и впитывалась в перья и ближний песок. В глазах птицы появилось равнодушие, и они задернулись серыми пленками. Другая птица ушла в высоту, закричала оттуда кратко и гулко, словно из пустого подземелья, и пропала в тумане солнечного света.

Из-за бархана показалась Айдым. Она пошла к убитой птице и поволокла ее за ногу мимо Чагатаева.

– Айдым! – позвал ее Назар.

Девочка подошла к Чагатаеву.

– Дай напиться! – попросил он.

Айдым подволокла мертвую птицу и, став на колени, приложила ее горло к губам Чагатаева и стала нажимать мокнущее горло, выдаивая оттуда кровь в рот Чагатаева.

– Ты лежи нарочно как мертвый, – сказала Айдым. – К тебе прилетят птицы, прибегут шакалы, ты их убивай, а мы будем кормиться…

– А где другие люди? – спросил Чагатаев.

– Там идут, – указала Айдым.

Чагатаев попросил ее, чтобы она принесла воды, если она есть, и промыла ему раны. Айдым осмотрела его раны, вынула из них шерсть от одежды, затем зализала их своим языком, зная, что слюна заживляет тело.

– Ничего: ты не умрешь, раны ведь маленькие, – сказала она. – Лежи опять смирно, а то птицы больше не прилетят…

Айдым поволокла птицу за песчаный холм, где ее народ образовал свое новое становище, в тишине глубокой впадины. Птицу съели сразу же, и если те далекие люди, которые едят каждый день, не почувствовали бы никакого утоления голода, съев тот маленький щипаный кусок птичьего мяса, какой дала Айдым каждому, то здесь человек большого голода почти наелся этой ничтожной пищей, – во всяком случае, его тело получило надежду и утешение.

Стало опять темно. Суфьян разрыл руками песок до влажного горизонта и начал жевать его от жажды. Неко-

торые люди увидели действия Суфьяна, подошли к нему и разделили с ним ужин из песка и воды. Нур-Мухаммед боялся холода и на ночь пришел к народу, чтобы лежать где-нибудь в его тесноте и согреваться.

Рано утром Мухаммед разбудил Айдым, взял ее на руки и пошел с ней навсегда в Афганистан.

Чагатаев по-прежнему лежал и сторожил птиц. Он сосчитал патроны, их у него осталось семь штук. Он знал наверное, что птицы явятся опять: он ведь убил самца, а самка с цветными крыльями улетела, и она снова вернется не одна, чтобы добить наконец человека, убившего ее первого, может быть, самого любимого мужа.

Айдым соскочила с рук Нур-Мухаммеда и прибежала к Чагатаеву попрощаться. Он поцеловал ее, погладил по лицу худою рукой и улыбнулся. Было еще сумрачно. Нур-Мухаммед ждал девочку в отдалении.

– Не ходи никуда, Айдым, – сказал Назар ребенку. – У нас скоро свое будет счастье.

– Я знаю, – ответила Айдым. – А он мне велит…

– Позови его, – сказал Чагатаев.

Айдым привела за руку большого Нур-Мухаммеда.

– Помираешь? – спросил Нур у Чагатаева. – Я думал, тебя давно птицы склевали.

– Зачем девочку уводишь с собой? – спросил его Чагатаев.

– Стало быть, нужно, – сообщил Мухаммед.

– Пусть остается с нами! – сказал Назар.

Айдым села около Чагатаева на песке.

– Я останусь, – сказала Айдым, – я маленькая, я уморюсь идти, мне не надо!

Чагатаев облокотился на локоть и привлек к себе девочку. Пала роса, и Назар незаметно полизал языком волосы Айдым, на которых были капли влаги.

– Уходи один! – сказал Чагатаев Мухаммеду.

– Мертвым пора молчать! – произнес Нур-Мухаммед. – Повернись в землю и спи! – Он ударил Чагатаева в лицо ногой, обутой в брезентовый сапог.

Чагатаев повалился навзничь; он заметил, что у Мухаммеда до сих пор лежал за пазухой учрежденческий портфель среднего служащего, может быть, Нур-Мухаммед всю свою жизнь считал лишь временной командировкой в дальние места, и единственная прелесть его существования заключалась в том, что можно оставить изжитое место и уйти на новое: пусть погибают остающиеся!

Чагатаев, не подумав, встал сразу на ноги. Он был теперь пуст и легок, тело его стало свободно, и он качался, как невесомый. Айдым уперлась руками ему в живот, чтобы он не падал. Но Нур-Мухаммед схватил Айдым поперек ее тела и пошел с нею прочь. Чагатаев бросился за ним вслед, но упал, потом опять поднялся, пытаясь сосредоточить силы. От слабости мир перемежался перед его глазами: то был, то не был. Мухаммед шел не спеша впереди, он не боялся полумертвого.

– Вы куда? – изо всех [сил] сказал Чагатаев.

Айдым заплакала на руках Мухаммеда.

– Возьми меня, Назар Чагатаев… Я не хочу в Афганистан: там буржуи живут…

Откуда она знает о буржуях?.. Чагатаев больше уже не упал, торжественная мысль жизни вернулась к нему, он

поднял револьвер отвердевшей рукой и велел Мухаммеду остановиться. Тот увидел оружие и побежал. Айдым заметила на шее Мухаммеда болячку и впилась в нее своими отросшими ногтями. Нур-Мухаммед закричал по-страшному и ударил девочку по лицу, но размахнуться ему было негде, и ей не стало слишком больно от его удара. Айдым не отняла своих рук от болячки и повисла теперь на шее Мухаммеда, тогда он бросил ее держать, чтобы ударить по-настоящему.

– Видишь, как больно тебе! – [рассказывала] Айдым. – Тебе ведь говорили: не воруй меня, не надо! А ты украл, ты басмач! Терпи, теперь терпи!

Из-под болячки Нур-Мухаммеда шла густая кровь: засохшую корку больного места Айдым уже сорвала.

Мухаммед застонал и с трудом сбросил с себя девчонку. Оглянувшись на Чагатаева, он опять схватил Айдым и побежал с нею; он не [уважал] работать впустую. Чагатаев не мог бить по нему насмерть, чтоб не убить Айдым, которую Мухаммед прижал сейчас спереди к своей груди, и выстрелил в него по ногам. Пуля попала. Нур-Мухаммед был сорван с земли, как ненужный и посторонний, он упал с разбегу плечом в песок и мог изуродовать Айдым. Но она отлетела в сторону прежде, чем упал Мухаммед, и, сейчас же поднявшись, побежала к Назару. Чагатаев хотел выстрелить еще, чтобы уничтожить Мухаммеда, однако патронов у него было немного, их надо беречь для охоты и прокормления своего народа.

Нур-Мухаммед пролежал в песке лишь несколько секунд, а затем бросился бежать прочь, сразу вскочив на крутой откос бархана, как сильный и здоровый человек. На

ходу он кричал от боли, потому что от движения еще больше рвал свою рану, но не слышал своего крика. Он скрылся за песчаным холмом, и голос его умолк навсегда для Чагатаева. Айдым стояла в изумлении, все еще глядя вослед пропавшему Нур-Мухаммеду. Она думала – скоро он умрет или нет.

Она пошла с Чагатаевым обратно.

– Скорей иди! – говорила она. – Ложись опять в песок, пока птицы не прилетели, а то нам есть нечего!

Слабея все больше, Чагатаев дошел до своего прежнего облежанного места и опустился на него. Айдым направилась к народу, на общее становище. День еще был долог, но все люди уже лежали для экономии жизни во сне или в пустом безрассудстве, покрывшись остатками одежды.

Чагатаев находился отдельно, за песчаным перевалом. Он старался думать лишь самое необходимое для общей жизни спасения. Орлица опять улетела живой и несчастной. Если в первый раз он убил ее мужа, то кого он застрелил во второй раз? Наверно, второго ее мужа… Нет, у птиц так не бывает, значит – друга или родственника ее мужа, может быть, его брата, которого она позвала себе на помощь для общего мщения. Но и брат ее мужа погиб, за кем же она полетела теперь?.. Если там – за горизонтом или в далеких небесах – у нее никого не найдется для боевой помощи, то все равно она прилетит одна. Чагатаев был убежден в этом, он знал прямые нестерпимые чувства диких животных и птиц. Они не могут плакать, чтобы в слезах и в истощении сердца находить себе утешение и прощение врагу. Они действуют, желая утомить свое страдание в борьбе, внутри мертвого тела врага или в собственной гибели.

По мере своей второй жизни в пустыне Чагатаеву казалось, что он все время куда-то едет и удаляется. Он начал забывать подробности города Москвы; лицо Ксени его память сберегала лишь в общих, неживых чертах – он жалел об этом и напрягал свое воображение, чтобы видеть ее иногда в уме; представляя ее образ, он всегда замечал, что ее губы что-то шепчут ему, но он не понимает и не слышит ее голоса за дальностью расстояния. Разноцветные глаза ее глядели на него с удивлением, может быть, с грустью, что он долго не возвращается. Но это лишь обольщающее чувство! В действительности Ксеня, наверно, вовсе забыла Чагатаева; она ведь еще ребенок, в ее сердце теснится прекрасная, завоевывающая ее жизнь, и там не хватит места для сохранения всех исчезнувших впечатлений.

День проходил пустым, не принося избавления. Чагатаев знал, что нельзя накормить народ еще одной или двумя убитыми птицами, но он не был великим человеком и не мог выдумать, что ему нужно сейчас сделать более действительное. Пусть его охота за птицами – ничтожное дело, зато оно единственно возможное, пока не прошло его изнеможение. Если бы он был в прежней силе, он обыскал бы всю пустыню вокруг на десятки километров, нашел бы диких овец и пригнал бы их сюда. Если бы хотя в одном человеке была способность пройти пятьдесят или сто километров до какого-нибудь телеграфного аппарата, он бы потребовал помощи из Ташкента. Может быть, покажется аэроплан на небе! Нет, здесь едва ли они бывают, здесь нет пока сокровищ на земле, чтобы тратить дорогую машину. И убогий малополезный труд, заключавшийся в терпении, в притворстве быть трупом, все же утешал Чагатаева, од-

нако назавтра он решил идти с народом на родину, в Сары-Камыш, при всех обстоятельствах.

Он задремал. Мир опять чередовался перед ним, то оживая, светлый и шумящий, то отдаляясь в темное забвение, откуда он опять затем возвращался, пробиваясь в сознание Чагатаева сквозь больные кости его головы.

Вечером Чагатаев расслышал неясные звуки. Он приготовился, засунув правую руку себе под спину, где лежал револьвер. Он ошибся – это не был шум летящих орлов. Его мать, низко неся свою голову, подошла к нему, попробовала руками его тело и осмотрела глазами, глядящими в песок, всю ближнюю местность. Она не проверяла – жив или скончался ее сын, – она искала убитых птиц своими слепнущими от горя глазами. Странные скрипящие звуки шли из тела матери; сухие кости ее скелета с трудом и болью преодолевали трение друг о друга. Гюльчатай медленно удалилась, помогая себе двигаться тем, что касалась руками земли и гребла ими назад песок.

Вскоре эти же звуки многих трущихся костей Чагатаев услышал опять. Он поборол свое закатывающееся сонное сознание и сосредоточился. За песчаным перевалом бархана что-то шевелилось. Старый Ванька глядел на него оттуда; рядом с ним поднялся подошедший, очевидно, снизу, с другой стороны бархана, Суфьян, потом показалось еще чье-то неразличимое лицо, там же была Айдым и даже Молла Черкезов, хотя он не видел света. Человеческие лица постепенно прибавлялись, все они смотрели в сторону Чагатаева. Чагатаев тоже глядел на них. Больше не было слышно звуков от трения трущихся мертвеющих костей. Множество глаз наблюдали за лежащим человеком –

не жадных и не умоляющих глаз, а безразличных. Кроме Айдым, глаза всех людей глядели подобно глазам Моллы Черкезова, – ослепшими. У людей не осталось силы в сердце, чтобы держать энергию или выражение мысли в глазах. Лишь предчувствие еды привело их сюда, но и это чувство не было яростным или жестоким, как у обычного человека, а было невинным, способным остаться без удовлетворения, потому что чувство уже не поддерживалось разумом.

Чего ожидали от Чагатаева эти люди? Разве они наедятся одной или двумя птицами? Нет. Но тоска их может превратиться в радость, если каждый получит щипаный кусочек птичьего мяса. Это послужит не для сытости, а для соединения с общей жизнью и друг с другом, оно смажет своим салом скрипящие, сохнущие кости их скелета, оно даст им чувство действительности, и они вспомнят свое существование. Здесь еда служит сразу для питания души и для того, чтоб опустевшие смирные глаза снова заблестели и увидели рассеянный свет солнца на земле. Чагатаеву казалось, что и все человечество, если бы оно было сейчас перед ним, так же глядело бы на него, ожидающее и готовое обмануться в надеждах, перенести обман и вновь заняться разнообразной, неизбежной жизнью.

Чагатаев улыбнулся; он знал, что горе и страдание есть лишь призрак и сновидение, их может разрушить сразу даже Айдым своими детскими силами; в сердце и в мире бьется, как в клетке, невыпущенное, еще не испробованное счастье, и каждый человек чувствует его силу, но чувствует лишь как боль, потому что действие счастья сжато и

изуродовано в тесноте, как сердце в скелете. Вскоре он переменит судьбу своего народа. Чагатаев махнул рукой глядящему на него народу. Айдым поняла и велела уйти всем, чтобы не мешать Чагатаеву охотиться.

В начале ночи, когда все люди забылись, Айдым пошла одна в пустыню искать диких овец. Суфьяну и Старому Ваньке она велела разрыть руками песок в одной небольшой долине между длинными барханами. Там, под песком, она обнаружила глину, которая должна собирать воду, и она уже пила ее немножко из ямки. Она понимала, что, когда нет пищи, вода тоже кормит.

14

Шла ночь над песками. Чагатаев спал на правом боку, и сновидения заполнили его, вытеснив жажду, голод, слабость и всякое страдание. Он танцевал в саду, освещенном электричеством, с большой, выросшей Ксеней, в летнюю ночь, пахнущую землей, детством, накануне рассвета, который уже горел на вершинах тополей, как дальний, еще неслышный голос. Ксеня томилась в его осторожных объятиях, ее глаза были закрыты, точно она спала. С рассвета, с востока шел ветер между деревьев и шевелил платья танцующих женщин. Играла музыка, ранний свет и ветер проходили по лицам людей, безмолвных и счастливых. Затем музыка утихла, стало совсем светло вокруг, и Чагатаев нес спящую Ксеню на руках. Вдруг он увидел тьму на месте света, голова его заболела, и, падая, он повернулся во время падения на спину, чтобы не ушибить Ксеню, которую он держал спереди, как маленькую: пусть она упадет

на него и не убьется. Он крепко, еще сильнее схватил ее руками, но ее уже не было с ним. Он закричал, вскочил во тьме с земли, и два острых удара – опять в голову и в грудь – сбили его обратно.

Большие птицы, падая на него и вновь поднимаясь в воздух, били его клювами и рвали одежду и тело когтями. Чагатаев старался вскочить на ноги, но не успевал и терял силу от боли и новых ударов нападающих тяжелых птиц; он ворочался и греб в ожесточенном отчаянии руками песок, окруженный пустынной ночью, взмокший последней кровью. Он хотел вскрикнуть, чтобы поднять в себе, из самой глубины, из остатков исчезающей жизни яростную силу, но жалящие удары орлиных клювов и когти их, рвущие жилы, прерывали его крик, прежде чем он успевал взять воздух себе внутрь. От крыльев птиц его сбивал ветер, он не мог дышать в этой буре и давился пухом и перьями, отлетающими от птиц. Чагатаев понял, что два первых удара клювами он получил в голову, около затылка, оттуда сейчас текла кровь за шею, и еще у него, кажется, сорван один грудной сосок, там болела рана щекочущей вопиющей болью.

Наконец Чагатаеву удалось вскочить на мгновение на ноги. Он распростер руки, готовый схватить птицу, которая первая падет на него, чтобы задушить ее вручную. Орлы были в воздухе и сейчас разгонялись на него. Он наступил ногою на свой револьвер и быстро нагнулся за ним, однако не успел поднять его. Птицы бросились ему в спину, но он уже теперь опомнился и сумел сосчитать по числу своих новых ран от клювов – орлов было три. Чагатаев, схватив револьвер, опрокинулся навзничь, чтобы сбросить с себя

или задавить птиц, впившихся ему в спину, но силы его действовали плохо, он свалился как попало, на бок, а орлы низко отлетели в сторону. Чагатаев попытался подняться для лучшего прицела, все истощенные кости его скелета заскрипели, так же как у людей его народа. Он прислушался, и ему жалко стало своего тела и своих костей – их собрала ему некогда мать из бедности своей плоти, – не из любви и страсти, не из наслаждения, а из самой житейской необходимости. Он почувствовал себя как чужое добро, как последнее имущество неимущих, которое хотят расточить напрасно, и пришел в ярость. Чагатаев сразу крепко сел в песке. Орлы, даже не очень поднявшись в высоту, опять со скоростью мчались на него, тесно прижав к себе крылья. Он их подпустил ближе, потом нажал курок. Чагатаев видел орлов верно, их было три, и стрелял теперь точно, хладнокровно, оберегая себя, как второго человека, как ближнего, беспомощного друга. Он выпустил пять пуль в мчавшихся орлов почти в упор. Птицы низко, со свистом воздуха, пролетели над ним, уже не сумев остановить своего разгона, потому что они были либо уже мертвые, либо раненные насмерть. Они упали в нескольких метрах далее Чагатаева, в темный ночной песок.

Чагатаев дрожал от тревоги и усталости. Он разгреб в песке пещеру и лег в нее, сжавшись телом, чтобы согреться и уснуть, не заботясь о том, сколько вытечет крови из его рваных ран, пока он будет спать, не думая о здоровье и о своей будущей жизни.

Айдым далеко ушла в ту ночь; потом она уморилась, прилегла и заснула, не услышав выстрелов Чагатаева. Но, помня, что ей спать долго нельзя, она вскоре пробудилась в

беспокойстве и опять пошла. Полуночная обедневшая луна вышла из-за далекой земли и осветила пески низким светом. Айдым осмотрелась кругом проницательными глазами. Она знала, что не может быть, чтобы на земле ничего теперь не было. Если идти по пескам целый день, то обязательно что-нибудь встретишь или найдешь: либо воду, либо овец, либо увидишь многих птиц, попадется чей-нибудь заблудший осел или пробегут вблизи разные животные. Старшие люди говорили ей, что в пустыне столько же добра, сколько на любой далекой земле, но в ней мало людей, и поэтому кажется, что и остального нет ничего. Айдым, однако, даже не знала, где есть земля более богатая и лучшая, чем пески или камышовые леса в разливах Амударьи.

Айдым стояла на самом высоком бархане; ее привлек мерцающий, брезжущий свет луны в одном направлении – по остальной земле свет шел спокойно, а там что-то мешало ему светить. Она пошла туда, где свет затемнялся, и вскоре разглядела маленькую овцу-детеныша. Овечка царапалась ногами на самой вершине невысокого холма и взметывала песок так, что издали, сквозь ослабшую тьму, поверх привидений холмистой пустыни, это казалось важным, загадочным происшествием.

Овца-ярка, наверно, выбирала из песка весенние погребенные травинки и кормилась ими. Айдым тихо взобралась на холм и обхватила овечьего детеныша. Ярка не сопротивлялась, она ничего не знала про человека. Айдым повалила ее и хотела прокусить ей слабое горло, чтобы испить крови и наесться. Но она увидела сейчас, что под барханом, часто дыша, как люди, множество овец рыли

ногами песок, догребаясь до нижней, скрытой влаги. Айдым оставила ярку и сбежала с бархана, к овечьему стаду. Прежде чем она достигла крайней овцы, к ней навстречу прыгнул баран и остановился перед ней, нагнув голову для боя. Айдым посидела немного перед ним, подумала своим небольшим умом – как ей быть. Она сосчитала овечью отару – в ней было двадцать четыре головы, сложив сюда ярку и двух козлов, тоже прижившихся тут. Она отползла потихоньку к ближней роющей овце; баран тоже пошел за нею в ожидании. Айдым попробовала рукою песок в ямке, которую разгребала овца, – там было сухо, вода не чувствуется. На губах ближних овец собралась пена томления, изредка они хватали ртом песок и выбрасывали его обратно вместе с последней слюной. Песок не поил, а сам испивал их сок. Айдым подошла к барану, он был не очень худ и лишь тяжко дышал от жажды, от напряжения перед задачами своей жизни, как главного среди овец. Айдым взяла барана за рог и повела его за собой. Баран сразу пошел, потом остановился, чтобы образумиться, но Айдым потянула его, и баран пошел за ней. Некоторые овцы подняли головы, перестали работать и пошли следом за девочкой и бараном. Оставшиеся козлы и прочие овцы также вскоре нагнали своего барана.

Айдым спешно тянула барана, память на место у нее была точная, но лишь к заре и погасшему месяцу на небе она дошла до той глубокой долины, где она отрывала себе воду в песке. Там она оставила стадо, и овцы опять принялись раскапывать ногами песок, а сама Айдым пошла на общий ночлег к народу. Она обиделась: в долине не было отрыто ни одного колодца. Старый Ванька и Суфьян либо

умерли, либо поленились, или, может быть, напились одни, не заботясь о другой жизни.

Айдым ощупала на становище всех спящих и беспамятных: они привыкли жить, дышали, и никто из них не умер. Айдым разбудила Суфьяна и Старого Ваньку и велела им идти пасти и сторожить овечье стадо, а сама отправилась к Чагатаеву, чтобы привести его есть.

Чагатаев долго не просыпался, когда его будила Айдым; он медленно умирал, потому что кровь не переставая медленно сочилась из него во сне, и видно было, как она редкими толчками выходила из ран, утихая в песке. Айдым поняла все; она сбегала обратно к народу на ночлег, но все люди уже тронулись оттуда к стаду, кто как мог: кто полз, кто шевелился на ногах, кто пользовался помощью другого. Айдым поискала глазами, у кого была более целая или мягкая одежда, но не нашла, чего ей хотелось. У всех из одежды осталось худое и нехорошее или очень малое. Молла Черкезов имел мягкие шаровары, но от его слепоты они были нечистые. Айдым сняла с себя рубашку и осмотрела ее: ничего, она еще маленькая, в ней не накопилось заразы и болезней, как у стариков, рубашка пахла одним только потом и ее телом, а грязи в ней не было – пустыня вся чистая. Айдым вернулась к Чагатаеву, разодрала свою рубашку на полоски и перевязала все его раны на теле и на голове, откуда показывалась кровь. Чагатаев проснулся уже и поворачивался, чтоб девочке удобней было работать. Он открыл глаза и увидел Айдым, убитых птиц и пески как бы сквозь густой сумрак, хотя наступило обычное солнечное утро. Он разглядел орлов и узнал в самой крупной птице самку, а другие два орла были го-

раздо меньше: это ее дети. Она прилетела сюда вместе с самыми верными друзьями своего мужа – его детьми.

15

Четыре дня народ джан ел и оправлялся от своего горя и бедствий. Айдым следила за тем, чтобы никто лишнего не переедал, а особо усердных на пищу останавливала или била по глазу: иначе будет не больно. Раны на теле Чагатаева подернулись пленками и заживали; он отдал Айдым свое нижнее белье, и она сшила себе юбку и кофту, а то была голая. Суфьян, который всю жизнь носил при себе необходимый житейский инвентарь – спички, иголку, нитки, шило, какой-то старинный документ о своей личности, ножик и прочее добро, – он попросил Айдым обштопать его одежду. Айдым зашила все крупные дыры на халате старика, потом заодно починила всю ветхую одежду на народе в тех местах, где видно было тело; на многих людях ей пришлось укоротить одежду, чтобы выиграть материал и пришить его тем, у кого не хватало. Из этих обрезков Тагану она сшила целые штаны и рубашку, потому что он забросил свое платье где-то в песок, когда думал, что пора кончать жизнь, и с тех пор жил голым.

На эту работу у Айдым ушло еще четыре дня – ей помогали штопать и шить только Старый Ванька и Чагатаев. Кроме того, Айдым следила за общим порядком жизни народа, за распределением пищи, за сном и за оставшимися овцами, – чтобы их пасли и поили и чтобы они не худели, не проживали своего тела зря. На ночь каждую овцу Айдым привязывала к человеку, а барана укладывала рядом с со-

бой и прочной бечевкой туго обвязывала ему шею, а другим концом бечевки обматывалась сама вокруг живота и делала мертвый узел. Благодаря этой осторожности ни одна овца не убежала, хотя по всей ночи овцы лежали не евши и не прибавили в весе. Утром, через девять дней после того, как Айдым привела овечью отару, народ тронулся далее в дорогу, на свою родину. Теперь осталось у него десять овец и одиннадцатый баран, а тринадцать голов и трех орлов народ поел. Люди шли сейчас хорошо и чувствовали, что они существуют, не напрягаясь памятью для воспоминания о самих себе.

До Сары-Камыша оказалось всего три полных дня среднего хода. Но уже на второй день народ увидел серое плоскогорье Усть-Урта и темноту у его подножия – впадину пустых земель с редкими горькими водами. Все обрадовались и поспешили туда, точно там обеспечено было счастье и стояли убранные дома с открытыми входами, ожидающими хозяев. Чагатаев вел за руку мать и улыбался, будто он снова, как в детстве, находился перед будущей великой жизнью, готовый на мучительный, терпеливый труд, имея в сердце неясное, робкое предчувствие неизбежной победы.

Вечером третьего дня народ перешел последние светлые пески – границу пустыни – и начал спускаться в тень впадины. Чагатаев вглядывался в эту землю – в бледные солонцы, в суглинки, в темную ветхость измученного праха, в котором, может быть, сотлели кости бедного Аримана, не сумевшего достигнуть светлой участи Ормузда и не победившего его. Отчего он не сумел быть счастливым? Может, оттого, что для него судьба Ормузда и

других жителей дальних, заросших садами стран была чужда и отвратительна, она не успокаивала и не влекла его сердце, – иначе он, терпеливый и деятельный, сумел бы сделать в Сары-Камыше то же самое, что было в Хорасане, или завоевал бы Хорасан…

Чагатаев любил размышлять о том, что раньше не удалось сделать людям, потому что как раз это самое ему необходимо было исполнить.

Еще через два дня народ миновал впадину и приблизился к подножию Усть-Урта. Чагатаев нашел здесь небольшой пресный водоем, питавшийся весенним стоком со склонов плоскогорья, и люди остановились около него для отдыха и для выбора постоянного жительства. Овец теперь осталось лишь три головы и четвертый баран. Но это само по себе еще не было страшным для такого народа, как джан, который мог пользоваться добром природы в самых [худых] ее местах. Айдым в первый же день нашла несколько слепых ущелий, заполненных травой перекати-поле. Траву нагнал сюда с пустыни юго-восточный ветер, и лишь тот куст перекати-поля, который не попадал в такое мертвое ущелье, поднимался по склону на высоту возвышенности и уходил через плоскогорье дальше, в степь.

Суфьян сходил в свою пещеру, где он жил до прихода Чагатаева, и дал совет обосноваться всему народу по соседству с его пещерой: там есть широкая, просторная долина, поросшая степною травой, и мелкий ручей бежит посреди нее с Усть-Урта, не иссякая до середины лета. Народ пошел к той долине и по дороге нашел следы своих прежних становищ – еще в ханские времена. Там не оста-

лось никаких заметных предметов, была лишь обычная пустошь, несколько горстей угля, комья глины, стоял кол от кибитки, забытый всеми, изъеденный жарой и ветрами и умерший; валялась погребенная в почву старая детская тюбетейка – Айдым почистила ее и надела себе на голову.

Долина, указанная Суфьяном, была хороша для жизни. Она имела травяной покров на долгом протяжении, и еще теперь – в конце лета – не вся трава умерла: среди пожелтевших стеблей попадались живые, зеленые былинки. Русло ручья было пусто, но в глубине Сары-Камыша, в одном-двух километрах, виднелось зеркало воды – озеро, куда стекал горный ручей весною и в начале лета; этого достаточно для существования. Когда люди вошли в устье долины, множество черепах побежало от их ног, и, удалившись, они медленно повернули свои шеи и поглядели на прибывших – каждая черепаха одним черным, зорким и милым глазом. Чагатаев обрадовался им; он теперь отдохнул и опомнился: по-прежнему все в жизни стало возможным, самая лучшая участь осуществима немедленно.

Он пошел вместе с Айдым далеко в глубь Усть-Урта, на его вымершие высокие равнины. Он искал там деревьев или хотя бы саксаула, растущего иногда по оврагам, – дерево нужно было для поделки хозяйственных инструментов и принадлежностей. По дороге Чагатаев поднял Айдым на руки, чтобы она не уморилась, и целовал ее в щеки, в глаза, в волосы – от этого ему становилось лучше на сердце. Он любил ощущать другую жизнь и другое тело, ему казалось, что там есть что-то более таинственное и прекрасное, более [существенное], чем в нем самом, и его здоровье и сознание часто улучшалось лишь оттого, что он

имел возможность держать кого-нибудь за руку, как в свое время Веру и еще ранее ее другую женщину, студентку экономического института, любившую его, но умершую от болезни в юности. Айдым тоже обнимала Чагатаева за голову и заглаживала пальцами две плешины в волосах – следы от орлиных ран; она помнила, что съела тогда сразу целого маленького орленка.

У Чагатаева был только перочинный нож, поэтому ему пришлось долго работать, чтобы подрезать и надломить одно небольшое дерево мягкой породы, росшее в одиночку среди каменистого ущелья, где не росло ничего другого, словно птица когда-то уронила семя этого дерева из воздуха.

В течение нескольких дней в долине Усть-Урта, избранной для жительства, работали только двое людей – Чагатаев и Айдым; остальные люди дремали в пещерках, которые они нарыли себе для ночлега в склонах долины, ловили черепах и готовили из них себе пищу, но ели мало, почти неохотно, и раз в сутки ходили на озеро пить воду. Три овцы и барана Чагатаев не велел трогать; он их оставил в запас, на крайнюю нужду. Назар пересчитал людей – кто жив, кто умер – и увидел, что не хватает одного ребенка – трехлетней девочки. Никто не мог ему сказать – ни отец ее, ни мать, ни прочие, где исчезла, умерла одна незаметно эта маленькая девочка, небольшой человек. Никто не запомнил, когда она была задута ветром и песком в пустыне и отошла от рук…

Чагатаев и Айдым стали носить глину для постройки первой курганчи, но им никто не помогал в работе. Когда Чагатаев привел работать Суфьяна и Старого Ваньку, как

наиболее здоровых, то они отнесли два раза глину, а потом перестали. Они сели на землю и задумались, хотя по старости лет имели время уже все передумать и прийти к истине.

Тогда Чагатаев собрал всех людей и спросил их: имеют ли они намеренье жить? Никто ему ничего не ответил…

Многие бледные глаза глядели на Чагатаева с напряжением, чтобы не закрыться от немощи и равнодушия. Чагатаев почувствовал боль своей печали, что его народу не нужен коммунизм, – ему нужно забвение, пока ветер не остудит и не расточит постепенно его тело в пространстве. Чагатаев отвернулся ото всех; его действия, его надежды оказались бессмысленными. Нужно взять Айдым на руки и уйти отсюда навсегда. Он ушел в сторону и лег там в землю лицом. Он понимал, что, куда бы он ни ушел отсюда, он снова вернется обратно. Ведь его народ – наибольший бедняк на свете: он растратил все свое тело на хошарах и в нужде пустыни, он отучен от цели жизни и лишился сознания и своего интереса, потому что его желание никогда, ни в какой мере не осуществлялось, народ жил благодаря механическому действию своей скудной, ежедневной пищи – из черепах, черепашьих яиц и мелкой рыбы, которую он начал ловить в том водоеме, из которого пил воду. Осталась ли в народе хоть небольшая душа, чтобы, действуя вместе с ней, можно совершить общее счастье? Или там давно все отмучилось и даже воображение – ум бедняков – все умерло?.. Чагатаев знал по своей детской памяти и по московскому образованию, что всякая эксплуатация человека начинается с искажения, с приспособления его души к смерти, в целях господства, иначе раб не будет

рабом. И насильное уродство души продолжается, усиливается все более, пока разум в рабе не превращается в безумие. Классовая борьба начинается с одоления «духа святого», заключенного в рабе; причем хула на то, во что верит сам господин – на его душу и бога, – никогда не прощается, душа же раба подвергается истиранию во лжи и разрушающем труде. Чагатаев помнил рассказ Старого Ваньки, как он однажды в Хиве, на дворе мечети, хотел убить павлина, чтобы продать его потом на чучело русскому купцу. В поспешности Старый Ванька бросил камень в павлина – в священную птицу, но не попал. Вдалеке, среди растительности, показался сторож или посторонний человек. Старый Ванька схватил в руку что попалось ему среди кустов и запустил в голову павлина этим предметом. Павлин сразу проглотил, скормился тем куском, какой бросил в него Ванька, и потом закричал своим подлым прерывистым криком, а Старый Ванька кинулся к нему, чтобы задушить его вручную, но не управился, потому что явившиеся мусульмане схватили Старого Ваньку, вытащили на улицу и начали бить, пока не решили, что он уже мертв, и тогда его бросили в бездействующий арык. Пока его увечили, Старый Ванька, держа руки на лице, понял по запаху своих рук, что он второй раз ударил священного павлина куском засохшего кала. Старый Ванька выполз из канавы живым, но любил затем швырять во всех летящих и сидящих птиц чем-нибудь нечистым, особенно если это были голуби, – пока по истечении многих лет не потерял интереса к такому занятию.

Над головой Чагатаева засопело какое-то животное, он подумал – это овца. Но животное схватило пастью ухо

Чагатаева и стало тереть его во рту между беззубыми деснами. Это была та же яростная и малосильная собака, которую Чагатаев видел в поселении своего народа на Амударье. Она не была с людьми в пустыне, она отбилась где-то или, может быть, осталась караулить одна покинутое становище, а потом, соскучившись, прибежала прямой дорогой в Сары-Камыш, где она тоже, очевидно, жила в прежние годы. Чагатаев взял собаку за голову и пригнул ее к земле, чтоб она легла. Собака покорно легла; она дрожала от утомления – старая, дикая, не в силах закончить и изжить свою мучительную жизнь и все еще уверенная в блаженстве своего существования, потому что в самом терпении ее, в худом дрожащем теле было добро.

Собака уснула рядом с Чагатаевым. Айдым одна месила голыми ногами глину, таская воду в бурдюке за два километра. Когда Чагатаев очнулся, кругом него сидело несколько человек людей, которые ожидали его пробуждения. Суфьян, самый старший человек, сказал Чагатаеву, что народ теперь нарочно не имеет души, не знает своего намерения, не льстится на лучшую пищу, он греется самым слабым теплом своего сердца, а сердце получает это тепло из травы, из черепах, из рыбы, из костей самого человека, когда ему нечего есть.

Суфьян склонился к уху Чагатаева, отодвинув собаку. Собака жадно и грустно глядела на людей. Темная, трудная надежда ее была в желании съесть всех людей, когда они умрут. Она пришла сюда не прямою отдельной дорогой, а следом за народом, идя на большом отдалении, и ела павших в песках людей, зарываясь днем глубоко в песок, чтобы ее не заметили степные орлы и прочие хищники. Суфьян сказал Чагатаеву:

– Ты думаешь плохо. Народ жить может, но ему нельзя. Когда он захочет есть плов, пить вино, иметь халат и кибитку, к нему придут чужие люди и скажут: возьми, что ты хочешь, – вино, рис, верблюда, счастье твоей жизни…

– Никто не даст, – ответил Чагатаев.

– Немного давали, – говорил Суфьян. – Горсть риса, чурек, старый халат, вечернюю песню бахши мы имели давно, когда работали на байских хошарах…

– Мать велела мне самому кормиться, когда я был маленький, – сказал Чагатаев. – Мы мало имели, мы умирали.

– Мало, – произнес Суфьян. – Но мы всегда хотели много: и овец, и жену, и воду из арыка – в душе всегда есть пустое место, куда человек хочет спрятать свое счастье. И за малое, за бедную, редкую пищу, мы работали, пока в нас не засыхали кости.

– Это вам давали чужую душу, – сказал Чагатаев.

– Другой мы не знали, – ответил Суфьян. – Я тебе говорю, если за маленькую еду мы делались от работы и голода как мертвые, то разве хватит даже нашей смерти, чтобы заработать себе счастье?

Чагатаев поднялся на ноги.

– Хватит одной жизни! Теперь наша душа в мире, другой нет.

– Я слыхал, – равнодушно сказал Суфьян, – мы знаем – богатые умерли все. Но ты слушай меня, – Суфьян погладил старый московский башмак Чагатаева, – твой народ боится жить, он отвык и не верит. Он притворяется мертвым, иначе счастливые и сильные придут его мучить опять. Он оставил себе самое малое, не нужное никому, чтобы никто не стал алчным, когда увидит его.

Суфьян ушел с теми людьми, какие были с ним. Чагатаев отправился к Айдым и работал с ней до вечера. Вечером он уложил ее спать в сухой пещерке, а сам работал опять, готовя из глины и растертой старой травы саманные кирпичи на постройку первого жилища. Вокруг него и во всей долине никого не было; все люди куда-то разошлись – может быть, ушли ловить черепах или ловить рыбу на озере. Чагатаев работал все более быстро и рационально. Поздно ночью он поднялся по склону на плоскогорье посмотреть, куда ушли все люди. Было всюду видно от чистой высокой луны; свет стоял над безлюдным Усть-Уртом, покрывая тенью гор впадину Сары-Камыша, и опять занимался далее над влекущей пустыней, уходящей к горам Ирана. Три овцы и баран паслись в соседнем мелком ущелье, с шумом ворочаясь в кучах перекати-поля, ища зеленые живые стебли. В черной тени Усть-Урта, где начинался Сары-Камыш, горел маленький огонь костра, немного далее костра лежало слабое облако тумана над озером. Чагатаев сошел с возвышенности и направился к огню. Через полчаса он подошел достаточно близко и увидел, что вокруг костра, где тихо сгорал саксаул, сидел весь народ. Он пел песню и не видел Чагатаева. Чагатаев заслушался той песни; в детстве он слышал много песен от бахши, от матери, от разных стариков – песни были прекрасные, но жалкие. Эта же песня имела незнакомый смысл, в ней было чувство, не родное его народу, но зато подходящее для него более, чем печаль. Чагатаев расслышал даже тихий, стыдящийся голос своей матери. В песне говорилось: мы не заплачем, когда придут к нам слезы, мы не улыбнемся от радости, и никто не достигнет нашего

глубокого сердца, которое выйдет само к людям и ко всей жизни и протянет к ним руки, когда настанет его светлое время, и время это близко: мы слышим, как спешит в нашем сердце душа, желая выйти к нам на помощь… Песня окончилась. Старый Ванька шевелил палкой костер и вытаскивал оттуда испекшиеся рыбки, пробуя их – готовы они или нет, а неиспекшихся кидал обратно.

Чагатаев, не обнаруживая себя перед людьми, ушел обратно. Он снова взялся делать кирпичи на становище и работал, пока не растаяла луна на небе и не взошло солнце. Утром он увидел, что народ все еще сидел около потухшего костра, а Старый Ванька двигался и метался всем телом, должно быть, плясал. Чагатаев решил не оставлять своей работы, поскольку ночь уже прошла и спать не время. Он формовал кирпичи в глиняных формах, затрачивая в труд всю силу своего сердца. Айдым все еще спала, Чагатаев изредка подходил к углублению, в котором она лежала, и покрывал ее травой от мух и насекомых: пусть она набирает себе тело во сне – в рост и на долгую жизнь. Около полудня к Чагатаеву пришел Старый Ванька, он снял штаны, сшитые ему Айдым из разных кусков, вместо изношенных ранее, влез в яму, куда была завалена глина с водой, и начал месить ее худыми, жесткими ногами.

16

К осени в долине Усть-Урта было построено четыре небольших дома из саманного кирпича, окруженных общим дувалом. В этих жилищах, не имевших окон, за отсутствием стекла, разместился весь народ, впервые прочно

укрывшись от ветра, от холода и мелкой, летающей, жалящей твари. Некоторые из людей долго не могли привыкнуть спать и жить за глухими стенами – через короткие промежутки времени они выходили наружу и, надышавшись там, насмотревшись на природу, возвращались со вздохом назад, в жилище.

По предложению Чагатаева народ избрал свой Совет трудящихся, куда членами вошли все люди, в том числе и Айдым, как активистка, а Суфьян стал председателем.

Весь народ джан теперь жил, не чувствуя ежедневно своей смерти, и трудился над добычей пищи в пустыне, в озере и на горах Усть-Урта, как обычно живет в мире большинство человечества. Чагатаев добился даже, чтоб каждый день был у всех обед; он знал, что это очень важно, так как обедает лишь меньшинство людей, живущих на земле, большинство – нет. Айдым хорошо вела хозяйство и заставляла всех искать и приносить пищу: траву, рыбу, черепах и мелких существ из горных ущелий; она сама вместе с Гюльчатай растирала съедобные травы, чтобы получалась мука, и своевременно указывала Суфьяну, что надо делать травяные сети для птиц, которые садятся около озера пить воду. Кто забывал свою обязанность жить и кормиться, тем Айдым говорила при всех, что когда она подрастет немного, то нарожает совсем других людей, не таких, как эти, ничтожные, которых приходится кормить ей, малолетней; ведь их матери кровью заливались, а они родились и живут, как из одолжения; вот она выроет завтра с Назаром большую яму – пусть туда ложатся все, кому не нравится на свете!

– Нам несчастных не нужно, – говорила Айдым, – глаз

вырву и на стенку повешу его, будешь тогда смотреть на свой глаз, косой человек!..

Но Чагатаев был недоволен той обыкновенной, скудной жизнью, которой начал теперь жить его народ. Он хотел помочь, чтобы счастье, таящееся от рождения внутри несчастного человека, выросло наружу, стало действием и силой судьбы. И всеобщее предчувствие, и наука заботятся о том же, о единственном и необходимом: они помогают выйти на свет душе, которая спешит и бьется в сердце человека и может задохнуться там навеки, если не помочь ей освободиться.

Вскоре выпал снег. Чагатаеву и всем людям все более трудно приходилось с добычей пищи. Черепахи спрятались и уснули; великие стаи птиц пролетели над Усть-Уртом с севера на юг, они не спустились пить воду на маленькое озеро и не заметили живущего внизу небольшого человечества. Корни съедобных трав обмерли и сделались невкусными, рыба в водоеме ушла ближе ко дну, в сумрак покоя. Чагатаев понимал все эти обстоятельства. Он решил сходить один в Хиву на пищевые базы и привезти оттуда продовольственную ссуду для народа на всю зиму. Айдым зашила ему обветшалую порванную одежду, он починил себе обувь деревянными самодельными гвоздями и узкими ремешками из овечьей кожи. Затем он попрощался с каждым человеком и, велев ждать его скоро, начал спускаться во впадину Сары-Камыша. Он не взял из экономии никакой пищи с собой, рассчитав, что покроет все расстояние натощак в течение трех дней.

Чагатаев исчез в туманном далеком воздухе пустых мест, Айдым сидела на горном склоне и плакала слезами из

черных блестящих глаз, она думала, что больше Назар никогда не вернется. Но в следующие дни Айдым ни разу не управилась заплакать о Чагатаеве: ее заняли заботы по хозяйству, нужда и ответственность, чтоб люди жили и не умерли. Она только вздыхала иногда, как бедная старушка. Народ все еще работал слабо, он не был убежден, что жизнь есть преимущество, его отучили от этого баи на хошарах, и он не ценил своего существования, а наслаждения, даже от пищи, вовсе не понимал.

Больше всего работы теперь, после ухода Чагатаева, приходилось на Айдым. Но ее работа не мучила, она знала от Чагатаева, что богатых нет, а она самая бедная и ей будет скоро хорошо, а потом еще лучше.

Через три дня отсутствия Чагатаева Айдым вспомнила о нем и сморщила лицо, чтобы заскучать и заплакать, но был уже вечер, ей надо поскорее отыскать овец и барана, которые забрались куда-то в дальние лощины, и она решила потосковать о Чагатаеве отдельно, когда ляжет спать. Когда она гнала овец обратно к общей курганче, то неизвестный свет ослепил ее. Около глиняных домов горели такие ясные огни, каких Айдым никогда не видала. Она остановилась и хотела уйти назад, чтобы спрятаться с овцами в пещере или в глухой, далекой пропасти, а завтра днем вернуться и посмотреть, что здесь будет. Она взяла барана за рог, а сама все глядела на огни около глиняных домов; интерес и удивление одолели в ней страх, она повела маленькое стадо домой. Она думала: огни – это либо звери, либо умное такое – оттуда, где живут большевики.

Айдым увидела фигуру Чагатаева, прошедшего мимо огня. Она побежала к нему и, дрожа, зажмурившись,

ухватилась за его ногу. Чагатаев поднял ее к себе на руки и отнес спать в дом на травяную постель, а сам вернулся наружу разгружать автомобили. Он встретил их на второй день своего пути, на выходе из Сары-Камыша в пустыне. По распоряжению из Ташкента два грузовых автомобиля вышли из Хивы еще четыре дня назад. На одной машине были мясные консервы, рис, галеты, мука, лекарства, керосин, лампы, топоры и лопаты, одежда, книги и прочее добро, а на другой – двое людей, бочки с бензином, масло и запасные части.

Из Ташкента велели разыскать в районе Сары-Камыша или между Усть-Уртом и Аральским морем кочующее племя джан и помочь ему всеми средствами, а впредь до нахождения того племени или следов его, свидетельствующих об общей гибели людей, машинам назад не возвращаться.

К полночи машина была полностью разгружена, и Чагатаев сел писать доклад в Ташкент о положении народа джан, пока шоферы и начальник экспедиции заправляли машины в обратный путь. Чагатаев писал до рассвета; он предлагал в конце своего письма дать возможность оправиться народу от многолетних бедствий (теперь эта возможность дана, и народ сыто перезимует, пользуясь присланной помощью республики), а самое главное – каждому здешнему человеку нужно вновь нажить себе прожитое почти до внутренних костей, истощившееся тело, в котором слишком слабо сейчас действует чувство и сознательная мысль.

Чагатаев отдал письмо начальнику, и автомобили поехали в Хивинский оазис. Еще все люди спали, было рано,

в Сары-Камыше лежал снег. Чагатаев взял топор и лопату, разбудил Старого Ваньку и Тагана и пошел с ними корчевать саксаул. В полдень они возвратились с дровами. Айдым растопила печки сухою травой и стала готовить обед из новой пищи, которую почти никто не пробовал в жизни.

Консервное мясо и рис сразу насытили людей, но они утомились от этой еды настолько, что все заснули после обеда. Вечером Чагатаев велел опять приготовить второй обед и сам начал делать лепешки из белой муки, потом приготовил еще чай и кофе, кому что будет нравиться. Наевшись вторым обедом, народ проспал до следующего полудня. Чагатаев знал, что такое питание немного вредно, но он спешил накормить людей, чтобы в них окрепли их кости и чтобы они приобрели бы хоть немного того чувства, которым богаты все народы, кроме них, – чувство эгоизма и самозащиты.

Третий обед готовил Суфьян. Он когда-то видел, что ели баи в Хорезме, и сделал приблизительно разные кушанья на память.

Чагатаев с наслаждением наблюдал, как ест его народ – без жадности, осторожно сберегая пищу у рта, с сознанием необходимости и с кроткой задумчивостью, точно представляя в своем воображении лица и душу тех людей, которые тяжко добыли эту пищу и подарили им ее.

Чагатаев терпеливо жил дальше, подготовляя тот день, когда он начнет осуществлять настоящее счастье общей жизни, без которого нечем заниматься и сердцу стыдно. Изредка он говорил с матерью, она ничего теперь не просила у него, только гладила его ноги и тело поверх одежды; он держал ее согнутую голову близ своего живота и думал

о том, что ему надо сделать, чтобы искупить и утешить это почти уничтоженное существо, внутри которого он начал жить. Он не знал, что его мать вспоминала о нем лишь благодаря укорам со стороны Айдым и втайне утирала слезы, понимая, что надо любить сына, и не имея, не помня его больше в своем чувстве; поэтому она трогала его, как всякого чужого и доброго.

Через несколько дней сильно захолодало, в одном доме пришлось жарко истопить печь и заодно приготовить обильный обед, потому что печь служила и для тепла и для кухни. В других домах печей не было устроено. Сильный ветер дул с высот Усть-Урта и нес в воздухе мелкий обледенелый снег. Айдым привела овец в горницу дома, где ночевала сама, и оставила их там на ночь. Чагатаев с трудом привез воду с озера на самодельной тачке в пяти бурдюках; он поднимался на плоскогорье против обрушивающегося на него ветра и толкал тачку в упор с большим напряжением. И этот ветер, и ранняя зимняя тьма во всем мире, и пустая смертная впадина Сары-Камыша, куда хотел свалить и унести Чагатаева ветер, – все убеждало Назара в необходимости особой, другой жизни.

В одном жилище шевелились люди, внутри его горел свет из открытого входа. Там кончили обедать и дремали; Айдым гремела новой посудой, убирая всякую нечистоту и остатки, и говорила людям, чтобы они ложились сегодня на ночь здесь, где было натоплено; пусть будет тесно, но зато тепло.

Времени было часов шесть, но весь народ уже улегся в одной горнице, близко друг к другу, и спал в тесноте, как в блаженстве. Чагатаев пообедал стоя, сесть было негде.

Айдым пошла ночевать в другой дом, куда она загнала овец, и туда же пошел спать Чагатаев.

Наутро пошла метель, но потеплело. В общей курганче не было никакого звука, хотя вовсе рассвело. Айдым спала в тепле среди двух овец. И овцы спали, один баран глядел как безумный на Чагатаева. Чагатаев не хотел будить Айдым, но сам пошел в теплый дом, где спали все люди. Там он зажег лампу и осмотрелся.

Народ спал в том же положении, как вчера, точно никто не повернулся за долгую ночь. Многие лица лежали теперь в постоянной улыбке. Слепой Молла Черкезов спал с открытыми глазами, подложив левую руку под спину Гюльчатай, чтобы постоянно чувствовать и хранить ее. Старый перс по прозвищу Аллах глядел вполовину одного ясного глаза, и Чагатаев не мог понять, что видит и думает сейчас этот человек, какое желание души скрывается в нем: то ли самое, что у Чагатаева, или совсем иное.

Весь остальной день Чагатаев просидел около Айдым, любуясь ее лицом, ее дыханием, рассматривая румянец юности, который все более покрывал ее щеки по мере течения долгого сна. Овец он выпустил на снег – пусть они пороются и поваляются в чистоте зимы. Затем Чагатаев взял руку Айдым в свои руки, молчаливо радуясь, что вокруг этого бедного нежного существа железной стеной защиты стоят большевики, и он сам лишь для того здесь и находится.

К вечеру Айдым проснулась. Она поругала Чагатаева – зачем он ее не разбудил раньше и у нее весь день пропал. Чагатаев сказал ей, чтоб она пошла [потрогала] остальной народ – он тоже лежит, не поднимается. Айдым, услышав

такое, даже вскрикнула от ожесточения и побежала в соседний дом. Айдым подняла травяной мат над входом, чтобы холод обдал людей и они проснулись бы. Однако спящие только теснее прижимались друг к другу, съеживались, ухмылялись и спали по-мертвому.

Прошла вторая ночь. Наутро Чагатаев опять осмотрел спящих. Лица их еще более изменились, чем вчера. Старый Ванька покраснел от оживления, и теперь ему на вид было лет сорок; даже ветхий Суфьян подобрел наружностью и имел сейчас в выражении лица какую-то заинтересованность. Кара-Чорма, человек лет шестидесяти, лежал розовый и опухший и дышал воздухом с глубоким чувством, как будто питаясь влагой во время жажды. Склонившись к матери, Чагатаев не увидел изменения в ее лице; Гюльчатай, горный цветок, могла совсем не проснуться, ее глаза завалились, щеки потемнели, печать земли легла на нее. Зрачки Моллы Черкезова по-прежнему были открыты, в них появился далекий блеск, как будто проникавший из глубины мозга, и Чагатаеву показалось, что у этого человека появилось теперь зрение.

Назар истопил печь для тепла и пошел с Айдым гулять; впервые за много месяцев он имел свободный час. Метель прекратилась еще ночью; сейчас падал редкий последний снег, и на самой высокой террасе Усть-Урта уже блестел солнечный свет, веселый, ослепительный, обещающий вечное торжество. Айдым смеялась и бегала по снегу; она исчезала далеко, проваливалась в ущелья, забитые снегом, и неожиданно кидалась сзади Чагатаеву на шею. Наконец он схватил ее к себе на руки и побежал с нею к пропасти. Она заметила его намерение.

– Бросай, я не умру! – сказала Айдым.

Во время возвращения домой Айдым шла самостоятельно, рядом, и спросила Чагатаева:

– Назар, они когда проснутся?

– Скоро, скоро… Может, просыпаются уже.

Айдым задумалась.

Печь в доме еще не угасла совсем. Чагатаев растопил ее снова, и вместе с Айдым они сварили обед на весь народ, на всякий случай.

К вечеру некоторые из людей начали просыпаться. Первым проснулся Суфьян, затем Старый Ванька и Молла Черкезов, в полночь встали все, кроме Гюльчатай. Она умерла.

Чагатаев перенес ее в свободный, холодный дом и положил на постель из высохшей травы. Опомнясь от долгого сна, народ сел обедать в теплом глиняном жилище, а Чагатаев лег рядом с матерью и уснул.

Айдым кормила народ обедом и попрекала его, что он спит по две ночи подряд, а жить одну жизнь не может. Старый Ванька захохотал над нею.

– Теперь мы помрем! – говорил он. – Не горюй о нас, девчонка…

На ночь Айдым ушла в дом, где лежал Чагатаев с покойной матерью. Она смирно улеглась в углу и сразу уснула. На рассвете она поднялась и вышла по хозяйству. Натопленный дом, где остался ночевать народ, был пуст от людей, в других двух домах тоже никого не оказалось. Айдым осмотрела и приблизительно сосчитала все вещи и принадлежности, все общее добро, пошла в то помещение, где лежал запас продовольствия, привезенный из Хивы;

обеспокоившись, потрогала даже стены домов и ничего не узнала нового. Продовольствие было все цело. Как она вчера брала консервные банки на обед, так они и теперь лежали. Мешки с рисом и мукой тоже стояли нетронутые. Может, что-нибудь и пропало, но немножко, может быть – табак и спички, которые брали всегда без счету.

Она поднялась по склону из долины на плоскогорье. Маленькое солнце освещало всю большую землю, и света хватало вполне. Снег блестел по Сары-Камышу и на высотах Усть-Урта. Дул слабый ветер, но из чистого неба шло тепло, и было хорошо кругом в пространстве. Прижмуриваясь, Айдым долго наблюдала окрестности и заметила четверых людей. Все они шли по одному человеку, на большом удалении друг от друга. Один уходил по Сары-Камышу туда, где садится солнце, другой брел по нижним склонам Усть-Урта к Амударье, еще двое исчезали порознь по дальнему плоскогорью, пробираясь через горы в ночном направлении.

Айдым разбудила Назара. Чагатаев ушел один за несколько километров; он поднялся на самую высокую террасу, откуда далеко виден мир почти во все его концы. Оттуда он рассмотрел десять или двенадцать человек, уходящих поодиночке во все страны света. Некоторые шли к Каспийскому морю, другие к Туркмении и Ирану, двое, но далеко один от другого, к Чарджую и Амударье. Не видно было тех, которые ушли через Усть-Урт на север и восток, и тех, кто слишком удалился ночью.

Чагатаев вздохнул и улыбнулся: он ведь хотел из своего одного небольшого сердца, из тесного ума и воодушевления создать здесь впервые истинную жизнь, на краю Са-

ры-Камыша, адова дна древнего мира. Но самим людям виднее, как им лучше быть. Достаточно, что он помог им остаться живыми, и пусть они счастья достигнут за горизонтом…

Он медленно пошел обратно и по дороге заплакал.

Ему все же казалось, что, несмотря на все бедствия, здесь была или начиналась счастливая жизнь, и она возможна в маленьком народе, в четырех избушках, настолько же, насколько за любым горизонтом земли. Он вынул из снега куст перекати-поля и принес его в тот дом, где лежала его мать. Чагатаев тоже провожал ее сейчас в дорогу, как она его в детстве когда-то.

Айдым сидела одна в углу против мертвой старухи. Она ее боялась, и ей было интересно глядеть на нее, на то, что делается уже невидимым.

– Назар, хочешь, я поплачу по ней? – спросила Айдым.

– Не надо, – сказал Чагатаев. – Ступай напои овец. С тобой прощался кто-нибудь?

– Нет, я спала, – ответила Айдым. – Старый Ванька мне сказал, когда я уходила…

– Что он сказал?

– Прощай, девка, сказал, теперь ноги ходят помаленьку и живот дышит, пора жить наступила. Больше ничего не сказал.

– А ты что?

– А я ничего… Я ему: у ишаков тоже ноги ходят.

– Почему – у ишаков?

– На всякий случай сказала!

Айдым пошла управляться с овцами, а Чагатаев взял лопату и ушел рыть могилу на плоскогорье. К вечеру он

вернулся и отнес мать в землю; Айдым прибирала в то время теплую горницу, где был на постое целый народ, откочевавший неизвестно куда. Айдым засмеялась: даже слепой Молла Черкезов ушел, неужели его глаза что-нибудь увидели, как только он наелся много еды?..

17

Чагатаев и Айдым решили зимовать в четырех глиняных домах… Назар, лишенный сразу всех людей, о которых он заботился, ходил теперь один по пустым склонам Усть-Урта. Айдым стряпала обед, чинила одежду, убирала овец или делала что-нибудь другое по хозяйству – на двоих оказалось лишь немного меньше работы, чем на весь народ джан, – и время от времени она выходила глядеть наружу, чтобы Назар далеко не уходил, потому что ему, наверно, скучно жить с одной Айдым. Но Чагатаев скучал по бежавшему народу недолго; он бродил несколько дней в удивлении, что он оказался ненужным для своей родины и люди одной земли с ним предали его забвению в своей памяти, оставив его и самую младшую, единственную свою дочь сиротами в пустыне. Чагатаев не понимал равнодушного, окончательного забвения; он помнил людей неизвестных и давно умерших, – даже тех, которые ему были бесполезны и самого его не знали, – ведь иначе если погибших и исчезнувших быстро забывать, то жизнь вовсе сделается бессмысленной и жалкой: тогда останется помнить только одного себя. Однако долго терпеть печаль одиночества и разлуки Чагатаев не мог; он стал приживаться к обстоятельствам: к Айдым, к овцам, к опустевшим

домам, к мелким животным, проживающим повсюду в природе, и к обмершему кустарнику.

Назар находил в укромных, теплых пещерках оврагов спящих черепах и приносил их домой. Некоторые из них отогревались от зимы и оживали, другие оставались жить спящими, собирая силы для долгого, будущего лета… Чагатаев чувствовал с удивлением, что можно существовать и совместно с одними животными, с беззвучными растениями, с пустыней на горизонте, если иметь в ближнем жилище хотя бы одного человека, – пусть даже это будет ребенок, как Айдым. И здесь, в бедной природе Усть-Урта, на ветхом дне Сары-Камыша – есть важное дело для целой человеческой жизни. Не может быть, чтобы все животные и растения были убогими и грустными – это их притворство, сон или временное мучительное уродство. Иначе надо допустить, что лишь в одном человеческом сердце находится истинное воодушевление, а эта мысль ничтожна и пуста, потому что и в глазах черепахи есть задумчивость, и в терновнике есть благоухание, означающие великое внутреннее достоинство их существования, не нуждающееся в дополнении душой человека. Может быть, им требуется небольшая помощь со стороны Чагатаева, но превосходство, снисхождение или жалость им не нужны…

По вечерам Айдым зажигала лампу. Она садилась за столом против Назара и делала что-нибудь, чего не успела сделать днем: расчесывала себе блестящие, черные волосы, набирала ковер из старых тряпок и мешочных ушивок, рассматривала с улыбкой картинки в книгах, не понимая, что они изображают, или просто глядела на Чагатаева, не сводя с него глаз, и разгадывала, что он думает – про нее или про другое.

– Назар, – спросила Айдым в один долгий вечер. – Назар, а отчего мы живем? Нам будет хорошо за это?

– А тебе плохо сейчас со мной? – сказал Чагатаев в ответ.

– Нет, мне хорошо теперь, – произнесла Айдым и послюнявила штопку во рту. – Я просто так себе сказала, потому что у меня во рту говорится что-нибудь…

Ее большие, открытые темные глаза были наполнены блестящей силой детства и зачинающейся юности, – они смотрели на Чагатаева с доверчивым интересом и сами по себе были предметами счастья, если глядеть на них со стороны. И если даже обмануть доверие Айдым, то она все равно простит свою обиду: ей надо жить дальше, и долго томиться каким-либо мученьем она не может.

– Назар, чего я всегда ожидаю? – опять спросила Айдым. – Отчего мне кажется такое важное, а потом ничего не бывает… Отчего у меня сердце начинает болеть?

– Ты растешь, Айдым, – сказал Чагатаев. – Пусть тебе кажется что-нибудь в голове, пусть твое сердце начинает болеть – ты не бойся, без этого горя жизнь не бывает.

– Не бывает, – согласилась Айдым. – А я не хочу, чтоб это было. У твоей матери сердце от голода болело, она мне сама говорила… Пускай у нас теперь другое горе будет, интересное, а не такое. Такое надоело. Ты выдумай что-нибудь […] Чагатаев привлек к себе Айдым и приласкал ее, поглаживая девочку по большой, все еще детской голове.

– Научи меня, чтоб я лучше не думала, а то я боюсь: мне кажется страшное! – сказала Айдым.

– Но ведь у тебя не от голода душа начинает болеть? – спросил Чагатаев.

– Не от голода, – ответила Айдым. – У меня от чувства… Назар, отчего я чужая?

– Кому ты чужая, Айдым? – спросил Чагатаев.

– Народ жил с нами, а теперь весь раскочевался, – сказала Айдым. – Ты тоже скоро уйдешь, кто тогда меня помнить будет?

– Я от тебя не уйду, – пообещал Чагатаев.

– Назар, скажи мне что-нибудь главное…

Айдым привернула фитиль в лампе, чтобы меньше тратилось керосина. Она понимала – раз есть что-нибудь главное в жизни, надо беречь всякое добро.

– Главного я не знаю, Айдым, – сказал Чагатаев. – Я не думал о нем, некогда было… Раз мы с тобою родились, то в нас тоже есть что-нибудь главное…

Айдым согласилась:

– Немножко только… а неглавного – много.

Айдым собрала ужинать – вынула чурек из мешка, натерла его бараньим салом и разломила пополам: Назару дала кусок побольше, себе взяла поменьше. Они молча прожевали пищу при слабом свете лампы. Тихо, неизвестно и темно было на Усть-Урте и в пустыне.

После ужина Чагатаев вышел наружу, чтобы посмотреть, что сейчас делается в мире, и послушать – не раздастся ли чей-нибудь человеческий голос во тьме… Где теперь бродит Старый Ванька или Кара-Чорма и неужели Молла Черкезов видит свет своими глазами?

Айдым тоже вышла из жилища и позвала Назара:

– Иди спать ложись, а то я огонь в лампе потушу…

– Туши, – ответил Назар, – я потом опять его зажгу.

– Нет, лучше не надо: ты спички будешь тратить! – сказала Айдым. – Ты в темноте ложись…

Айдым ушла в дом… Чагатаев сел на землю и осмотрелся. Слабая ночь шла над ним; ветра не было, звезды изредка показывались на небе – их застил высокий, легкий туман. Снег остался лишь в далеких, возвышенных овражных распадках Усть-Урта, его уже отовсюду согнал ветер и стравило полуденное солнце. А в другую сторону, на юг, лежала бедная, родная пустыня, покрытая пустым небом; иногда, на мгновение, пустыня вдруг озарялась мерцающим неизвестным светом, и там чудились горы, города, население людей, большая влекущая жизнь. Но на самом деле там сейчас спали черепахи, зябло семя прошлогодних трав и мелкий, местный ветер зачинался в песке и ложился обратно в него. Чагатаев сошел вниз, поближе к Сары-Камышу, и окликнул темное пространство. Ему ничто оттуда не ответило, и даже голос его не отозвался обратно, – звук сразу заблудился и исчез.

Чагатаев вернулся домой. Айдым спала под одеялом и больше не слышала ничего, ей снились ее детские сны, и она занята была тем, что видела в самой себе. Назар зажег лампу, наложил в сумку чуреков и оделся в ватный пиджак и шапку-папаху. Затем он приоткрыл одеяло и посмотрел в лицо Айдым, – оно было оживленным, внимательным, и глаза ее, не вполне спрятанные веками, были в движении, следя за тайными событиями в своей душе.

– Айдым, – прошептал ей Чагатаев.

Айдым открыла сначала один глаз, потом другой.

– Спи, Назар, – сказала она.

– Нет, я сейчас не буду, – ответил Чагатаев. – Я пойду народ соберу, я скоро вернусь.

– Приходи скорее, – попросила Айдым.

– Ты не скучай без меня, – сказал Назар.

– Не буду, – пообещала Айдым. – Ступай скорее, а то они ослабеют – они теперь набегались, наигрались, им пора домой.

Чагатаев тронул рукою голову Айдым и пошел от нее, но Айдым велела ему сначала потушить лампу, потому что ночь еще долга, а свет ей не нужен.

Погасив лампу, Чагатаев оставил дом и отправился по нагорью в сторону Хивы. Оглянувшись вскоре на местопребывание своего народа, Чагатаев уже не увидел там ничего, – и лишь незаметно среди всего мира и природы осталась одна уснувшая девочка Айдым. Но это ничего, ей горя мало – в домах лежит рис, мука, соль, керосин, спички тоже есть, а счастье и терпение пусть она добывает в одном своем сердце, пока не вернется к ней остальной народ.

Чагатаев шел быстро; рассвет его застал уже в глуши Сары-Камыша; а темный Усть-Урт, еще находившийся в ночи, был теперь на последнем отдалении и погружался своим основанием за край земли… На третий день пути Чагатаев пришел в Хиву. Там бывали большие базары, куда приходили люди из пустыни, чтобы посмотреть на торговое добро, купить что-либо для удовлетворения своей крайней нужды и повидаться друг с другом. Назар надеялся, что на хивинском базаре он встретит людей своего племени и уведет их обратно домой. Они неминуемо должны явиться в толпу чужого народа; им ведь нужно было послушать слухи и разговоры, посидеть в чайхане, снова почувствовать свое достоинство и задуматься о старой песне, которую споет и сыграет бахши на дутаре. В глиняных жилищах на Усть-Урте еще мало было обыкновенного, житейского, а без него нигде не живется человеку.

Чагатаев появился на хивинском базаре около полудня. Солнце, уже пошедшее на лето, хорошо освещало сорную землю базара, и земля согревалась теплом. Вокруг базара стояли дувалы жителей, около их глиняных стен сидели торгующие у своих товаров, разложенных по земле. Посреди площади на низких деревянных столах тоже шла торговля добром пустыни. Здесь лежал урюк в небольших мешках, засушенные дыни, овечьи сырые шкурки, темные ковры, вытканные руками женщин в долгом одиночестве, с изображением всей участи человека в виде грустного повторяющегося рисунка; затем целый ряд был занят небольшими вязанками дров – саксаульника и далее сидели старики на земле – они положили против себя старинные пятаки и неизвестные монеты, железные пуговицы, жестяные бляхи, крючки, старые гвозди и железки, солдатские кокарды, пустые черепахи, сушеные ящерицы, изразцовые кирпичи из древних, погребенных дворцов, – и эти старики ожидали, когда появятся покупатели и приобретут у них товары для своей нужды. Женщины торговали чуреками, вязаными шерстяными чулками, водой для питья и прошлогодним чесноком. Продав что-нибудь, женщина покупала для себя у стариков жестяную бляху на украшение платья или осколок изразцовой плитки, чтобы подарить его своему ребенку на игрушку, а старики, выручив деньги, покупали себе чуреки, воду для питья или табак. Торговля шла тож на тож, без прибыли и без убытка; жизнь, во всяком случае, проходила, забывалась во многолюдстве и развлечении базара, и старики были довольны. В некоторых дувалах, расположенных вокруг базара, в их внутренних дворах, находились чайхане; там сейчас шу-

мели большие самовары и люди вели свою старую речь между собой, вечное собеседование, точно в них не хватало ума, чтобы прийти к окончательному выводу и умолкнуть. Пожилой, коричневый узбек пошел в одну чайхане; он понес за спиной сундук, обитый железом по углам, – и Чагатаев вспомнил этого человека: он видел его еще в детстве, и узбек тогда тоже был коричневый и старый. Он ходил по аулам и городам со своим инструментом и матерьялом в сундуке и чинил, лудил и чистил самовары во всех чайхане; сажа и копоть работы, ветер пустыни при дальних переходах въелись в лицо рабочего человека и сделали его коричневым, жестким, с нелюдимым выражением, и маленький Назар испугался пустынного, самоварного мастерового, когда увидел его в первый раз. Но рабочий-узбек тогда же первый поклонился мальчику, подарил ему согнутый гвоздь из своего кармана и ушел неизвестно куда по Сары-Камышу; наверно, где-нибудь в дальних песках потух самовар. Около мусорного ящика, прислонившись к нему, стояла туркменская девушка; она прижимала рукою яшмак ко рту и смотрела далеко поверх базарного народа. Чагатаев тоже поглядел в ту сторону – и увидел на краю пустыни, низко от земли, череду белых облаков, или то были снежные вершины Копет-Дага и Парапамиза, или это было ничто, игра света в воздухе, кажущееся воображение далекого мира. О чем же думала сейчас душа этой девушки, – неужели до нее не жили старшие люди, которые за нее должны бы передумать все мучительное и таинственное, чтобы она родилась уже на готовое счастье? Зачем раньше ее люди жили, если она, эта туркменская незнакомая девушка, стоит теперь озадачен-

ная своей мыслью и печалью? Насколько же были несчастными ее родители, все ее племя, если они ничем не могли помочь своей дочери, прожили зря и умерли, и вот она стоит опять одна, так же как стояла когда-то ее нищая, молодая мать… Лицо этой девушки было милое и смущенное, точно ей было стыдно, что мало добра на свете: одна пустыня с облаками на краю, да этот базар с сушеными ящерицами, да ее бедное сердце, еще не привыкшее к нужде и терпению.

Чагатаев подошел к ней и спросил, откуда она и как ее зовут.

– Ханом, – ответила туркменка, что по-русски означало: девушка или барышня.

– Пойдем со мной, – сказал ей Чагатаев.

– Нет, – постыдилась Ханом.

Тогда Чагатаев взял ее за руку, и она пошла за ним.

Он привел ее в чайхане и поел вместе с нею горячей пищи из одной чашки, а затем они стали пить чай и выпили его три больших чайника. Ханом задремала на полу в чайхане; она утомилась от обилия пищи, ей стало хорошо, интересно, и она улыбнулась несколько раз, когда глядела вокруг на людей и на Чагатаева, она узнала здесь свое утешение. Назар нанял у хозяина чайхане заднюю жилую комнату и отвел туда Ханом, чтоб она спала там, пока не отдохнет.

Устроив Ханом в комнате, Чагатаев ушел наружу и до вечера ходил по городу Хиве, по всем местам, где люди скоплялись или бродили по разной необходимости. Однако нигде Назар не заметил знакомого лица из своего народа джан; под конец он стал спрашивать у базарных стариков, у

ночных сторожей, вышедших засветло караулить имущество города, и у прочих публичных, общественных людей, – не видел ли кто-нибудь из них Суфьяна, Старого Ваньку, Аллаха или другого человека, и говорил, какие они из себя по наружности.

– Бывают всякие люди, – ответил Чагатаеву один сторож-старик, по народности русский. – Я их не упоминаю: тут ведь Азия, земля не наша.

– А сколько лет вы здесь живете? – спросил Чагатаев.

Сторож приблизительно подумал.

– Да уж близу сорока годов, – сказал он. – По правилу, по нашей службе надо б каждого прохожего запоминать: а может, он мошенник! Но мочи нету в голове, я уж чужой силой, сынок, живу, – свою давно прожил…

И другие старые жители Хивы или служащие тоже ничего не сообщили Чагатаеву, как будто никто из блуждающего народа джан здесь не появлялся. По справке в управлении милиции оказалось, что все души, числившиеся в племени джан, вымерли еще до революции и никакой заботы о них больше не надо.

К вечеру Чагатаев вернулся в жилую комнату в чайхане. Ханом уже проснулась; она сидела на кровати и занималась домашней работой – чинила себе платье в подоле запасной ниткой, наващивая ее во рту. Должно быть, ей каждое место приходилось считать своим домом и сразу обвыкаться с ним; иначе, если бы она откладывала свою нужду и заботу до того времени, как у нее будет свое жилище, она бы оборвалась, обнищала от небрежности и погибла от нечистоты своего тела. Чагатаев сел рядом с Ханом и обнял ее одной рукой; она перестала чинить платье и

замерла в страхе и ожидании. Блаженство будущей жизни, еще не рожденной, безымянной, но уже зачинающейся в нем, прошло в сердце Чагатаева живым, счастливым ощущением. Нечто, более лучшее, чем он сам, более одушевленное и славное, томилось сейчас внутри Чагатаева, согревало его силу и радовало его. Он посмотрел на Ханом; она кротко, задумчиво улыбнулась ему, точно она вполне понимала Назара и жалела его. И тогда Чагатаев обнял Ханом обеими руками, будто он увидел в ней олицетворение того, что в нем самом еще не сбылось и не сбудется, что останется жить после него – в виде другого, высшего человека на более доброй земле, чем она была для Чагатаева. Счастливые, Ханом и Назар прижались друг к другу; старая ночь покрыла тьмою глиняную Хиву, в чайхане умолкли голоса гостей – одни из них ушли на ночлег, другие остались спать на месте – и хозяин закрыл трубу самовара глухою крышкой, чтобы несгоревший уголь затомился в трубе до завтрашнего утра. Чагатаев с жадностью крайней необходимости любил сейчас Ханом, но сердце его не могло утомиться и в нем не прекращалась нужда в этой женщине; он лишь чувствовал себя все более свободным, счастливым и точно обнадеженным чем-то самым существенным… Если Ханом нечаянно засыпала, то Назар скучал по ней и будил ее, чтоб она опять была с ним.

Не спавший всю ночь, Чагатаев наутро встал веселым и отдохнувшим человеком, а Ханом еще долго спала, свалившись с подушки на сторону милым, доверчивым лицом. Назар погладил ее волосы, запомнил ее рот, нос, лоб – всю прелесть дорогого ему человека – и ушел в город, чтобы поискать еще раз свой народ.

Солнце уже поднялось с китайской стороны, и Чагатаев посмотрел туда немного – поверх пустынь и степей, в туманную мглу неба на востоке, где находился Китай. Там уже давно проснулись и работали полмиллиарда терпеливых бедняков, – сколько мысли и чувства было в их душах, если б можно было их сразу ощутить в одном своем сердце!..

Старый рабочий-узбек показался на базарной площади. Он вышел из помещения, в котором раньше помещался караван-сарай и ночевали верблюды; он там, наверно, провел минувшую ночь и теперь шел на работу.

Чагатаев поклонился мастеровому-узбеку и спросил его: не видел ли он прохожего человека из племени джан? Узбек поглядел на Чагатаева старыми, помнящими глазами: должно быть, он тоже узнал в Назаре бывшего ребенка, которому он некогда подарил гвоздь; что хоть однажды трогало его чувство, того самоварный мастер уже не мог забыть, да и жизнь недолга – всего не забудешь.

– В Уч-Аджи видел, – тихо сказал узбек. – Он в чайхане под русскую музыку, под гармонию плясал.

– Он Старый Ванька? – спросил Чагатаев.

– Старый Ванька, – сказал рабочий-узбек.

– А ты сейчас далеко уходишь? – спрашивал Назар.

Мастеровой помедлил – он не любил говорить про свои еще не сбывшиеся намерения.

– Далеко, – сказал узбек. – В Чарджуй ухожу, там на механика учиться буду, туда экскаваторы привезли – каналы копать; я кончаю самовары работать…

– А тебе сколько лет? – интересовался Чагатаев. – Ты успеешь механиком научиться?

– Успею, – обещал самоварный рабочий. – Мне семьдесят четыре года – это я при плохой жизни прожил, а сколько я при хорошей проживу?

– Лет полтораста? – спросил Назар.

– Может быть! – ответил старик.

Они попрощались. Чагатаев вернулся в чайхане и сговорился с хозяином, чтоб он кормил Ханом и содержал ее в помещении, пока Назар не вернется – дней через десять или пятнадцать. Но хозяин попросил дать ему на харчи для Ханом деньги в задаток; ему для коммерческого оборота нужны сейчас наличные средства. Чагатаев обещал хозяину заплатить задаток и снова пошел на хивинский базар.

К полудню ему удалось продать свой ватный пиджак: время уже все равно шло к теплу. Он взял немного денег себе, а остальные заплатил хозяину чайхане в задаток за прокормление Ханом.

Чагатаев разбудил спящую Ханом и сказал ей, чтоб она жила здесь, пока он вернется. Ханом улыбнулась ему теплым, согретым во сне лицом и велела Назару побыть еще с ней немного. Чагатаев побыл с ней, а затем оставил Ханом одну в глиняной комнате и ушел из Хивы. Он отправился сначала в южную сторону Хивинского оазиса, а потом – там видно будет…

18

Через три дня Чагатаев миновал последний аул Хивинского оазиса. Опять перед ним открылась обычная пустыня; кусты перекати-поля брели под ветром через

песчаные холмы, старинная дорога вела на далекие колодцы […]. Чагатаев побежал вперед по пустой дороге. Он хотел еще к вечеру нынешнего дня дойти до следующего оазиса – может быть, там окажется кто-нибудь, кого он ищет. Куда же они все разбрелись? Ведь их разум еще слаб и печален, они все погибнут в нищете, в отчуждении, по пескам и чужим аулам… Никакой народ, даже джан, не может жить врозь: люди питаются друг от друга не только хлебом, но и душой, чувствуя и воображая один другого; иначе, что им думать, где истратить нежную, доверчивую силу жизни, где узнать рассеяние своей грусти и утешиться, где незаметно умереть… Питаясь лишь воображением самого себя, всякий человек скоро поедает свою душу, истощается в худшей бедности и погибает в безумном унынии.

Если бы Чагатаев не воображал, не чувствовал […], как отца, как добрую силу, берегущую и просветляющую его жизнь, он бы не мог узнать смысла своего существования, – и он бы вообще не сумел жить сейчас без ощущения той доброты революции, которая сохранила его в детстве от заброшенности и голодной смерти и поддерживает теперь в достоинстве и человечности. Если бы Чагатаев забыл или утратил это чувство, он бы смутился, ослабел, лег бы в землю вниз лицом и замер…

Две одичавшие овцы лежали невдалеке от дороги, на склоне бархана. Они были худы и подобны собакам. Чагатаев уже миновал их, но овцы пошли за ним следом, может быть, от голода или жажды, надеясь спастись при человеке, а может – от долгого одиночества и отчаяния. Однако овцы скоро изнемогли и отстали, потерявшись опять в сиротстве пустынной природы.

К вечеру Чагатаев дошел до маленького аула, расположенного у трех колодцев; здесь жили люди из племени эрсари, они кормились тем, что ловили рыбу в староречье Амударьи, когда туда набиралась паводковая вода и приносила с собой рыбу; в остальное время жители делали для певцов-бахши дутары и продавали их в ближнюю пустыню и в Чарджуй.

Чагатаев слышал об этом ауле и видел его в детстве; здесь жили добрые люди, потому что они делали музыкальные инструменты и для испытания своих изделий часто должны были напевать кроткие или смешные поэтические песни.

Назар вошел внутрь первого двора и постучал в дверь, но дверь сама отворилась внутрь от его стука. На глиняном полу комнаты сидели в сумраке четверо людей; один из них тихо бил по двум струнам дутары и хрипло шептал старую песню, а другие слушали его. Чагатаев остановился при входе, чтобы не помешать музыке и песне до их окончания. Песня видимо тронула всех здешних людей, – они молчали, не замечая вошедшего, чуждого гостя. В песне говорилось о том, что у всякого человека есть своя жалкая мечта, свое любимое ничтожное чувство, отделяющее его ото всех, и поэтому своя жизнь закрывает человеку глаза на мир, на других людей, на прелесть цветов, живущих весною в песках…

По окончании песни старый хозяин жилища пригласил Чагатаева сесть рядом с ним и отдохнуть. Около него сидели два молодых человека, наверно его сыновья, а третьим был ветхий Суфьян. Хозяин, игравший на дутаре, передал ее теперь Суфьяну, – тот взял ее к себе и тщательно ощупал.

– Играть хочу, песню сам выдумал, сердце у меня хорошее, – сказал Суфьян, – а платить за дутару нечем: я не очень богатый человек, в одном теле своем живу…

На Суфьяне была надета прежняя, старосолдатская шинель, прожитая уже в клочья, почти насквозь, в рядно.

Хозяин дутары, сделавший ее, сказал одному сыну, что надо сварить рис и рыбу на угощение старого и нового гостя, а потом обратился к Суфьяну:

– Это очень хорошая дутара, но я ее не продаю… Ты человек старый и не мог себе нажить одной дутары, значит, ты жил добрым – я прошу тебя взять эту дутару без денег, чтобы мне стало хорошо.

Суфьян положил дутару себе на колени и загляделся на нее в удивлении, как на свое первое великое достояние.

После ужина Суфьян сыграл немного на дутаре и спел про умную, сильную рыбу, плавающую в черной, глубокой земле. Чагатаев спросил его затем: где же теперь ихнее племя джан?

– Народ жить разошелся, Назар, – сказал ему Суфьян. – Раньше силы не было уйти, а ты накормил его, и он пошел ходить.

– А зачем ему ходить? – удивился Чагатаев. – Он опять силу потратит!

– Нужно, – ответил Суфьян. – А не нужно станет, народ опять на Усть-Урт вернется.

– А куда они все пошли?

– Я не спрашивал – пусть каждый сам думает, – сказал Суфьян. – Ложись спать: время идет, ночью жить не надо, я свет люблю – мне его мало видеть осталось…

Наутро, на рассвете, Суфьян взял дутару и попрощался с хозяином.

– Пойдем со мной, – сказал Суфьян Чагатаеву. – Я буду теперь бахши, буду ходить и петь по аулам, по кибиткам, пока не помру. Со мной всех людей встретишь, ты станешь мне подпевать и кушать со мной угощенье…

– Я могу выдумать тебе новые песни, которых другие бахши еще не знают, – сказал Назар.

– Ты мне спой их по дороге, – произнес Суфьян.

Хозяин дувала дал им чурек, и Суфьян с Назаром ушли по дороге на Чарджуй.

19

До самого лета Чагатаев и Суфьян ходили вдвоем по аулам, по окраинам городов и кочевым кибиткам. Суфьян играл народу на дутаре и пел, а Назар ему иногда подпевал, и оба они кормились и жили в своем долгом пути. Они прошли все оазисы от Чарджуя до Ашхабада, – были в Байрам-Али, в Мерве, в Уч-Аджи, удалялись по колодцам и такырам в кочевья и, наконец, от Ашхабада побрели на Дарвазу.

Чагатаев нигде не встретил знакомого человека из своего народа, и сердце его уже утомилось от блуждания, тщетной надежды, от тоски и памяти по Ксене, Айдым и Ханом. Он часто спрашивал у Суфьяна, как у старого умного человека: что могло случиться со всеми людьми из джана, отчего их нигде нет? Суфьян отвечал ему, что один или двое могли умереть, но остальные будут целы: жизнь для такого народа, как джан, нетрудна и любопытна, раз он уже перетерпел долгое смертное томленье.

– Он сам себе выдумает жизнь, какая ему нужна, – сказал Суфьян, – счастье у него не отымешь…

В Дарвазе Суфьян и Назар жили три дня. После того они попрощались. Суфьян задумал идти по кочевьям на Гассан-Кули, на реку Атрек, а Чагатаев решил возвращаться по хивинской дороге на Хиву, а затем через Сары-Камыш домой на Усть-Урт. Он боялся за судьбу Айдым и не знал, что сталось с Ханом, девушкой, видимо, несчастной и всем чужой. Суфьян и Назар собрали в поселке и ближних кибитках чуреков – в качестве угощения за свою музыку, – и в одно утро они разошлись в разные стороны, теперь уже, наверно, навсегда.

Было жарко, но Чагатаев привык к пустыне, к терпению и шел от колодца к колодцу, встречая около них обыкновенно по нескольку кибиток: пустыня ведь не пустая, в ней вечно люди живут. В кибитке Чагатаев становился на ночлег и всегда ужинал в семействе добрых кочевников, как среди родственников. Чуреки, взятые из Дарвазы, он нес у себя за пазухой и на ходу ел их изредка щепотками, когда сильно уставал, чтобы отвлечь себя от утомления.

На пятый день пути Назар увидел хивинскую башню и побежал, чтобы успеть до темной ночи достигнуть базара, пока хозяин чайхане еще не спит и не закрыл дверь в заведение…

Вот он уже видит открытую дверь в чайхане, там горит свет, и оттуда вышел человек на площадь. Чагатаев пошел спокойным шагом и в чайхане поклонился гостям и хозяину. Затем он спросил у хозяина равнодушно, как чувствует себя Ханом.

Хозяин узнал Чагатаева и ответил ему:

– Она по тебе сильно соскучилась.

– Я пришел теперь, – сказал Назар.

– Она давно ушла от нас, – сообщил этот человек. – Она пошла тебя искать…

– Куда? – спросил Чагатаев.

– Не сказала, – произнес хозяин. – Она плакала один раз, потом молчала.

Чагатаев вынул остаток последнего чурека из-за пазухи и пожевал его, пока горе еще не дошло до его сердца – тогда он есть ничего не будет.

– Сколько я тебе должен денег за Ханом, что ты кормил ее? – спросил Назар.

– Денег не надо, – сказал хозяин. – Она мне посуду мыла, в чайхане убирала, она работала…

Чагатаев вышел из заведения на пустой, темный хивинский базар. Тоска по утраченной, бедной Ханом уничтожила в Назаре всю его усталость, тело его сразу стало сильным и горячим, чтобы бороться со своей печалью. Он быстро пошел по площади, потом побежал и вскоре миновал пределы Хивы. Если бы Назар остановился, он бы уже не мог справиться со своим отчаянием: он бы заплакал или умер.

Без пищи и отдыха Чагатаев прошел всю ночь. Он спешил к Сары-Камышу, на Усть-Урт. Он хотел как можно скорее увидеть Айдым, чтобы успокоиться около нее и заняться заботами о ней, работой по домашнему хозяйству, обычной жизнью… В полдень, в жару Чагатаев истомился; он нашел расщелину в глинистом холме, в которой была глубокая, устойчивая тень, прогнал оттуда дремлющих ящериц и лег спать до вечера… Ночью он вошел в пределы Сары-Камышской впадины и впервые за дорогу от Хивы напился из небольшого мелкого озерка плохой, засоленной

водой. Переспав снова дневную жару в тишине какой-то влажной ямы, с вечера Чагатаев снова тронулся в ход, и на утро следующего дня он подошел к Усть-Урту. Он быстро поднялся на взгорье, чтобы скорее увидеть глиняные дома своего племени…

Встревоженный и худой, Назар взбежал на последний подъем и остановился в радости и недоумении. Светлое, чистое солнце, еще нежаркое на этой возвышенности, озаряло кроткую пустую землю Усть-Урта; четыре небольших дома были выбелены, из кухонной, знакомой трубы в безветренный воздух шел сытный, пахнущий пищей дым; отара овец, не менее чем в сотню голов, паслась на удаленном склоне горы, по ту сторону большого оврага, и в стороне от поселения лежали два старых верблюда, жуя разный сор вокруг себя, чтобы не скучать и ничего не думать напрасно… Со стесненной, озабоченной душой Чагатаев пошел в дом, где была печь, но из крайнего жилища вышла Айдым с пустым ведром. Она сначала бросила ведро на землю, однако тут же опомнилась, подняла ведро обратно к себе и побежала к Назару босыми ногами. Лицо ее стало вдруг испуганным и печальным, она припадала головой к животу Чагатаева и уронила ведро, – Айдым боялась, что Назар вскоре опять оставит ее и никогда не вернется; она почувствовала вперед, раньше времени. Чагатаев взял Айдым на руки и пошел с нею на озеро – он забыл попить воды и умыться. Айдым положила ему свою голову на плечо и стала говорить в ухо, как она здесь долго жила одна, а потом пришел Таган с Кара-Чормой, они пригнали из пустыни сорок голов овец и четыре барана; эти овцы были ничьи, они ходили вослед одному верблюду, а у

верблюда, должно быть, пропал хозяин, и верблюд сам не знал, куда ему теперь надо идти. А когда верблюд увидел в пустыне Кара-Чорму, то сам подошел к человеку и лег около него, и овцы тоже легли вокруг Кара-Чормы.

– Они не знали, где им пить, – сказала Айдым. – Траву они находят, а доставать из колодцев воду не умеют… А наружной воды мало бывает…

– А другой верблюд откуда? – спросил Чагатаев.

– Другого я сама нашла, – ответила Айдым. – Я в пески ходила тебя смотреть, думала – ты близко… А там есть колодезь, у него сруб сделан из саксаула – верблюд лежал горлом на срубе, смотрел на воду в колодце и капал туда изо рта слюной. Он уже ослаб и хотел умирать, я пошла домой, взяла ведро с веревкой и дала ему пить…

Назар поцеловал Айдым в щеку, она улыбнулась ему и отвернула свое лицо от него в первой совести девичества. Чагатаев опустил Айдым на землю, потому что озеро, куда они шли, было уже близко.

– Я тебе обед пойду стряпать, ты ведь уморился и есть хочешь, – сказала Айдым и убежала обратно.

Чагатаев не мог еще понять, что произошло здесь без него. Он умылся в озере, оправил и почистил одежду и пошел домой, в новый аул. Но солнце, идущее на полдень, и душный зной, начавшийся в затишье предгорья, утомили его; тело его ведь устало уже давно. Чагатаев лег в тень небольшой лощины и уснул, забылся всеми своими изнемогшими костями.

Он проснулся вечером; четверть луны светила над пустыней, народ сидел вокруг него и молчал. Чагатаев не мог сразу вспомнить, что он такое, и вновь закрыл глаза, чтобы

одуматься. Большая теплая рука легла ему на лицо, и Чагатаев услышал знакомый, доверчивый голос, зовущий его.

– Ханом! – сказал Назар; ему стало хорошо, покойно, рука женщины была нежна и проста, Чагатаев не размышлял сейчас – сновидение это или правда, он думал об одной Ханом.

– Назар! – сказала Ханом и сняла свою руку с лица Чагатаева.

Назар увидел улыбающуюся Ханом; она сидела на земле около его головы и осторожно трогала теперь его волосы. Рядом с Ханом, ближе к ногам Чагатаева, сидели Таган, Старый Ванька, Молла Черкезов, Аллах и Кара-Чорма. Они внимательно глядели в лицо Назара, они все были живыми и целыми. Не веря им, Чагатаев приподнялся, протянул руку и коснулся каждого в отдельности. Позади их сидели неизвестные Чагатаеву люди – человек пять мужчин, четыре женщины и одна девочка, ровесница Айдым.

– Здравствуй, Назар, – сказал Молла Черкезов.

– Разве ты видишь меня? – спросил его Чагатаев.

– Немного вижу, – ответил Черкезов, – я уже давно привыкаю глядеть, но ведь раньше еды не было и душа болела, с чего было взяться глазам? Теперь она мне протирает глаза, целует их, и они видят свет в тумане…

– Кто их тебе целует? – спросил Назар.

– Ханом, – сказал Молла. – Она моя жена, я взял ее с собой из Нукуса, Ханом пришла туда из Хивы и жила одна на базаре… Спи, – Айдым не велела тебя будить.

– Я проснулся, – сказал Чагатаев; он сел на землю среди всех и понял, что все стало хорошо.

Вскоре из глиняных домов прибежала Айдым и, узнав, что Назар уже проснулся, велела всем идти есть плов, который она приготовила ради Назара.

Ханом взяла за руку Моллу Черкезова и вошла вослед Чагатаеву, а Назара вела за руку Айдым. Около своих жилищ Чагатаев увидел ночующую отару овец, голов в сто с небольшим; внутри одного дувала стояли три ишака, не считая еще двух верблюдов. Откуда же такое добро у небольшого народа? Ведь когда Чагатаев уходил отсюда, здесь было, кажется, всего три овцы и один баран.

Назар обошел все четыре дома; внутри их было чисто, стены выбелены, в одной комнате он заметил запасы шерсти и два небольших ковра, сотканных уже здесь же, руками женщин, пришедших жить в народ джан.

В том жилище, где Айдым собрала общий, праздничный ужин, на полу лежали вымытые циновки, в глиняных кувшинах стояла свежая трава из дальних высоких долин Усть-Урта и в больших глиняных блюдах лежал обильный плов для угощения целого народа. Вокруг этого плова сели еще пятеро неизвестных Чагатаеву пожилых туркменов, почти стариков, и семь человек женщин, кроме тех людей, что сторожили спящего Назара. Он поклонился всему своему племени и всем новым родственным людям, пришедшим жить сюда общей жизнью. Айдым велела ему взять плов первым, и после того все стали не спеша кушать пищу, понимая ее ценность и достоинство…

Всю ночь просидел народ в беседе друг с другом, в удовольствии своей дружбы и свидания. Лампа горела посреди пола в кругу людей; изредка кто-нибудь выходил посмотреть овец, ишаков и верблюдов, потом снова воз-

вращался; ровесница Айдым уснула около своей матери, Айдым тоже спала уже, положив голову на колени Назару, счастливая Ханом дремала и стыдилась, что ей хочется спать при Чагатаеве. Беззвучно было на Усть-Урте, четверть луны давно закатилась за край пустыни, все одинокие животные спали в песках и в горах, лишь время от времени кричали ишаки в дувале.

– Зачем вы ушли от нас тогда зимой? – спросил Назар у Кара-Чормы и Моллы Черкезова.

Они нахмурились в недоумении какой-то странной мысли, а Старый Ванька ответил за них:

– Мы думали, что уж давно нету ничего на свете… Мы думали, одни мы остались – к чему ж тогда и нам жить?

– Мы проверить пошли, – сказал Аллах. – Нам интересно стало, где есть другие люди.

Чагатаев понял их и спросил, что, значит, они теперь убедились в жизни и больше умирать не будут?

– Умирать не надо, – произнес Черкезов. – Один раз умрешь – может быть, нужно бывает и полезно. Но ведь за один раз человек своего счастья не понимает, а второй раз умереть не успеешь. Поэтому тут нету удовольствия…

– А откуда у вас овцы, верблюды, где вы взяли это небедное добро? – спросил еще Чагатаев.

– Овец мы заработали, – сообщил Таган; и каждый сказал после того, что с ним случилось.

Убедившись в действительности мира и в прелести его, пожив с женщинами, поев разнообразной пищи, Таган, Аллах, равно и прочий человек из джана, пошел работать, где ему пришлась выгода. Старый Ванька брал деньги за то, что хорошо плясал в пивных, в чайхане, на базарах и на

русских свадьбах, Аллах дробил камень для шоссейной дороги за Чарджуем, Молла Черкезов мыл шерсть в Нукусе. Ели они мало, – они отвыкли за прежнюю жизнь, – бедняки городов казались им купцами, одежда на них еще держалась, – поэтому деньги у каждого человека стали собираться. Они купили по-разному: кто овец, кто ишаков, кто тех и других, кто женился – и пошли постепенно домой на Усть-Урт, потому что жить оказалось можно, а новый аул их стоял вдалеке нежилым, но ведь это было их добро и родное жилище… В пустыне – у такыров, в забытых староречьях, во влажных впадинах – жили еще робкие остатки вымерших семейств и племен. Когда люди джана гнали овец и ослов домой и вели за руку своих жен, они встретили этих неизвестных людей. Аллах привел их с собой сразу шесть душ. Таган и Старый Ванька не звали их с собой, но забытые люди сами побрели за ними, чтобы спастись для дальнейшей жизни.

– Вот они с нами теперь живут наравне, – указал Старый Ванька на чужих людей. – Пусть живут: от народа не победнеешь…

– Нет, вы будете богатыми, – произнес Чагатаев.

– Устроимся, и будем, – согласился Старый Ванька. – Мы по-мертвому жили, а по-хорошему жить нам не трудно.

– Не интересно даже, – сказал Аллах.

– Пока пусть нам будет хорошо, это самое интересное, – ответил Чагатаев. – Горе и печаль к нам тоже еще придут, но пусть наше горе будет не такое жалкое, какое было у нас, а другое. Наше горе было похоже на горе ящерицы или черепахи.

– Это ведь правда! – сказала вдруг молчавшая, дремлющая Ханом.

– Из какого вы племени? – спросил Чагатаев у старого туркмена, который был по виду старше всех.

– Мы – джан, – ответил старик, и по его словам оказалось, что все мелкие племена, семейства и просто группы постепенно умирающих людей, живущие в нелюдимых местах пустыни, Амударьи и Усть-Урта, называют себя одинаково – джан. Это их общее прозвище, данное им когда-то богатыми баями, потому что джан есть душа, а у погибающих бедняков ничего нет, кроме души, то есть способности чувствовать и мучиться. Следовательно, слово «джан» означает насмешку богатых над бедными. Баи думали, что душа лишь отчаяние, но сами они от джана и погибли, – своего джана, своей способности чувствовать, мучиться, мыслить и бороться у них было мало, это – богатство бедных…

Народ уже дремал. Ханом приоткрыла рот в сладости сна, прислонившись к мужу, Молле Черкезову. Чагатаев, чтобы не беспокоить Айдым, спавшую головой у него на коленях, лег осторожно на том же месте, где он сидел, и закрыл глаза в покое счастья и сна.

До конца лета Назар Чагатаев жил в своем народе на Усть-Урте. В ауле к тому времени прибавилось три новых глиняных дома и четыре женщины зачали от своих мужей и понесли в себе детей. В ноябре месяце из Хивы вернулись Старый Ванька и Кара-Чорма; их посылал туда Чагатаев со стадом овец в тридцать голов, чтобы они сдали шерсть и мясо государству, а на вырученные деньги купили бы муку, рис, соль, керосин и прочие продукты, а также новую одежду – для запаса на всю зиму до будущего лета, когда в отаре возмужает новое потомство овец.

В конце ноября Чагатаев попрощался со своим народом. Он дал ему совет – выбрать вместо него старшим человеком народа Ханом, хотя она и носит ребенка от Моллы Черкезова уже пятый месяц; но к тому времени, как она родит, может быть, Чагатаев уже вернется из Москвы обратно на Усть-Урт. Народ подумал немного и согласился: женщина часто бывает лучше мужчины, мать дороже или милее отца.

Девочку Айдым Чагатаев тоже уводил вместе с собой. Он обещал ее отдать в Москве на обучение, а когда Айдым станет ученой девушкой, она сама придет домой на Усть-Урт и научит всех, кто ее дождется, как правильно жить дальше…

Одним утром Назар и Айдым взяли немного пищи с собой на дорогу и спустились с возвышенности Усть-Урта. Весь народ джан вышел их провожать. Сойдя во впадину Сары-Камыша, Чагатаев оглянулся; народ все еще стоял на взгорье и следил за ним.

– Айдым, посмотри на всех, кто остался, – сказал Назар. – Попрощайся!

– А я все равно вернусь ведь домой когда-нибудь, тогда их и увижу, – ответила Айдым и не стала глядеть на маленьких людей, оставшихся вдалеке.

Три овцы и баран следовали за ними полдня по своей воле, потом они отстали и потерялись в пустынных местах.

Из Хивы до Чарджуя Чагатаев и Айдым доехали на грузовом автомобиле, а из Чарджуя отправились на поезде в Ташкент. В Ташкенте Чагатаев пробыл два дня, чтобы доложить о своей деятельности. В ЦК партии Чагатаева поблагодарили за работу по спасению кочевого племени

джан от гибели в дельте Амударьи и сказали, что люди дальше сами найдут свою большую дорогу, а не останутся лишь в маленьком овраге Усть-Урта. Счастье всегда имеет большой размер, оно равняется всему социализму.

Айдым жила в чайхане около вокзала и без Чагатаева не выходила на улицу от страха. На второй день вечером Чагатаев взял Айдым за руку, и они пошли садиться на московский поезд. На вокзале он послал телеграмму Ксене, не зная, помнит ли она его теперь. Айдым с удивлением глядела на Назара: он побрился, был без бороды и усов и стал непохожим на того, кто ходил с ней по пустыне, по воде и горам. Она пробовала руками новый костюм на нем, в который он оделся в Ташкенте, и думала, какой Назар богатый. Но Чагатаев ей тоже купил новую узбекскую одежду и переодел ее в вагоне во все новое, а ветхий капот ее спрятал зачем-то к себе в карман.

Почти всю первую ночь в поезде Чагатаев простоял у окна в коридоре вагона, глядя в пустыни и степи, замечая редкие, далекие костры чабанов. Айдым спала на лавке. Чагатаев изредка поправлял ее одеяло, складывал обратно руки и ноги, когда она по-детски раскидывалась, и гладил ей голову, когда она бормотала что-то во сне, мучительно переживая дневные впечатления.

В Москве на вокзале Чагатаева встретила Ксеня, выросшая и другая, чем во время их разлуки, как настоящая женщина. Она была в пальто с большим серым воротником и в черной шапочке, – в Москве шла зима. Разноцветные глаза ее заплакали, когда она увидела Чагатаева в толпе пассажиров. Она подбежала к нему и обняла, остановив движение задних людей. Ксеня не заметила сразу, что

около Чагатаева стоит девочка в длинном цветном платье далекого народа и держится рукою за борт пиджака Чагатаева. Оба они были без пальто, поэтому Ксеня, после знакомства с Айдым, открыла свое пальто и взяла Айдым к себе на руки, прислонив ее тело к своей груди. Ксеня была вдвое больше Айдым, но все же она раскраснелась от напряжения. На вокзальной площади Ксеня наняла такси, потому что Назару и девочке было холодно.

– А куда мы поедем? – спросил Чагатаев у Ксени; ему некуда было ехать в Москве.

– К моей маме, – ответила Ксеня. – Я забронировала ее комнату для вас.

В автомобиле Ксеня сидела с красным лицом, словно она стыдилась чего-то, или это было от юности, когда жизнь от наслаждения кажется позором.

Автомобиль остановился. Ксеня передала Чагатаеву ключ и попросила прийти к ней завтра в гости.

– Только у меня адрес теперь другой, – сказала она. – Я живу отдельно, я одна, а вашу телеграмму мне бабушка переслала…

Она дала ему адрес на бумаге из блокнота, и они попрощались. Чагатаев вошел в знакомый новый дом, Айдым держалась за его руку. У них не было никакого багажа.

В большой комнате, убранной мелкой мебелью Веры, Чагатаев сел на постель, не раздеваясь, потом положил голову поверх одеяла; прежний, вечный запах Веры еще хранился в ее постели. Чагатаев дышал этим запахом, думал и дремал. Айдым влезла с ногами на подоконник и глядела оттуда на большую Москву.

Утром на другой день Чагатаев пошел с Айдым в ма-

газины, купил ей европейские кофты и юбки и два пальто – для себя и для нее. Айдым сразу изменилась в новой одежде: Чагатаев увидел, что она красавица.

Вечером они поехали в гости к Ксене. Ехать было далеко, в глубину Замоскворечья. После трамвая Чагатаев и Айдым долго шли пешком и наконец нашли по писаному адресу общежитие студентов торфяного техникума. В этом техникуме, очевидно, теперь училась Ксеня.

В общежитии, как у многих девушек, у нее была отдельная комната. Чагатаев постучался в дверь, и так как перегородки между комнатами и сама стена коридора были тонкие, то сразу три девичьих голоса сказали: «Войдите», в том числе и голос Ксени.

Она открыла дверь, и сразу трудное чувство волнения заполнило ее лицо излишним румянцем. На столе находилось заранее приготовленное робкое угощение, покрытое скатертью. Ксеня усадила гостей, сняла скатерть с закусок и сейчас же стала уговаривать их съесть ее пищу, но вилки, ложки, ножики валились у нее из рук на пол, вдобавок она зацепила красное разливное вино, налитое в какую-то масленую, должно быть керосиновую, бутылку, и вино разлилось по столу бесполезно. Ксеня убежала в коридор, спряталась в уборную и там заплакала от мучительного жалкого стыда. Айдым без нее устроила порядок и даже слила со стола вино обратно в бутылку, так что сохранилась четверть прежнего количества. Ксеня вернулась с темными кругами под глазами и просила все же скушать, что она купила и настряпала; больше она ничего не знала, что говорить. Она не могла объяснить, почему ей совестно иногда быть живой и грустно чувствовать себя

женщиной, человеком, желать счастья и удовольствия, – даже будучи одна, она от этого сознания закрывала себе лицо руками и краснела под ладонями.

Поев из вежливости угощенье, Чагатаев и Айдым стали прощаться с хозяйкой. Чагатаев обещал прийти к ней еще раз – через несколько дней.

Но они увиделись раньше, – на следующий вечер Ксеня пришла к Чагатаеву сама. Она хотела помочь Айдым, как старшая женщина девочке. Ксеня повела ее в баню, из бани они отправились кататься на метрополитене и вернулись домой уже поздно.

В выходной день Ксеня приехала с утра и привезла с собою несколько штук своего белья, из которого она сама выросла, а для Айдым оно было впору. В тот день они все трое ходили в столовую обедать, потом гуляли, были в кино и возвратились к вечеру. Айдым свернулась на постели матери Ксени и сразу заснула. Чагатаев и Ксеня сидели против спящей девочки на маленьком диване; они молча глядели на Айдым, на ее лицо, где еще были черты детства, страдания и заботы, и на ясное выражение ее зреющей высшей силы, которая делала эти черты уже незначительными и слабыми. Чагатаев взял руку Ксени в свою руку и почувствовал дальнее поспешное биение ее сердца, будто душа ее желала пробиться оттуда к нему на помощь. Чагатаев убедился теперь, что помощь к нему придет лишь от другого человека.